

An ornate, golden-yellow decorative frame with intricate scrollwork and floral motifs, surrounding the text. The frame is set against a dark teal background.

Вс. СОЛОВЬЕВ

**ИЗГНАНИЕ**

хроника  
четырех поколений

## Annotation



Всеволод Соловьев (1849–1903), сын известного русского историка С.М. Соловьева и старший брат поэта и философа Владимира Соловьева, — автор ряда замечательных исторических романов, в которых описываются события XVII–XIX веков.

В шестой том собрания сочинений включен четвертый роман «Хроники четырех поколений» «Изгнанник», рассказывающий о жизни третьего поколения Горбатовых.

- 
- [Вс. Соловьев](#)
    - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
      - [I. ЛЕСОВИК](#)
      - [II. ИТОГИ](#)
      - [III. МЛАДШАЯ ЛИНИЯ](#)
      - [IV. БАРСКИЙ ПРИЕЗД](#)
      - [V. ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК](#)
      - [VI. ЗНАМЕНСКАЯ ХОЗЯЙКА](#)
      - [VII. ПЕРВЫЕ МИНУТЫ](#)
      - [VIII. «БОЛЬШИЕ» И «МАЛЕНЬКИЕ»](#)
      - [IX. МАГНИТ](#)
      - [X. СТРАШНЫЙ ПЛЕМЯННИК](#)
      - [XI. СТАРАЯ ГРЕШНИЦА](#)

- [XII. ОШИБКА](#)
- [XIII. УЧЕНИЦА](#)
- [XIV. ОЧАГ ПОТУХ](#)
- [XV. ИЗЛИШНЕЕ ПРИЗНАНИЕ](#)
- [XVI. ВРАГ СИЛЕН](#)
- [XVII. ИЗ ДВОРОВЫХ](#)
- [XVIII. РУСАЛОЧКА](#)
- [XIX. ДОБИЛИСЬ](#)
- [XX. СПИЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ](#)
- [XXI. У ДЕДУШКИ](#)
- [XXII. ПОЖАР](#)
- [XXIII. ПОСЛЕ БЕДЫ](#)
- [XXIV. НА НОВОСЕЛЬЕ](#)
- [XXV. КОНДРАТ КУЗЬМИЧ](#)
- [XXVI. СУПРУГИ](#)
- [XXVII. ПРЫГУНОВ ДЕЙСТВУЕТ](#)
- [XXVIII. НАД БЕЗДНОЙ](#)
- [XXIX. ОТЕЦ](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
  - [I. СТАРЫЙ КРЕМЕНЬ](#)
  - [II. НА ОСТОЖЕНКЕ](#)
  - [III. КОЛДУНЯ](#)
  - [IV. СВОЙ ЧЕЛОВЕК](#)
  - [V. АННА АЛЕКСЕЕВНА](#)
  - [VI. ТАЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ](#)
  - [VII. СТАРАЯ ИДИЛЛИЯ](#)
  - [VII. ЖИЛИ-БЫЛИ](#)
  - [IX. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ](#)
  - [X. АБРАКАДАБРА](#)
  - [XI. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО РАЗГАДКИ](#)
  - [XII. КРОВЬ](#)
  - [XIII. МЕЖ ОГНЕЙ](#)
  - [XIV. ТЕ ЖЕ ТРЕВОГИ](#)
  - [XV. МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЮ](#)
  - [XVI. СУДЬЯ](#)
  - [XVII. МАРИ](#)
  - [XVIII. НЕ В ДОБРЫЙ ЧАС](#)

- [XIX. ЕЩЕ НОВЫЙ ВЗГЛЯД](#)
  - [XX. В НОВЫЙ ПУТЬ](#)
  - [XXI. И ТАК НЕЛЬЗЯ](#)
  - [XXII. БЕЗ ВЫХОДА](#)
  - [XXIII. НОВЫЙ ПЛАН](#)
  - [XXIV. ОДНО К ОДНОМУ](#)
  - [XXV. ПРИЗЫВ](#)
  - [XXVI. ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ](#)
  - [XXVII. СЛУЧАЙ](#)
  - [XXVIII. ЧТО ТАМ...](#)
-

**Вс. Соловьев**

**Изгнанник**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I. ЛЕСОВИК

По живописной просеке векового Горбатовского парка что было духу бежали двое маленьких крестьянских ребятишек — мальчик и девочка. Оба они ревели благим матом. Выгоревшие от солнца, разноцветные их волосы в беспорядке падали на загорелые лица, выражавшие беспредельный ужас. В руках у ребятишек были кошелки, почти верхом наполненные сочной, спелой земляникой. Кошелки тряслись, ягоды то и дело сыпались, но перепуганные дети не замечали этого.

«А-у!» — раздалось в чистом воздухе безоблачного летнего утра, и наперерез им из-за старых сосен вышла здоровая, румяная девка, тоже с кошелкой, наполненной ягодами. Завидя ребятишек, она крикнула:

— Фенька!.. Митька!.. И куда это вы, оголтелые, запропали?.. Аукалась, аукалась — хоть бы разок откликнулись!.. Гляньте-ка — солнышко где!.. Видно, подзатыльников захотелось... мамка-то не похвалит!..

Но тут она расслышала их рев, разглядела их красные, сморщенные в гримасу ужаса лица:

— Ну, чего, чего вы?.. — заботливо произнесла она.

Мальчик карапуз хотел было остановиться, да со всего разбегу попал на большую кочку и растянулся. По счастью, ягоды уцелели, не рассыпались, Он заревел еще пуще. Девочка между тем подбежала к старшей сестре и судорожно охватила ее ручонками.

— Да с чего это вы так?.. Испужались? — говорила та. — Гнался за вами кто, что ли?.. Зверь?.. Волк?..

Ребятишки долго не могли прийти в себя, наконец, остановив слезы, почувствовав присутствие защиты, запищали в один голос:

— Повстречали там вот... сейчас... у поворота к барскому дому...

— Кого?.. Кого повстречали?!

— Страшный такой... весь белый... бе-е-лый!.. Глаза ровно уголья!.. — задыхаясь, выговорил мальчик.

— Лесовик!.. Пра... вот те Христос! — быстро закрестившись, перебила его девочка. — Белый... Бе-е-лый... и глазищами так и повел

на нас... говорит: «Здорово, детки, много ли ягод?..» Ну, мы и подрали!..

После этого объяснения их страх сообщился и старшей сестре, а главное, на нее подействовало это определение: «белый... бе-е-лый!» Она даже взвизгнула — и уже все трое побежали теперь, так что только голые пятки мелькали из-за высокой травы...

Между тем в глубине просеки показался человек с длинной белой бородой. Но «лесовик» не думал преследовать ребятишек: заметив их среди высокой травы, он ласково их окликнул, поздоровался с ними, а когда они с ревом пустились от него бежать, он слабо улыбнулся и тотчас же забыл про них. Теперь он шел вдоль просеки скорым шагом, опустив голову, погруженный в свои мысли. В нем не было ничего страшного, и на лесовика он не походил нисколько. Несмотря на длинную, как снег, белую бороду и на мелкие морщины, избороздившие его бледное лицо, он вовсе не казался старым: шаг его был тверд и легок, как у молодого человека, вся небольшая, сухощавая фигура, все движения показывали силу и бодрость. На ногах у него были высокие дорожные сапоги; короткая бархатная венгерка обхватывала его все еще гибкий стан; мягкая широкополая шляпа скрывала его лоб и глаза. Но когда он поднял голову и взглянул на безоблачное утреннее небо, сквозившее то там, то здесь из-за густых ветвей вековых деревьев, светлые глаза его, показавшиеся ребятишкам угольями, блеснули мягко и привлекательно.

Он был красив, этот длиннородый бодрый старик, той особенной красотой старости, которая все увеличивается с годами и может быть только отблеском разумной жизни, полной трудов и испытаний и не омраченной ни одним упреком совести.

Достигнув конца просеки, старик остановился и огляделся, потом свернул в сторону и скоро вышел в ту часть парка, где следы запустения бросались еще больше в глаза.

Когда-то утрамбованные и посыпанные красным песком дорожки теперь заросли травой. Вычурные мостики, перекинутые через канавы, все покосились. Много лет нечищенные пруды покрывались тиной. Густая зелень беспорядочно обвивалась вокруг беседок и почти совершенно их скрывала. Белые мраморные статуи местами совсем почернели, обломились и носили на себе следы многих непогод. Давно-давно никто не заглядывал в этот старинный парк, никто его не



поддерживал. Хозяина не было, и никто не знал даже, явится ли когда-нибудь хозяин. Теперь здесь хозяйничали только разные насекомые, птицы да мелкие зверьки, расплодившиеся в великом множестве. Зимой иногда забегали сюда из леса волки, а летом иной раз забредали деревенские ребята, да и то ненароком и, постояв разинув рты перед какой-нибудь статуей, спешили скорее назад в лес, боясь, что вот-вот их кто-нибудь накроет в этом давно покинутом, но все же запретном барском парке.

Обогнув большой пруд, старик поднялся на живописный холмик. Здесь, под могучими, темными ветвями дуба, еще уцелела ветхая скамья. Он сел на нее, снял шляпу и долго глядел вокруг себя, переводя глаза с одного предмета на другой. Глаза его вдруг померкли, тихая одинокая слеза скатилась по щеке. Голова опустилась. Непослушная прядь густых белых волос скользнула на лицо.

Отсюда, с этого холма, было видно многое. На далекое расстояние за прудом шла зеленая поляна, и в ее глубине виднелась озаренная ярким солнцем часть фасада белого старинного дома.

Все здесь, в этой живописной картине, было до мельчайших подробностей знакомо старику. Но он почти не узнавал этих с детства милых предметов, хоть они и нередко грезились ему в течение всей жизни среди совсем иной обстановки. Да, он не узнавал. Он покинул эти места почти юношей, и они сохранились в его памяти во всем блеске своей былой красоты, изукрашенной и позлащенной всем ярким светом юных впечатлений.

Когда, в былые годы, он забирался на этот холм и отдыхал на этой самой скамье, все, что его окружало, казалось ему таким огромным, величественным, почти волшебным. Этот парк был тогда для него бесконечным. Теперь же все явилось перед ним в уменьшенном виде — размеры совсем изменились.

Ведь вот, бывало, этот пруд казался чуть не морем. Поляна уходила далеко-далеко, а белый дом виднелся будто на краю света. И этот дуб, — а ведь он еще как разросся с тех пор) — этот дуб уходил в самое небо... Да, все стало меньше, мельче, все потеряло свой волшебный свет, а сам он, сухой, маленький старик, как вырос!..

Он вдруг почувствовал себя теперь великаном среди этой, бывало, подавляющей его величию картины.

Но эти первые ощущения скоро заменились другими...

Более тридцати лет прошло с тех пор, как он в последний раз был здесь. Жизнь была ключом тогда и получала новый смысл, и казалось — конца не будет этой жизни... Все впереди светло так было и радостно. Он завершил тогда двухлетней заграничной поездкой свою юность. На многое открылись глаза, исчезло много самообманов. И, наконец, явилась давно жданная любовь, произошла встреча с суженой, которую он, фантазер и мистик, ждал долгие годы, которую он, при исключительных обстоятельствах, узнал и наметил себе еще ребенком. Фантастические грезы превратились в действительность. И он приехал тогда сюда, в родное Горбатовское, для свидания с отцом и матерью.

Ему казалось теперь, что это было так недавно. Он забылся на миг, и представилось ему, что вот он встанет с ветхой скамейки, обойдет пруд и найдет все точно так, как было тогда.

И он, этот седой старик, в котором никто бы не узнал Бориса Сергеевича Горбатова, быстрым, молодым шагом спустился с пригорка и поспешил к издали белевшему дому.

Это был почти бред. Он не замечал, что когда-то широкая дорожка, огибавшая пруд, теперь превратилась в узенькую тропинку, да и та уже зарастала травой. Он все спешил, спешил. Вот сейчас откроется перед ним обширный цветник, весь пестреющий разнообразными, искусно сгруппированными куртинами цветов. Миг — и он услышит ласковый голос:

«Борис, ты рано вышел сегодня утром, а я думала погулять вместе с тобою...»

Кто говорит это? Мать. Он видит ее, высокую, прекрасную старуху с ясными глазами, с такой улыбкой, какая только и может быть у матери. Он чувствует ее милое прикосновение.

А вот и отец в своем старомодном костюме, в неизбежных чулках и башмаках с красными каблуками. Вот младший брат Владимир, высокий, полный, в щегольском мундире гвардейского офицера, с полузакрытыми по привычке глазами, с вечной полупрезрительной улыбкой. Дальше — грациозная фигурка хорошенькой женщины с манерами капризного ребенка, с птичьим выражением в лице, с тоненьким голоском — это Катрин, жена брата. Тут же, в цветах, окруженный няньками, играет толстенький, прелестный ребенок и

смеется, заливается беспричинным смехом, пускает пузыри пухлыми губками и тянет к нему свои ручонки...

Миг — и нет никого. Он остановился, огляделся: где же эти пестрые клумбы с причудливо извивавшимися между ними ярко-желтыми дорожками? Где эти фонтаны? Пустырь!..

Долго он стоял, не трогаясь с места, и мало-помалу опять забывал действительность и опять жил в прошедшем.

Да, новая жизнь начиналась: борьба с любимой невестой, еще большей фантазеркой, чем он, была, однако, нетрудна. Они в Петербурге. Все сомнения исчезли, все недоразумения окончены. Его бедная Нина, точно так же, как и он, ждавшая его с детства, уже не предлагает ему выдуманную ею сначала какую-то «ангельскую любовь», она поняла свои заблуждения...

Она вышла из-под вредного влияния Татариновой и ее секты. Она согласна быть его женой. Отец и мать не выставляют никаких препятствий. Свет толкует о messalliance; но какое ему дело до мнения света. Он счастлив...

А между тем обстоятельства не позволяют ему жить этим счастьем: в семье происходит драма — он случайно открывает измену жены брата... С другой стороны, приятели стараются завербовать его в члены тайного общества... Заговор зреет... Смерть императора Александра I помогает заговорщикам... Несчастный бунт четырнадцатого декабря... Имя Горбатова произнесено, он замечен на площади в числе главных мятежников... Его арестуют... И при обыске попадается переданный ему братом портфель с бумагами, относящимися к деятельности общества. Брат не выручает — молчит. Невинный человек в крепости. Но он не может выдать своего родного брата, не может положить пятно на честное и знаменитое родовое имя...

Приговор произнесен — Борис Горбатов в Сибири, на каторге. Но Сибирь и каторга, эти ужасные слова, казавшиеся хуже смертного приговора, оказываются вовсе не ужасными.

Там, в далекой и дикой стране, началась новая жизнь, только там было приготовлено ему истинное счастье. Он не один — с ним все, кто ему дорог. К нему спешит его невеста...

Старик опять на мгновение пришел в себя и опять осмотрелся. Но бывший роскошный цветник, превратившийся в пустырь, теперь

ничего не сказал ему...

И когда он снова ушел от действительности, перед ним ясно-ясно мелькнуло здание острога в Чите, убогая осторожная церковка... Он венчался с Ниной. Глубокое, тихое счастье наполняет его душу... Глазами, полными благодарных слез, глядит он на бледное лицо своей невесты и не слышит, как глухо звенят его кандалы...

Проходит время. Каторга... Но разве это каторга, когда он может часто-часто видеться с нею, с дорогой женою, в маленьком уютном домике возле острога, где она живет со своей, обожающей ее, родственницей, княгиней Маратовой.

Разве это каторга, когда и старики Горбатовы приезжают в Сибирь и проводят возле сына немало времени...

Дружная огромная семья политических ссыльных и их самоотверженных жен; среди дикой природы колония прекрасных и умных людей, отрезвевших после тяжелого урока жизни, — разве это каторга? С нею было тяжело расставаться, с этой каторгой, когда были сняты кандалы, когда дружная семья стала разбредаться по бесконечному пространству Сибири. Было немало тоски при прощании с верными друзьями дорогой неволи. И эта неволя не подорвала силы — она создала людей твердых, спокойно и честно глядящих на жизнь, без ропота принимающих свою долю...

Старик опустил голову и тихо направился к дому.

Солнце уже высоко поднялось и начинало печь. Кругом стояла невозмутимая тишина — ни звука, ни шороха...

Среди этого безмолвия и безлюдия еще унылее бросалось в глаза запустенье давно покинутой огромной барской усадьбы. Казалось, все вымерло.

Старик вздрогнул, сердце его заныло. Ему опять слышались в этой тишине милые голоса, ему опять виделись дорогие лица.

Да где же они, где? Все умерли, никого не осталось!.. Вся жизнь прошла!..

Зачем же, получив весть о новой свободе, он так спешил сюда? Зачем так тревожно билось его уставшее сердце?!

Неужели действительно уже никого нет? Неужели прошла жизнь? Да когда же это она успела пройти?

И эти долгие-долгие годы показались ему сном, и показалось ему, что он заснул здесь и только теперь проснулся.

Но к чему же это пробуждение, если все было сон, если вместе с этим сном ушли все они, все, кого он любил?.. Зачем было пробуждаться?

И вместе с этим он чувствовал в себе и силу, и бодрость. Он чувствовал, что живет, и ничто в нем не указывало на болезнь и дряхлость.

Зачем же жить? Для кого жить? Кого любить? Никого нет. Все пусто кругом... Все тихо... Никто не встанет из могилы... Ничей дорогой, ласкающий голос не скажет наяву: «Ты прошел тяжелую, долгую школу, ты вынес все испытания... Ты сохранил еще бодрость и силы... Ты на родине, свободен, богат... еще впереди много безмятежных дней... Впереди счастливая старость!..»

Никто не скажет! Никто не вернется... Все тихо... Все умерло... Все прошло...

Один!.. Один!..

Еще ниже склонилась голова старика, и тихие слезы, катясь одна за другою из глаз, мочили его длинную серебряную бороду...

## II. ИТОГИ

Жутко бывает человеку, оглянувшись назад и заметив, как быстро идет время и жизнь, решить, что тридцать лет — много-много времени. А между тем это так, и немудрено, что в продолжение тридцати лет большие перемены произошли в семье Горбатовых, немудрено, что в это время выросло и созрело новое поколение, а прежнее сошло в могилу.

Бывает счастливый род, члены которого наследуют от предков долголетие. Люди видят своих детей, внуков и правнуков и умирают тогда, когда уже становится тяжело жить, когда от жизни взято все, что только может дать она. Но таких людей встречается все меньше и меньше, даже в самых издавна отличавшихся долголетием фамилиях сокращается срок жизни. Причин этому много...

Род Горбатовых и в прежние времена не отличался долголетием. Из истории мы знаем только одного Горбатова времен царя Ивана Грозного, который дожил до глубокой старости. Друг Петра III, Борис Григорьевич Горбатов умер пятидесяти с небольшим лет, несмотря на замечательно крепкую природу и сложение.

Сын его, Сергей Борисович, никогда не отличался особой крепостью и после испытаний, пережитых им в молодости и, конечно, сильно повлиявших на его здоровье, поддерживал себя только правильной деревенской жизнью. Если бы эта тихая, однообразная и спокойная жизнь без особых радостей, но и без горя могла продолжаться, он, вероятно, достиг бы счастливой старости.

Но это не было ему суждено. Человек сердечный и впечатлительный, он плохо перенес несчастье своего любимого сына Бориса. Год следствия над декабристами состарил его на много лет. Вернувшись из поездки в Сибирь к сыну, он почувствовал все недуги старости и не мог уже больше оправиться. В своем родном и милом Горбатовском, среди любимой обстановки, напоминавшей ему хотя тревожные, но все же лучшие годы жизни, окруженный своими неизменными старыми друзьями-книгами он медленно угасал, сам того не замечая.

По временам он еще строил планы, что вот по весне, когда немного окрепнет, снова поедут они с женою в Сибирь, к Борису и Нине. Но скоро уже и эти планы стали забываться, о них не говорили больше.

Татьяна Владимировна Горбатова, крепкая, выносливая женщина, ни на шаг не отходила от больного мужа. Он угасал, но был спокоен, его сердце устало, настолько устало, что переставало сильно чувствовать, безразлично ко всему относилось. Ее сердце устало не меньше, а между тем продолжало жить горячей мучительной жизнью. Положим, удар, нежданно ее поразивший, когда арестовали Бориса, не сломил ее, и она теперь видела, что несчастье не было еще так велико. Она судила по-своему, глядела на вещи глубоко и ясно и после поездки в Сибирь не раз повторяла себе, что все случилось для Бориса, может быть, и к лучшему, что пути Провидения неисповедимы, и, кто знает, был ли бы он счастливее, если бы остался свободным, в обществе. Во всяком случае, она знала, что он не одинок, что возле него хорошая и любящая жена и друзья. Но все же это сознание не мешало материнскому сердцу обливаться кровью в разлуке с сыном, хоть и не в этом было ее главное несчастье.

Пуще всего ее мучила теперь семейная жизнь другого сына. И хотя от нее было скрыто многое, но она почти подозревала истину, отгоняла от себя эти мысли, но все же невольно подозревала. Невестка была безнадежна. Теперь она уехала опять за границу с детьми и живет там уже второй год. Как живет, что там делает — ничего неизвестно, пишет она редко.

Сын Владимир в Петербурге, продолжает службу, которая ему очень удается. Каким образом он мог отпустить жену, что между ними было — она даже не хочет его и спрашивать. Она чувствует, что он ничего нового ей не скажет. Он приезжал как-то в Горбатовское ненадолго. Он сделался в семье еще более нелюдимым, ни одного откровенного, сердечного разговора не было между ними. В нем произошла большая перемена, он стал такой странный, мрачный. Сердце матери видело, что он очень несчастлив, но ничем не могла она помочь ему, да он и не просил ее помощи.

Всего этого горя оказалось мало, пришло новое горе. Муж тяжело болен, и она видит ясно, что он уже не встанет, что придется ей похоронить его. И она не отходит от него ни на минуту, ловит каждый

его взгляд, прислушивается к каждому его дыханию. Он бессилен, он плохо видит; но тяжко ему стало бы, если бы мог он разглядеть ее лицо в иные минуты: такая скорбь выражается в этом прекрасном старческом лице. Только в молитве находит она отраду и черпает в ней силу для этих мучительных дней, для этих бессонных ночей.

Проходят недели — больному не лучше, он видимо слабеет. Доктора теряют всякую надежду. Иногда он начинает жестоко страдать, и она страдает с ним, страдает вдвойне.

Приходят последние минуты. Он понял наконец, что умирает. Сначала он возмутился при этом сознании. Но такое возмущение продолжалось недолго, оно прошло и сменилось спокойствием. Он лежал в полной памяти, страдания прекратились, только слабость была такая, что трудно было ему поднять руку, трудно было шевельнуть языком.

Она сидела над ним без слез, не отрывая взгляда от его бледного лица и его потухших глаз. Она уже не молила Бога о том, чтобы он сохранил ему жизнь, она понимала, что смерть — спасение.

Но как же это он умирает? Тут было что-то такое, чего она не понимала, никак не могла постигнуть. Он умирает!..

И внезапно разгоревшимся пламенем вспыхнула в ней вся ее любовь к нему, та любовь, которой она отдала всю жизнь с первых дней своего отрочества.

Он умирает... Он, бывший счастьем и горем всей ее жизни, он, так долго жданный ею! Во вторую половину ее жизни, в долгие годы тихого семейного счастья, прежняя страсть мало-помалу переставала говорить в ней, с годами и кровь остывала. А главное, являлись различные интересы, наполнявшие жизнь, — дети, судьба их.

Иногда его как будто и совсем для нее не было. Не было его потому, что он и она — были одно, они жили одной жизнью, одними мыслями и чувствами...

Теперь он уходит, они разъединяются!..

И вся прежняя любовь, никогда не проходившая, никогда не уменьшавшаяся, но только невидная и неслышная, снова появилась во всей своей силе, как будто вернулось прежнее время. Она опять любила его как в молодые годы.

То же самое обновление чувств перед вечной разлукой происходило и в нем.



— Ближе ко мне... Ближе!.. Дай руку, Таня!.. — то и дело шептал он.

Проходили часы, слабость его увеличивалась.

— Таня, — вдруг прошептал он, — я хочу исповедаться и причаститься, пригласи священника...

Она вся вздрогнула от неожиданности и изумления. Она в первую минуту просто не поверила ушам своим. Он сказал это, он, всю жизнь мучивший ее своим неверием?

Она поспешила исполнить его желание. Он слабо ей улыбнулся. Он знал, что большего удовольствия не может доставить ей в эти печальные минуты, — и решился доставить ей это удовольствие.

Но во время исповеди и причастия никогда не изведенное им благоговейное чувство сошло ему в душу. Как будто тяжесть спала с его плеч, тоска исчезла. Он не в силах уже был рассуждать и анализировать своих ощущений, он просто предавался им.

Когда священник ушел и Татьяна Владимировна склонилась к нему и поздравила его, всеми силами удерживая поступавшие слезы, он из глубины сердца шепнул ей:

— Теперь мне хорошо... Хорошо...

Он задремал. Прошло несколько часов. Вдруг он открыл глаза и слабо сжал руку жены.

— Прощай, Таня! — расслышала она. — Прощай... Не печалься... Мне хорошо... Прости меня... Я много горя причинил тебе... Но ведь ты знаешь, как я всегда любил... Как я люблю тебя... Ведь мы хорошо... Мы дружно прожили с тобою, Таня...

Он хотел еще сказать что-то, но замолчал и стал забываться. Он уже ничего не видел, или, вернее, видел очень многое. Время от времени он произносил имена сыновей, звал их, говорил с ними... И потом опять звал ее:

— Таня!.. Сюда... Ближе!.. Ближе... видишь, как хорошо... Пойдем вместе...

Голос его совсем замер. Он глубоко вздохнул, потом слабо простонал. Началась агония.

Она сидела неподвижно, с застывшим лицом, держа в руках его холодеющую руку. Когда эта рука совсем остыла, когда она почувствовала, что все уже кончено, она тихо поднялась, перекрестилась и поцеловала своего друга, закрыла ему глаза,

опустилась на колени и долго без слез и рыданий, но всей силой своей веры и своей любви молилась.

Никто не смел подойти и ее потревожить.

Наконец она встала с колен, еще перекрестила и поцеловала усопшего, а потом твердым голосом стала делать распоряжения.

Но стоило только взглянуть на ее преобразившееся лицо — и каждому ясно становилось ее безысходное горе. Да, это было безысходное горе, хотя никто не услышал от нее ни одной жалобы.

Ее жизнь была кончена.

Через полгола она поехала в Сибирь к сыну и невестке. Они с трудом ее узнали — это была дряхлая, больная старуха. Она уже не жила, она только спокойно и терпеливо ждала смерти. Через два года она умерла, завещая перевезти ее тело в Горбатовское и похоронить в родовом склепе рядом с могилой мужа.

По окончании срока каторги, значительно для него сокращенного, Борис Горбатов был переведен на поселение в один из самых живописных уголков юго-западной Сибири. Он устроился с женой и княгиней Маратовой, совсем забывшей о Петербурге ради своей обожаемой воспитанницы, в просторном, выстроенном им доме. Большие денежные средства, находившиеся в руках Нины, а также состояние княгини, давали им возможность устроить даже и в этой дикой стране такую обстановку, какая была им по вкусу.

Скоро Борис Сергеевич и его семья сделались самыми известными и уважаемыми людьми в этой местности. Не говоря уже о том, что каждый прибывший из России или проезжавший спешил в дом Горбатовых, где всегда находил радушный прием и удобства европейской жизни, но даже окрестные инородцы полюбили доброго русского барина и шли к нему за помощью и за советом. Он сам полюбил этих полудиких сынов Азии, заинтересовался их бытом, не жалел для них денег и приносил им немало пользы.

Однако его близость с инородцами и вообще влияние, полученное им в крае, доставляли ему немало неприятностей. Местное начальство зорко за ним следило и очень часто чересчур бесцеремонно вмешивалось в жизнь его. Если должностные лица были порядочными людьми, они, конечно, ни в чем не мешали Горбатову и были с ним в наилучших отношениях. Но попадались люди и непорядочные, люди, желавшие показать свою власть, поломаться над этим знатным и

богатым человеком, который тем не менее все же был «преступником». Конечно, и этих людей ему легко было задобрить теми же деньгами; но поступать так было не в его правилах, и он не раз переносил большие неприятности. Он подвергался самым бессовестным доносам, в которых его выставляли чуть ли не возмутителем.

Одним из самых лучших его удовольствий была переписка с друзьями, с товарищами долгого заточения, разосланными теперь по Сибири и Кавказу. И вот начальствующие лица, желавшие сделать ему неприятности, всячески тормозили эту переписку. Очень часто письмо, написанное к человеку, жившему за несколько верст, шло сначала в Петербург, разбиралось в «третьем отделении» и затем возвращалось обратно, достигая по назначению иной раз не ранее как через полгода, а часто и совсем теряясь по дороге.

Несмотря, однако, на неприятности, жизнь Горбатовых все же шла хорошо. В семье у них было дружно и ладно. Муж и жена не могли наглядеться друг на друга, и не могла на них наглядеться старуха Маратова. Скоро у Горбатовых родился ребенок, мальчик, а затем через два года и девочка.

Борису Сергеевичу стыдно было бы пожаловаться на жизнь свою — он был здоров, деятелен, о скуке не было и помину. Он любил все проявления жизни, все его интересовало, каждый новый год обогащал его знаниями. Он погрузился в изучение страны, где привелось ему жить. Один предмет увлекал его к другому. Его мистицизм, стремление к высшим загадкам и истинам человеческого духа потерпели крушение в европейском масонстве. Затем перенесенное испытание и жизнь заставили его спуститься на землю. Но теперь, среди новой обстановки, в нем поднялись прежние вопросы, и он решил, что, пожалуй, здесь, вблизи к колыбели мира, он и найдет немало ответов.

Он ревностно принялся изучать восточные языки, азиатскую науку, входил в сношения с учеными ламами и наконец достиг того, что они признали его ученость даже в азиатском значении этого слова. Раскаиваться ему не пришлось: если на многие вопросы еще и не было найдено ответа, то все же он наталкивался на весьма интересные явления из области духа, существования которых он прежде и не подозревал.

Так проходили годы. Ему суждено было испить полную чашу семейного счастья и семейного горя. Сначала он с женою похоронил

горячо любимую им княгиню Маратову, а затем и обоих детей своих, умерших от азиатской холеры. Горе и навсегда оставшаяся тоска по детям сломили и без того плохое здоровье Нины.

Это здоровье сделалось теперь главной заботой Бориса Сергеевича. Все, что можно было сделать деньгами и человеческим знанием, было сделано для поддержания жизни Нины. Она жила, хотя и страдая. Но время брало свое, корень болезни не мог быть вырван. Нина Александровна лишилась употребления ног, и последние пять лет своей жизни никто иначе не видал ее, как в кресле на колесах, которое в ясные хорошие дни возил Борис Сергеевич по обширному саду, разбитому вокруг их дома.

Нина Александровна умерла пятидесяти лет, умерла от медленно развивавшегося в ней истощения сил. Она не сознавала того, что умирает, — просто заснула, в последний раз улыбнувшись мужу и слабо сжав его руку.

Он должен был призвать себе на помощь всю свою философию, всю свою мистическую веру, чтобы перенести этот удар, ожидаемый им многие годы, но все же казавшийся ему невозможным.

### III. МЛАДШАЯ ЛИНИЯ

Владимир Горбатов после смерти отца и матери получил половину их огромного состояния. Исполнилась даже его заветная мечта — к нему перешел и великолепный петербургский дом. Служебные его успехи росли быстро: в тридцать с небольшим лет он был уже генералом и занимал влиятельное и видное положение. Жизнь устроилась именно так, как он желал. Все цели были достигнуты, все тревоги должны были исчезнуть. Погубленный им брат далеко, в Сибири, и даже, как он знал, считает себя счастливым. А если он счастлив, так и смущаться нечего, совесть не должна упрекать; значит, все устроилось к лучшему, значит, он ни в чем не виноват.

А между тем он, холодный и расчетливый человек, привыкший жить только ради себя, ставивший высшею задачею угождение своему честолюбию и грубым страстям, он был очень несчастлив среди успехов и богатства.

Все его старые приятели, знавшие его до двадцать пятого года, его просто не узнавали. Он сделался мрачным и нелюдимым, часто запирался у себя. Никто не слышал его смеха, даже его ирония, которую он любил выставлять на вид, пропала. Такая перемена говорила в его пользу, и о нем стали судить как о человеке, в котором ошибались сначала, решили, что он оказался гораздо сердечнее и глубже, чем о нем думали.

«Этот человек сражен семейным горем, на него страшно подействовала ссылка в Сибирь любимого брата, смерть отца и матери, а главное, — жена, жена его убивает!»

Но такое заключение было неверно. Кроме враждебного чувства и зависти он никогда ничего не питал к брату. К отцу и матери он относился равнодушно и еще за многие годы до их смерти рассчитывал на эту смерть и на ней строил различные планы.

Его томило и мучило нечто такое, что он и сам определить не мог. С того самого дня, как он предал брата, несмотря ни на что, он не имел покоя. Он придумал для себя и перед самим собою большую защитительную речь, постоянно повторял ее себе, оправдал себя, решил, что оправдание справедливо, а между тем не мог успокоиться.

Брат, хотя и счастливый в своей далекой ссылке, стоял перед ним и не отходил прочь. И он боялся этого призрака пуще всего на свете. Он много раз начинал письмо брату, находил, что должен же написать ему, — и ни разу не имел силы докончить такого письма. Так ни одного письма и не послал в Сибирь.

Его ощущения, его страдания можно выразить так: он разлюбил себя. Он, прежде только и знавший, что носиться с собою и ставить себя на пьедестал, курить перед собою фимиам, теперь тяготился собой, не заботился о себе. Все пришло, все есть, а между тем оказывалось, что ничего не нужно, что не стоит он, этот идол, это «я» того, чтобы с ним так носиться, чтобы доставлять ему всякое удовольствие. И вследствие этой все возрастающей отчужденности от себя, доходившей иногда просто до самоненависти, совсем изменился его характер. Теперь ему ни до чего не было никакого дела.

Жена и их взаимные отношения его не мучили, он махнул на все это рукой, потому что прежнего самолюбия уже не было. Она была ему только противна, и ее отсутствие оказывалось все-таки утешением. Она широко пользовалась такой переменной в характере мужа, и скоро он остался совсем один в своем огромном доме.

Катерина Михайловна почти безвыездно жила за границей. Она вытребовала для себя очень большую ежегодную сумму, которая ей аккуратно высылалась мужем, и он иногда почти по годам не имел о ней известий.

Все знали, что она тайно приняла католицизм, что она воспитывает детей в иезуитской школе. Сначала ее имя соединяли с именем графа Щапского, потом возвращавшиеся из-за границы рассказывали, что Щапский давно уже порвал с нею, что она ведет самую безнравственную жизнь. Сожалели о детях.

Наконец начали обвинять Владимира Сергеевича в его бесхарактерности.

«Если он ничего не может сделать с женой, то, по крайней мере, должен спасти детей...»

Эти толки дошли до него. Он сделал над собою усиление, вышел из обычной апатии, написал жене решительное письмо, заставившее ее приехать в Петербург.

Через месяц она уехала, но уже без детей.

Дети стали воспитываться в Петербурге. Отец очень мало обращал на них внимания, на этих двух быстро выраставших мальчиков. Они были отданы на руки наемным воспитателям.

Тот прекрасный образ семейной жизни и семейного воспитания, который в течение нескольких поколений был присущ семье Горбатовых, исчез бесследно. Эти бедные дети, Сергей и Николай, имея отца и мать, были самыми жалкими круглыми сиротами.

Все больше и больше тяготясь собою и жизнью, потерявшей весь прежний смысл, Владимир Сергеевич ни разу не остановился на мысли о детях. Ему и в голову не приходило, что любовь к детям, забота о них, исполнение относительно них своих обязанностей могут быть для него единственным лекарством, что, быть может, дети примирят его и с самим собою, и с жизнью.

Он просто не находил в себе отеческого чувства. Общественное мнение потребовало от него, чтобы он взял детей к себе, — и он исполнил это требование. Они жили с ним в одном доме, ни в чем не нуждались, воспитывались так, как воспитывались их сверстники, принадлежавшие к одному с ними кругу, — большего никто от него не мог требовать.

Он часто по целым неделям не видал детей, а когда встречался с ними, ему становилось еще скучнее, еще тяжелее. Эти мальчики, всегда как-то затихавшие и смущавшиеся при его появлении, робко отвечавшие на его вопросы, только раздражали его.

«Она приучила их меня ненавидеть», — думал он и спешил скорее прочь от них.

Никто не приучал их его ненавидеть; до своего приезда они просто никогда о нем не думали, потому что почти никогда о нем не слышали от матери.

Поселясь под одним с ним кровом, они не знали, что он такое и как к нему надо относиться.

Если бы он захотел, конечно, они стали бы глядеть на него как на отца; но он не сделал ни одной попытки к сближению с ними. Они видели в нем совсем чужого человека, неразговорчивого, мрачного, строгого.

А между тем этот чужой человек имел над ними права и власть, и они его боялись. Он никогда еще ни в чем не поступил с ними жестоко,

но, несмотря на это, они оба почему-то были убеждены, что он способен на всякую, жестокость.

Их гувернеры и учителя в самых крайних случаях выставляли его имя:

«Мы будем жаловаться вашему отцу, и вот тогда — увидите».

И никакие наказания не действовали на мальчиков так, как эта фраза.

Если Владимир Сергеевич мало обращал внимания на этих детей, живших с ним и носивших его имя, то, конечно, о других своих детях, не носивших его имени, он уже совсем не думал. Таких детей было у него несколько, но он даже не знал, что случилось с ними.

Из своих мимолетных привязанностей он помнил только одну. Это была скромная молодая девушка, с которой он сошелся незадолго до своей женитьбы. Он имел от нее сына и навещал ее в течение более чем трех лет. Для него в делах такого рода это была целая вечность. К концу трехлетнего срока его посещения скромного домика на Васильевском острове сделались весьма редки. Ему стали надоедать и мать, и ребенок. Вероятно, прошло бы несколько месяцев — и несчастная, соблазненная им женщина была бы им совсем забыта. Но тут случилось нечто непредвиденное.

Как-то раз Владимир Сергеевич заехал в укромный домик и никого не нашел в нем — его возлюбленная с ребенком неизвестно куда скрылась. Она оставила ему записку, где говорила, что хотя очень поздно, но наконец поняла свое заблуждение, и главное — поняла «его», так как узнала о таких его поступках, после которых не хочет иметь с ним ничего общего. Она вымолила прощение у своих родных и уезжает к ним — куда? — ему нечего об этом заботиться. Но она просит его об одном — забыть про ее существование и про существование ребенка...

Владимир Сергеевич вознегодовал. Не он бросил — его бросили!

И вместе с этим он вдруг почувствовал в себе что-то такое, как будто даже некоторую страстную нежность к этой покинувшей его женщине. За минуту перед тем он думал о ней равнодушно и холодно, теперь же, по прочтении ее письма, ему показалось, что она нужна для него.

«Что за вздор! К чему это, она должна вернуться!» — властно и решительно, по своей привычке, твердил он себе.



Он стал наводить справки, где она, и ничего не узнал. Целый год он нет-нет да и возвращался к мыслям о ней и продолжал наводить свои безуспешные справки. Но в конце концов и на это дело махнул рукою...

Между тем его терпение в борьбе с нелюбовью к самому себе и отвращением к жизни истощалось. Подошло военное время, началась венгерская кампания. Владимир Сергеевич попросился на театр военных действий. Все его сослуживцы в один голос свидетельствовали, что он выказывал в самых горячих делах большую храбрость, хотя это и не была истинная храбрость героя, а просто искание смерти.

Он нашел то, что искал. Он пал в жарком деле, впереди русских солдат, и в последнюю минуту, смертельно раненный, пересиливая тяжкие страдания, чувствовал себя счастливым — он, наконец, перестал себя ненавидеть и успокоился...

В это время молодые Горбатовы не только уже имели свои семьи, но старший, Сергей Владимирович, женившись очень рано, успел даже овдоветь.

При жизни отца они считали себя людьми очень богатыми; но, разобравшись в наследстве, увидели, что ошиблись. Владимир Сергеевич, тяготясь жизнью и думая только о том, как бы забыться, в последние годы особенно сильно предался своей страсти к картам. Уже после смерти отца, получив наследство, он должен был выплатить огромные долги, сделанные им в молодости. А умирая, он оставил новым представителям рода Горбатовых настолько запутанное состояние, что его трудно было и распутать. Имена были давно заложены, то и дело оказывались новые долги. Между тем и Сергей, и Николай не взяли особенно большого приданого за своими женами.

Узнав о смерти мужа, приехала из-за границы Катерина Михайловна для того, чтобы получить свою законную часть наследства. Когда выяснилась сумма этой законной части, она пришла в ужас. У нее тоже было немало долгов, и за покрытием их средств оказывалось вовсе недостаточно для такой жизни, какую она привыкла вести. Она сочла за лучшее остаться в России и после объяснения с сыновьями поселилась в Горбатовском доме.

Сергей и Николай служили в гвардейских полках, но ни тот, ни другой до сих пор не делали блестящей карьеры.

Вообще Катерина Михайловна убедилась, что все теперь уж не то, как было в годы ее молодости. Общество изменилось, прежние отношения порваны, дом обветшал... нужно начинать все снова.

Она не боялась того, что ее беспорядочная жизнь может ей в чем-нибудь повредить. Стоит только обновить старый, великолепный дом, дать несколько блестящих балов — и все вернется, весь Петербург у нее будет.

Она так и рассчитывала.

Но вот оказывается настолько сильное расстройство дел, что прежнего образа жизни вести нельзя. А главное, уж и в обществе ходят толки о том, что Горбатовы разорены.

Во что бы ни стало нужно заставить замолкнуть эти толки — *il faut faire bonne mine au mauvais jeu*. Год-другой можно будет еще вывернуться, а там остается одна последняя надежда: Сергей овдовел, его нужно женить на очень богатой девушке, состояние которой могло бы помочь поддерживать блеск падающего дома.

И она стала заботиться об этом, стала высматривать для сына богатую невесту.

Через два года ей удалось достигнуть цели — Сергей Владимирович женился на прелестной и молоденькой княжне Засецкой, круглой сироте, только что выпущенной из Смольного института.

Положим, княжна принесла мужу не Бог весть какое состояние, всего с небольшим полмиллиона, но у нее были самые блестящие надежды в будущем: она была единственной наследницей очень богатых и старых дядей и теток. А полмиллиона, получаемые Сергеем Владимировичем из рук в руки в бесконтрольное распоряжение, давали возможность значительно очистить дела и продержаться до получения первого наследства.

С ранней весны до глубокой осени Горбатовы жили в Знаменском имении — соседнем с Горбатовским — и это значительно сокращало их расходы.

Таким образом, семья состояла теперь из Катерины Михайловны, Сергея, его второй жены и четырех маленьких детей от первого брака и их, Николая с женою, единственным сыном.

Вот и все сведения, какие имел о своих родных Борис Сергеевич, возвращаясь из Сибири на родину.

## IV. БАРСКИЙ ПРИЕЗД

Борис Сергеевич никого не известил о своем приезде. В последние годы он время от времени получал письма от племянников и считал своим долгом отвечать им. Но это была вовсе не родственная, а чисто официальная переписка, из которой он никак не мог узнать, что такое Сергей и Николай. Они передавали ему внешние события своей жизни — и только. В последнем их письме были обычные фразы о том, что они радуются его скорому возвращению — и так далее. В своем ответе он говорил, между прочим, что о возвращении еще и не думает. Это была правда.

Но вдруг его потянуло на родину, вдруг в нем поднялось какое-то ожидание, почти даже надежда, на что — он и сам не знал. Он быстро собрался в дорогу в сопровождении своего верного, всю жизнь бывшего при нем камердинера Степана. Они на несколько дней остановились в Москве. Борис Сергеевич повидался кое с кем, устроил некоторые свои дела и поспешил в Горбатовское. Степан, однолеток своего господина, так же хорошо, как и он, сохранившийся старик, считал своим долгом заметить перед выездом из Москвы:

— А вы бы, Борис Сергеевич, уведомили молодых господ, племянничков, о прибытии в Горбатовское... Ведь они, надо полагать, в Знаменском?

— Да, в Знаменском, писали, что целое лето и осень пробудут.

— Ну, так вот и известили бы, а то нехорошо — обидятся, пожалуй, подумают: дяденька, мол, не хочет и знать нас...

— Ничего не подумают, что я им — чужой!.. Не знают меня совсем... — угрюмо проговорил Борис Сергеевич.

Степан покачал головою.

— Как же это — чужой? Кровь-то ведь своя...

Он запнулся и, видимо, чего-то смутился, а потом продолжал:

— Сереженька-то, чай, помните, малютка какой был? Ровно ангелочек, он же и крестник ваш, один у вас остался. Вот спросить-то, жаль, некого, здесь их мало знают. Да авось Бог милостив, вышел Сереженька хорошим добрым барином, так, может, вам, батюшка, и в утешение будет под старость... Так-то! Напишите, напишите...

Из этого разговора видно было, какие отношения существовали между господином и крепостным человеком. Этот крепостной человек был лучшим другом барина и никогда не стеснялся высказать свои мнения и давать советы. Борис Сергеевич нередко следовал его советам, но на этот раз остался при своем решении и так и не известил своих племянников. Он решительно не хотел никаких встреч и приготовлений, ему было тяжело все это, ему хотелось незаметно очутиться в своем старом гнезде и оглядеться, одуматься. Он приехал в Горбатовское ясным летним вечером, и его встретила полная тишина давно покинутой барской усадьбы. Большой дом был наглухо заперт. Коляска Бориса Сергеевича остановилась у громадных ворот, которые тоже стояли на запоре. Все спали. Степану долго пришлось стучаться. Наконец со всех сторон сбежавшиеся и отчаянно лаявшие собаки разбудили людей.

— Барин приехал! — кричал Степан.

— Какой барин?

— Барин из Сибири, Борис Сергеевич.

Эта весть мгновенно облетела все дома, построенные полукругом около барского дома и служившие помещением бесчисленной дворни. Более двадцати лет эта дворня оставалась без всякого дела, даром жила, кормилась и плодилась. Успело за это время вырасти новое поколение, никогда не видавшее большого барского дома отпертым и жилым. У этого поколения уже сложилась легенда о прежних барах, барине Борисе Сергеевиче, живущем где-то за тридевять земель. Этого барина ждали, но как тридцать лет тому назад, так и теперь, срок его приезда казался неопределенным и далеким, до того неопределенным и далеким, что барин уже давно превратился в какое-то сказочное существо.

Знаменских господ иногда видали. Изредка, раз в лето, они наезжали в Горбатовское. Тогда старый ключник, Петр Сидорович, отпирал дом и водил бар по бесчисленным комнатам, толкуя о том, что он содержит все в исправности, что ни одна вещичка не пропала в доме и все на своем месте. Дворня выглядывала изо всех щелей на нарядных господ и затем, когда они уезжали, долго шли о них разговоры.

Несколько лет тому назад, уже после смерти Владимира Сергеевича, случилось следующее происшествие: наехали знаменские

господа, а с ними их матушка из чужих краев, барыня Катерина Михайловна. Ее горбатовская дворня хорошо знала, — знала и недолюбливала. Тем не менее, все старые дворовые сочли своим долгом выйти к барыне Катерине Михайловне, чуть не земно ей поклониться и приложиться к ее ручке.

Ох, уж и изменилась же она! Ее помнили такой молоденькой, легкой, как птичка, — теперь уже не то. Но она такая же щеголиха, и голос у нее такой же властный, и глазами она так же поводит.

Катерина Михайловна приказала вести себя в дом, первым же делом напустилась на ключника, что пыли много, а затем позвала своих людей, приехавших с господами из Знаменского, и начала отбирать многие дорогие барские вещи.

Только и слышно было:

— Вот это укладывайте! Вот это!..

«Как же так? Ведь дом-то Бориса Сергеевича, а не Катерины Михайловны, и он должен барское добро беречь пуще глаза, и никому, как есть никому, не давать к нему и прикоснуться. Как же это, не раз наезжали молодые господа, бариновы племянники, и никогда-то ни одну вещицу не тронули... Замечал он, что на многое у них глаза разбегаются, стоят, поговаривают, разглядывают, а до сей поры все же ничего не взяли. Так что же это?»

Он было заикнулся Катерине Михайловне о том, что он баринова распоряжения насчет вещей не получал. Может, управляющий, Кузьма Захарыч, что знает, так пусть уж барыня позволит ему спросить Кузьму Захарыча.

Как закричит на него Катерина Михайловна.

«Какой там еще Кузьма Захарыч! Мои это вещи, и я за ними приехала... А ты — дерзкий грубиян, скот...»

И не успел старик очнуться, как она своей барской ручкой изрядно-таки прямо его в лицо хлопнула.

Старик оробел, отошел и грустно смотрел, как чужие холопы барское добро разбирают да укладывают. Побежал он к управителю докладывать: «Так, мол, и так, есть, что ли, от барина распоряжение?»

Управитель почесал в затылке.

— Нет, — говорит, — никакого распоряжения. А только, что же с ней поделаешь!..

Однако все же он съездил в Знаменское к Катерине Михайловне, переговорил с нею и, вернувшись, успокоил ключника:

— Ее это вещи, и тебе, старина, за них отвечать не придется. Да она говорит, что еще не все свое взяла, еще, мол, много осталось.

Через несколько времени управитель пошел в дом, отобрать несколько ценных вещей и сказал ключнику, что везет их в Знаменское, барыне...

И вдруг — барин приехал! Это известие было так неожиданно, так невероятно, что все сразу оказались ошеломленными будто ударом грома.

Да верно ли?.. Как тому быть? Как это — барин приехал?..

Но в тоне, каким передавалось это известие, заключалось нечто такое, что никак нельзя было не поверить. Все почувствовали это.

Барин приехал! Что из этого будет, что теперь со всеми ними станет, какая жизнь начнется? Эти вопросы не задавались еще, думать-то было некогда, но они инстинктивно возникали в каждом, сказывались в тревоге, изобразившейся на всех лицах.

Не прошло и десяти минут, как уже не было такого уголка в обширном помещении горбатовской дворни, где не произносилось бы на все лады слово «барин». Не было ни одного человека, даже ребенка, который бы не проснулся и не одевался поспешно.

— Барин... Барин приехал! — шамкали старики и старухи.

— Барин приехал, чего дрыхнешь-то! Вставай... Вставай! — будили малых ребят, тормозили их, толкали. — Барин, барин приехал!

Дети, испуганные до полусмерти, подымали рев, но матери, при первом отчаянном звуке этого рева, давали им колотушку.

— Что ты, аспид!.. Что ты... Никшни!.. Барин приехал... Услышит... Услышит!

И ребенок, вконец перепуганный этим уже известным, но совсем непонятным ему и казавшимся страшным словом, сдерживал свои рыдания, свой крик и начинал дрожать всем телом и прятаться куда ни попало, ожидая близкой, неминуемой гибели.

Но кроме детей и подростков, дрожавших от страха и прятавшихся спросонья по углам, все, поспешно одевшись, спешили к барскому дому. Менее чем за полчаса безмолвный, поросший густою травой двор наполнился сотнями человеческих фигур, туманно рисовавшихся в полусумраке летнего вечера.

Вся эта толпа остановилась в нескольких саженьях от барского крыльца и, не мигая, смотрела перед собою на крыльцо, на окна.

А между тем ничего не было видно — на крыльце никто не показывался, окна по-прежнему стояли с заколоченными ставнями.

Проходили минуты. И вот дверь в барский дом отворилась, на крыльце показался управляющий Кузьма Захарыч, много лет бывший неограниченным властителем огромной дворни. Этот грозный и поразительно важного вида человек лет пятидесяти, всегда выплывавший медленно, тяжелой походкой, с откинутой головою, теперь чуть кубарем не скатился с крыльца. Он подбежал к толпе и крикнул:

— Олухи! Ну чего ж вы стоите-то?! Да идите же, дьяволы, отпирать окна. Ступайте в дом, да тише... Не топать!..

Толпа дрогнула, потом на мгновение снова как бы застыла. Еще миг — и все хлынули к дому.

Отпирались одна за другою тяжелые ставни, большая дверь барского крыльца стояла настежь, и в нее проходили мужчины и женщины. Через несколько минут приемная, освещенная наскоро зажженными двумя свечками, битком набилась этим людом. Отсюда была видна огромная зала, вся увешанная старинными портретами, погруженная почти в полный мрак. Слабое мерцание свечи, одиноко торчавшей в старинном запыленном канделябре, не могло победить этого мрака.

Все замерли, стояли не шелохнувшись и ждали. Прошло, как им показалось, немало времени.

Наконец, там вдали, в самом конце громадной залы, сверкнул свет, хлопнула дверь, по старому мозаичному паркету гулко раздались шаги... Ближе... Ближе... В зале зажглось еще несколько свечей. Кузьма Захарыч подскочил к дверям приемной и отчаянно замахал руками:

— Сюда, в залу, барин зовет... Тише!..

Толпа стала проходить в залу. Старики и старухи протискивались вперед, молодые, в робости и тревоге, отставали.

Из полумрака выделилась сухощавая небольшая фигура с длинной, белой и блестящей, как серебро, бородой.

— Барин... Барин! — раздался в толпе глухой восторженный шепот.

Послышались всхлипывания. Все смешалось. Старики и старухи со всех сторон обступили Бориса Сергеевича, падали перед ним, целовали ему ноги, причитали:

— Красное наше солнышко, светик наш ненаглядный!.. Не чаяли мы тебя видеть!.. Слава тебе, Господи... Эх, батюшка, батюшка — да и не узнать тебя — уезжал ты молоденький, а вернулся-то старенький!..

— Да, старенький вернулся! — повторял он взволнованным голосом, поднимая и обнимая старых слуг. — Много времени... Вот и вы не помолодели. А дай-ка — узнавать стану... Петр!.. Марья... Акулина... Здравствуйте!..

Он всматривался, называл всех этих стариков и старух по именам.

— Батюшка, золотой, нас не забыл, помнит! — восторженно, умиленно шептали кругом, снова ловя его руки, припадая к его платью.

В первую минуту он, было, стал отнимать свои руки, не давал целовать их, но тотчас же понял и почувствовал, что это фальшь, что это бессмыслица, что это обида, и уже не отнимал больше рук, и отдавал себя всего поцелуям. Широкое, давно-давно неизведанное им чувство охватило его, и он каждого и каждую обнимал и целовал громко и крепко, от всего сердца. Он любил в эту минуту все эти сморщенные старые лица, всех этих дряхлых и бодрых людей, пропитанных запахом тесного жилья и кухни.

Наконец он перецеловал всех стариков и старух и сделал несколько шагов вперед. Вокруг него уже были совсем незнакомые лица, глядевшие на него смущенно и изумленно. На некоторых из них он прочел даже страх. И эти тоже все стали подходить к его ручке. Но теперь ему это было неприятно и неловко. Он положил руки в карманы и начал кланяться на все стороны.

— Здравствуйте, здравствуйте! — повторял он.

Его взгляд поднялся выше и скользнул по выступавшим из мрака старым портретам. Он окинул взором эту огромную залу с двойным светом, хорами, глубоким потолком, совсем уже терявшимся во мраке.

Ему стало вдруг тяжело и тоскливо; он почувствовал утомление...

— Устал, спать пора!.. — проговорил он тихо и печально.

Толпа расступилась, и он медленно, почти шатаясь, пошел из залы по скрипящему под его шагами старому мозаичному паркету.



## V. ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК

Плохо спалось в эту ночь Борису Сергеевичу. Старое родовое гнездо не успокоило и не согрело. А между тем ведь это была та самая комната, в которой он вырос и где до сих пор оставались нетронутыми многие его прежние дорогие по воспоминаниям вещи.

Но уставший старик, сердце которого, несмотря на долгую и трудную жизнь и, быть может, даже именно вследствие этой жизни, было до сих пор еще молодо, страшился коснуться этих окружавших его воспоминаний. Он чувствовал, что стоит только допустить их до себя — и они им совсем овладеют. Он напрягал все свои силы, боролся с ними, как с врагами, из простого, инстинктивного чувства самосохранения, потому что теперь ему нужно было, прежде всего, отдохнуть. Он чувствовал большую слабость, голова была тяжела, в виски стучало, лихорадочная дрожь пробегала по всем членам. Он старался ни о чем не думать, звал сон. И сон, наконец, пришел, но ненадолго. С первыми лучами солнца проснулся Борис Сергеевич, встал, поспешно оделся и вышел из спальни.

Глубокая, жуткая тишина стояла в огромном пустом доме. Он пошел знакомой дорогой, отпирая двери, к которым столько лет не прикасалась рука его. Он обходил комнату за комнатой. Эти разнообразные комнаты, знакомые до мельчайших подробностей, встречали его своей грустной тишиною, своей атмосферой пустоты и затхлости. Каждая комната была мавзолеем, на котором при его приближении выступали полустертые буквы знакомого и дорогого имени.

Бледный старик спешил дальше и дальше, не останавливаясь, не вглядываясь, чувствуя только подступавшую к сердцу тоску, с которой ему хотелось упрямо бороться. Обойдя весь дом, он вышел на стеклянную террасу. Дверь была заперта, ключа не оказалось. Борис Сергеевич постоял минуту, огляделся, растворил широкое, составленное из разноцветных стекол окно, приподнялся и легким движением перепрыгнул через окно в сад, где встретило его раннее летнее утро...

Но прогулка не освежила и не ободрила. Упрямая борьба с воспоминаниями ни к чему не привела — они одолели, и мы видели, с каким тяжелым сознанием своего одиночества возвращался старик с этой прогулки...

Теперь дверь террасы стояла отпертою, и едва Борис Сергеевич поднялся по широким ступеням, как заметил своего Степана, стоявшего почти у самой двери и с жаром что-то кому-то объяснявшего. Кому — еще не было видно. Но миг — и Борис Сергеевич различил высокую, широкоплечую фигуру щегольски одетого в не то утренний, не то охотничий костюм молодого человека лет тридцати с небольшим. Борис Сергеевич остановился, взгляделся, и вдруг у него шибко забилося сердце. Глаза его блеснули — и новым чувством, именно тем чувством, отсутствие которого так его тяготило, вдруг пахнуло на него.

— Сергей? — тревожно, смущенно и в то же время радостно проговорил он и протянул перед собою руки.

Молодой человек бросился к нему. Они обнялись,

— Дядюшка, хорошо ли это, не дать знать... — начал было племянник неизбежную, требовавшую приличия фразу, но тут же замолчал, видя, что дядя его не слушает.

Да, он не слушал, он не мог слышать. Отстраняя от себя племянника и снова его к себе привлекая, он жадно вглядывался в красивое, открытое, хотя и не отличавшееся правильностью очертаний лицо молодого человека. Ему казалось, что это лицо ежесекундно перед ним меняется. Вот сейчас он узнал в нем своего отца, узнает брата, теперь вот узнает мать... Ее... ее улыбка!.. Вот она, как живая!.. Еще миг — и он видит перед собою самого себя в прежние годы...

«На всех похож!.. Наш... мой... родной!» — бессознательно, в полузабытьи шептал он и снова привлекал к себе племянника, и снова горячо целовал его, и чувствовал, как все шире и шире поднимается в сердце теплое, отрадное чувство.

Степан, в своем длиннополом, бутылочного цвета сюртуке, с узкими, несколько короткими рукавами, в огромном клетчатом платке, обмотанном вокруг длинной худой шеи, стоял не шевелясь. Гладко выбритое лицо его, с крупным носом, маленькими светлыми глазами и большим лысым лбом, все светилось радостной улыбкой.

— Так как же это ты, как узнал о том, что я здесь? — наконец, приходя в себя и все продолжая крепко сжимать руки племянника, проговорил Борис Сергеевич.

— Я это, сударь, с вечера еще распорядился, — сказал Степан, — послал в Знаменское. Вот и теперь Сергею Владимировичу докладываю: дяденька-то, мол, у вас чудак, каким сызмальства был — таким и остался... бывало вечно, никому не сказавшись, как снег на голову нагрянет... так вот и теперь. А Сергей Владимирович на меня не в обиде, что я от себя распорядился...

— Какой в обиде, большое тебе спасибо, любезный! — громким звонким голосом сказал молодой Горбатов, с изумлением и весело поглядывая то на дядю, то на Степана.

Конечно, он не стал объяснять, какое впечатление в Знаменском произвело посольство Степана. А дело было вот как. Совсем уже ночью прискакал, запыхавшись, из Горбатовского гонец с известием о приезде барина. Все уже в Знаменском разошлись по своим комнатам и даже погасили свечи. Не ложилась еще только Катерина Михайловна; она по старой привычке засыпала и вставала очень поздно. Когда ей доложили о гонце, она, видимо, несколько встревожилась и приказала призвать его к себе. Горбатовский дворовый вошел в горницу к барыне с большою робостью — Катерину Михайловну все горбатовские хотя и редко видали, но почему-то ужасно боялись.

— Когда приехал? — строгим тоном спросила она.

— Да уж совсем вечером, ваше превосходительство, — ответил посланный, вся фигура которого выражала не то перепуг, не то крайнее изумление.

— Что же, письмо есть ко мне или к молодому барину?

— Никак нет-с!

— Так, значит, на словах что сказать приказано? Да кто тебя послал? Сам барин?

— Никак нет-с, барин, надо полагать, започивать изволили, а это Степан Трофимович мне наказали: ступай, мол, сейчас верхом в Знаменское и доложи господам, что барин приехал — только и всего... Я мигом и поскакал...

Катерина Михайловна сразу не сообразила.

— Какой еще там Степан Трофимыч?

Гонец совсем растерялся.

— Да Степан Трофимыч... Ихний... Барский... С барином он приехал... Наш, горбатовский...

— А! — презрительно протянула Катерина Михайловна и махнула рукой. — Хорошо... Ступай...

Посланный низко поклонился и вышел. Она осталась одна и несколько мгновений сидела неподвижно, кусая губы и обдумывая что-то. Потом она прошла в комнаты, которые занимал ее старший сын с женою.

Все было тихо. Но из полуотворенной двери кабинета Сергея Владимировича пробилась полоска света. Катерина Михайловна заглянула — ее сын сидел у открытого окна в накинутом на одно плечо шелковом халате и курил сигару.

— Ты еще не спишь, мой друг?.. Могу я войти? — спросила Катерина Михайловна.

Он обернулся, с изумлением взглянул на нее.

— Как видите, еще не сплю, тамап... войдите... В спальне такая духота, а Наташа боится все сквозного ветра, запирает окна... К тому же у меня вот уже третий день бессонница — не спится да и только! Скука такая, что просто с ума сойти можно... Вам что-нибудь угодно, тамап?..

Она подошла к нему, присела рядом с ним.

— Ты говоришь: скука! А я к тебе с новостью, mon cher, будет и развлечение — дядя приехал!

Она передала свой разговор с горбатовским посланным.

Сергей выбросил за окно сигару, запахнул халат на своей широкой богатырской груди и добродушно усмехнулся. Когда он так усмехался, его худощавое, с несколько выдающимися скулами, тонким носом и светлыми, часто моргавшими глазами лицо делалось удивительно привлекательным. Он еще усмехнулся и наконец проговорил:

— Гм... дядя приехал!.. Ведь он и должен был приехать...

— Но ты заметь, — перебила его Катерина Михайловна, — заметь: каков! Если уж заранее не мог написать, то хоть бы теперь прислал два слова, а то ведь это его лакей распорядился известить нас...

— Так что же? Все равно! — равнодушно произнес Сергей. — Может, он нас совсем и знать не захочет и не приедет...

Катерина Михайловна нетерпеливо передвинулась на кресле.

— Нет, этого нельзя... Так нельзя, mon cher!.. Я тебя очень прошу пораньше утром к нему съездить.

Сергей поморщился.

— Увольте, maman! В самом деле — ведь он, может быть, не хочет — зачем же мне навязываться... подлизываться!..

— Пустое, пустое, мой друг! Он старший в семье, ты его крестник... ты непременно должен поехать... у него странности, я не знаю, каким он стал теперь... Но ведь ему многое надо прощать... и поверь — никто тебя не осудит — напротив, всякий поймет, оценит... c'est un vieillard... un homme malheureux après tout!..

Она стала уговаривать и скоро достигла цели. Сергея уговорить было нетрудно, особенно ей — она еще не так давно сумела уговорить его вторично жениться, когда он вовсе и не помышлял о женитьбе. Ему теперь просто надоел этот разговор, упрасивания, объяснения, ему, наконец, захотелось спать — и он дал ей слово рано утром отправиться в Горбатовское. Он сдержал свое слово, но нельзя сказать, чтобы с особенным удовольствием дожидался возвращения дяди с прогулки. Ждать ему, однако, пришлось недолго, да к тому же Степан заинтересовал его. Этот смешной старик, этот «сибирский тюлень», как почему-то про себя уже назвал его Сергей, встретил его, как родного, мало того — встретил, как малого ребенка, заговорил с ним каким-то ободряющим, покровительственным и нежным тоном. И в то же время этот тон был так естественен и добродушен, что Сергей никак не мог возмутиться подобной фамильярностью со стороны крепостного человека.

Но вот появился дядя и оказался совсем не таким, каким его представлял себе племянник. Между ними, при первом же объятии, пробежала как будто электрическая искра, и Сергей, к изумлению своему, почувствовал, что этот маленький красивый старик, всегда такой далекий, такой чужой — ему близок, что его влечет к нему, что ему приятно встречаться с ним глазами и чувствовать в своей широкой, костлявой руке его маленькую и дрожащую теперь от волнения руку.

— Эх-ма! Да чего же я стою! — вдруг спохватился Степан. — Батюшки, Борис Сергеевич, чай, ведь отощали! Самовар давно уже на столе, да и позавтракать готово... Пожалуйста!..

Он немного согнулся и жестами любезно приглашал в дом как радушный хозяин. Борис Сергеевич взял племянника под руку и повел его в большую столовую, где широкие окна стояли настежь, наполняя всю комнату душистой свежестью и лучами солнца. Степан исчез, но тотчас же и вернулся, а вслед за ним появились два человека с завтраком.

— Пожалуйте, пожалуйста вот сюда! — подвигая стулья и приглашая садиться, суетился Степан.

Дядя и племянник сели. Тогда Степан стал хозяйничать около самовара, разлил чай. И все это он делал с приемами привычной хозяйки. Он ворчал сквозь зубы, что самовар плохо вычищен, что и подать-то господам не сумели как следует деревенские олухи.

— Ну, чего стоите!.. Да перемените же тарелки! Скорее, живо! — распоряжался он.

Молодой Горбатов был уверен, что этот «хозяин» сейчас же сядет рядом с ними и примется пить чай и завтракать; Степан, однако, этого не сделал. Он продолжал разливать чай, угощать, суетиться, распоряжаться; но сам ни к чему не прикоснулся и на минуту не присел.

Тем временем Борис Сергеевич, видимо, успокоился. Волнение его улеглось, и он начал расспрашивать племянника.

— Да, чудно, чудно, как подумаешь, — говорил он со своей тихой улыбкой. — Ведь я тебя оставил крошечным мальчиком и с тех пор, думая о тебе, так все и представлял себе тебя барахтающимся и пускающим губами пузыри карапузом! А вот ты какой огромный, не в деда, не в меня, а в отца... но, впрочем, и он был гораздо меньше ростом... Вот ты какой, мой мальчик!..

— Хорош мальчик! — усмехнулся Сергей. — Стариком я уже становлюсь, дядюшка, по утрам то и дело седые волосы выщипываю.

— Раненько, друг мой!..

— Что за раненько, четвертый десяток ведь уже пошел. Вот посмотрите моих ребят от первой жены, совсем большие...

— И то правда! — качнул головою Борис Сергеевич.

— Ну, да и пожил, немало было глупостей, теперь вот и сказываются.

Дядя тревожно взглянул на него.

— Как же так: немало глупостей! Ведь ты женился еще почти мальчиком, вдовел недолго — когда же успел делать эти глупости? Семейная жизнь должна была спасти тебя от этого...

— Ах, Боже мой, одно другому не мешает...

И, проговорив это, Сергей улыбнулся такой милой, такой ласкающей улыбкой, что старый дядя заметил только эту улыбку и за нею не расслышал, не понял слова племянника.

— А вот, что же это? Смотрю я, как ты одет: не в военном!..

— Да ведь я после войны сейчас вышел в отставку...

— Что так?

— А надоело! Бог с ней, с этой службой! Военное время — другое дело. Да теперь новой войны у нас, кажется, не предвидится... Повоевали — довольно! Дрались — себя не жалели... и все же — побиты...

Дрогнувшая, тоскливая нота прозвучала в голосе Сергея. Но это было только на мгновение. Он продолжал уже совсем спокойно:

— Нет, свобода лучше всего. Петербург надоел до тошноты.... здесь скучно, да все же не так...

— Так ты намерен совсем поселиться в деревне? Оно, действительно, пожалуй, лучше, — теперь, Бог даст, будет и здесь много дела, и хорошего дела...

— Это вы о чем, дядя? О крепостных, об освобождении? Я, знаете, этому не верю, это все только разговоры...

— Ну хорошо, мы об этом поговорим после... Что же ты намерен? В предводители?

— Да как вам сказать, если выберут — пожалуй: но ненадолго, опять ведь обуза... И уж во всяком случае хлопотать я не стану...

Он хотел было сказать дяде, что мать хлопочет, что она всеми силами его уговаривает и что если он до сих пор ей не поддавался, то единственно потому, что имеет в руках очень веское возражение: дела еще далеко не устроены, не приведены в ясность, доходов мало, а положение губернского предводителя дворянства потребует больших затрат и такой широкой жизни, какая покуда еще немыслима в Знаменском. Он хотел сказать это, но воздержался, испугавшись в разговоре с дядей намека на денежные дела. «Боже мой, еще подумает, что я так сразу и тянусь к его деньгам!»

Сергей даже покраснел при этой мысли и совсем замолчал.

А Борис Сергеевич в это время, очевидно, приготавливался задать какой-то вопрос и все не решался. Наконец он себя пересилил и спросил как-то нерешительно, опустив глаза:

— А что твой брат?

— Николай? Мы со дня на день ждем его в Знаменское. Он все еще в мундире; но думаю, что тоже ненадолго...

— Что он — каков? Похожи вы друг на друга?

— Мы? — Сергей засмеялся. — Нисколько, то есть, конечно, и между нами находят некоторое сходство, но он совсем другой человек...

— Какой же он человек?

— Хороший! — проговорил Сергей.

Дядя невольно улыбнулся.

— Ты говоришь это, будто ты-то дурной человек.

— Нет, это не то... каков я, я не знаю, право, никогда об этом не думал; но между нами большая-большая разница. Да хотя бы вот, скажу его словами: я скучаю, а он тоскует. Он странный человек. С ним трудно сойтись. О нем почти всегда думают хуже, чем он есть. Ну, да что тут говорить, я, знаете, анализировать не умею, определять... Приедет — увидите, судите... Я скажу еще только раз: Николай хороший человек, очень хороший!..

Дядя и племянник еще побеседовали с полчаса, и затем Сергей уехал. Решено было, что дядя отдохнет, осмотрится немного и к обеду будет в Знаменском. Проводив племянника и глядя ему вслед, Борис Сергеевич снова и еще сильнее ощутил в себе прилив давно забытого, живого чувства любви и участия к родному человеку.

Неизвестно откуда взявшийся Степан подошел и спросил радостным голосом:

— Ну что, батюшка, как нашли племянничка?.. Ведь я говорил, славный вышел барин наш Сереженька?..

— Славный, славный! — несколько раз повторил старый дядя, возвращаясь в дом, который теперь уже не казался ему таким мрачным, таким пустым. Не все еще умерло, не все еще похоронено, недаром он рвался сюда. Есть для кого жить!

И со всею силою долголетней тоски своего одинокого сердца он хватался за эту возможность жить и любить.



## VI. ЗНАМЕНСКАЯ ХОЗЯЙКА

Обширная усадьба села Знаменского была теперь уже совсем не та, чем была она в те далекие времена, когда здесь безвыездно жила последняя княгиня Пересветова со своей единственной дочерью Татьяной Владимировной. В те далекие годы Знаменские палаты на всю губернию славились своей роскошью и затмевали собою соседнее Горбатово.

Но княгиня с княжной уехали и уже не возвращались. Княгиня умерла. Княжна жила в Гатчине, при дворе Павла Петровича. Правда, через несколько лет в Знаменском снова было закипела жизнь. Княжна Пересветова вышла замуж за Горбатова, и молодые покинули Петербург, с которым не имели ничего общего, переселились в деревню, стали отделять и перестраивать заново горбатовский дом, а пока жили в Знаменском. Но недолго это продолжалось. Дом скоро был готов, на него затратились большие суммы, Горбатовское сделалось по своему богатству чуть не царской резиденцией, а Знаменское стало в запустении. Татьяна Владимировна даже перевезла отсюда все лучшие вещи.

После смерти старых Горбатовых Знаменское досталось их сыну Владимиру; но он, кажется, ни разу и не заглянул сюда. Только теперь, в самое последнее время, владельцы стали наезжать. Были сделаны кое-какие необходимые исправления, но перестроить заново большой старый дом, омеблировать и устроить его согласно с новейшими требованиями вкуса и моды до сих пор не удавалось — ни у Катерины Михайловны, ни у сыновей ее пока не было на это средств. Большое приданое второй жены Сергея Владимировича, как известно, почти целиком ушло на уплату старых долгов и поддержание блеска петербургского дома, а ее дяди и тетки, на которых был главный расчет, умирать до сих пор еще не хотели.

Конечно, и теперь знаменский дом производил впечатление, на нем лежала печать широкой, богатой старины со всеми ее тяжелыми, неуклюжими, но все же смелыми затеями. Любитель такой старины пришел бы здесь в восторг: XVIII столетие, не подновленное, не подделанное, глядело из каждого угла, из убранства каждой комнаты.

Но все же и любитель старины должен был бы согласиться, что не так этот старый дом, как теперешняя жизнь в нем уже значительно указывает на упадок знаменитой фамилии Горбатовых. Теперешние представители этой фамилии жили здесь уже совсем не так, как жило предшествовавшее им поколение. Как ни велик был дом, но прежде в нем помещались только княгиня Пересветова с княжною, а теперь пришлось в нем устроиться двум семьям, с детьми, гувернантками и няньками.

Прежде княгине и княжне прислуживал такой штат, что они никак не могли всех запомнить по именам, теперь прислуги было гораздо меньше, хотя, конечно, все же чересчур много, больше, чем бы следовало, и прислуга эта была не прежняя — она уже не была так вымуштрована, не так хорошо содержалась. Одним словом, прежний, почти царский строй жизни мало-помалу и ни для кого незаметно превратился в строй жизни помещичий, все еще широкий, но уже совсем беспорядочный.

Главной причиной этому была не запутанность денежных дел, а то, что не было настоящей хозяйки, такой хозяйки, какою была княгиня Пересветова, какою была потом Татьяна Владимировна Горбатова. Хозяйкой и руководительницей дома считалась Катерина Михайловна. Поселясь с сыновьями, она ни за что не уступила бы этой роли их женам, да они и не добивались спорить с нею, а между тем Катерина Михайловна совсем не была способна хозяйничать.

Выйдя замуж почти ребенком, она очутилась среди громадного горбатовского богатства, которым заведовали старики, предоставлявшие ей только право всем пользоваться. Она даже никогда не задумывалась над тем, как это все ведется, устраивается и в Петербурге, и в Горбатовском. Ей представлялось, что вся эта огромная, сложная машина действует как-то сама собою, раз и навсегда заведенная.

И она только наслаждалась жизнью, пока обстоятельства не принудили ее покинуть Петербург и уехать за границу.

Там, на чужбине, протекла половина ее жизни. Она нигде не могла прочно устроиться. Огромные суммы, высылаемые ей из России, давали возможность не рассчитывать, и она перекочевывала с места на место. То покупала она себе палаццо во Флоренции, проводила в нем несколько месяцев, потом продавала его, конечно, с большим для себя

убытком. Потом поселялась где-нибудь в хорошенькой вилле на Lago di Como или в Швейцарии. Затем ее влекло в Париж, куда она спешила вослед за каким-нибудь новым «избранником своего сердца», нанимала дом, устраивала себе «salon», заводила блестящие экипажи, заставляла говорить о себе в продолжение целой зимы столицу мира — и снова исчезала, на этот раз в погоне за новыми впечатлениями, за новыми удовольствиями и встречами.

Иногда ей приходилось круто — все деньги истрачивались, а экстренные присылки из России почему-то (она никак не могла понять почему) становились затруднительными. Но в таких случаях всегда удавалось в конце концов устроиться: кто-нибудь ссужал деньги в долг, затем находилось в шкапулках немало очень ценных вещей, которые продавались, а тем временем, после настоятельных писем, все же из горбатовской конторы высылалась требуемая сумма.

Так и прошли долгие годы. Но вдруг Катерина Михайловна почувствовала, что устала, что ее уже никуда не тянет, что все надоело, — все эти Севильи, Парижи, Lago di Como, Флоренции... Уже не было интересных встреч... А тут — муж убит на войне, сыновья выросли... Можно вернуться в Россию, в свой великолепный дом и снова начать прежнюю жизнь, от которой она когда-то убежала. Она уже часто вспоминала теперь эту жизнь, давно желала к ней вернуться, но при муже об этом нечего было и думать. Он высылал ей огромное содержание, но только с одним уговором: чтобы она была как можно дальше, чтобы им не встречаться.

Она вернулась и на первых порах потерпела горькое разочарование: состояние расстроено. Но это разочарование мало-помалу сгладилось — Катерина Михайловна, как мы видели, нашла возможность многое устроить и приготовить посредством вторичной женитьбы старшего сына. Теперь она зажила новой жизнью: она вдруг, хоть и по-своему, все же поняла, что она — мать, бабушка, глава семьи.

Это было для нее так ново, так странно; но это ей нравилось. Кто видел ее в последние годы ее пребывания за границей и увидел бы теперь, тому трудно было бы узнать ее. Она даже перестала молодиться и покинула все ухватки модной львицы, превратилась в старуху. Почти совсем позабыв в Западной Европе русский язык, она теперь вдруг его вспомнила и незаметно для самой себя оказалась прирожденной старой русской «барыней».

Как ни была легкомысленна и бессердечна Катерина Михайловна во всю свою жизнь, но нужно отдать ей справедливость — в последние годы у нее стало изредка являться что-то похожее на упреки совести за эту беспорядочно прожитую жизнь. Конечно, эти упреки совести были не особенно мучительны и, конечно, она находила себе всегда оправдание, обвиняя во всем мужа, родных, обстоятельства. Но как бы то ни было, временами ей становилось тревожно и тоскливо.

Она очутилась одна, с недугами и усталостью приближающейся старости, без интересов, без цели, без значения. По возвращении же к семейству нашлись и интересы, и цели, и значение. Она внезапно выросла в собственных глазах, решила, что она единственная опора и спасительница семьи, что без нее все бы пропали.

Она только сожалела, что явилась слишком поздно, что уже многого нельзя спасти, что чересчур много наделано непоправимых глупостей. Прежде всего ее возмущали сыновья. Не имея никогда ни малейшего понятия об обязанностях матери, оставаясь всю жизнь равнодушной к детям, она, конечно, не была в состоянии разобрать, в чем виноваты ее дети и в чем виноваты относительно них она и ее покойный муж. Она просто была ими недовольна и не раз называла их про себя дураками.

Оба не сделали никакой карьеры, оба очень рано и глупо женились, без всякого расчета, по прихоти, по глупому мальчишескому капризу. Жена старшего сына умерла вовремя, не успев испытать на себе всю силу ненависти своей belle-mère. А именно ее-то Катерина Михайловна и собиралась особенно ненавидеть: «Бесприданница! Подцепила мальчика... и каждый год ребенок, каждый год!..» Но молодая женщина умерла. Сергей Владимирович вторично женился по выбору матери, и с этой стороны Катерина Михайловна была удовлетворена. Она решила, что спасла сына.

Оставалась другая невестка, жена Николая, которая, очевидно, вовсе не желала умирать и очищать дорогу честолюбивым планам своей свекрови. Положим, у жены Николая были перед Катериной Михайловной оправдания: если она принесла с собою мало приданого, все же у нее была надежда в будущем, так как ее родители были очень стары, а единственный брат дышал на ладан, а во-вторых, за несколько лет семейной жизни у нее родился всего один ребенок, один сын. Это тоже значило немало. Но такие оправдания все же оказывались

недостаточны, уж хотя бы только потому, что не Катерина Михайловна избрала ее для сына, никто даже и не спрашивал тогда ее согласия на этот брак. И Катерина Михайловна с первого же дня почувствовала к невестке большую антипатию, не особенно трудилась скрывать эту антипатию и искала всякого предлога, чтобы так или иначе уязвить молодую женщину.

Но и холодное сердце Катерины Михайловны все же запросило под старость чего-то похожего на привязанность. Если бы она осталась одинокой, она окружила бы себя какими-нибудь собачками, которых бы баловала и закармливала. Теперь не нужно было собачек — оказались внучата. Катерина Михайловна выбрала из этих внучат двух: единственного сына Николая, маленького Гришу, и дочь Сергея, Соню. Гришу бабушка выбрала потому, что с первого же взгляда на него нашла в нем с кем-то сходство, которое, вместо того чтобы устыдить ее, оказалось ей очень приятным. Затем она начала баловать Гришу, между прочим, из-за того, чтобы удалить его от матери, чтобы стать между ним и матерью.

Что касается Сони, то бабушка полюбила ее за красоту. Это была действительно прелестная девочка, и опять-таки она напоминала старухе ее собственное юное, прелестное личико, от которого теперь ничего не осталось, кроме почти забытых в петербургском свете воспоминаний да большого портрета, висевшего в одной из гостиных петербургского дома. В Соне Катерина Михайловна нашла повторение себя, она полюбила в ней себя и принялась баловать девочку самым безрассудным, самым жестоким образом.

К остальным детям бабушка была не только равнодушна, но даже подчас и очень несправедлива.

Сознавая свое значение для семьи, Катерина Михайловна не ошибалась — значение ее уже имело самые разнообразные последствия.

## VII. ПЕРВЫЕ МИНУТЫ

Уговорив сына сделать первый визит приезжему, Катерина Михайловна ушла в свою спальню, но долго еще не раздевалась и не ложилась. Она то ходила по комнате, то присаживалась к столу, подпирая щеку рукой, и долго так оставалась, неподвижная, будто погруженная в глубокие размышления. Но ощущений у нее было больше, чем размышлений.

Приезд Бориса Сергеевича, хотя и ожидаемый ею, сильно взволновал ее. Она не показала своего волнения перед сыном, но теперь, оставшись одна, предалась ему.

Дело в том, что Борис Горбатов был единственным человеком, с которым ей не хотелось встретиться в жизни, и в то же время он был единственным человеком, который для нее что-нибудь значит. Бессознательно, но она уважала этого человека, несмотря на то, что не видела его многие годы, что расстались они молодыми, а должны были встретиться уже на склоне жизни. Он владел ее тайной, он был ее врагом — чего ожидать от этого приезда? Она представляла себе его, с его взглядами, понятиями... Он ни перед чем не остановится... А между тем нельзя уйти, нельзя избежать встречи; напротив, надо постараться всеми силами смягчить его, сделать его безвредным. Но как это сделать? Она не считала Бориса Сергеевича умным человеком. Но ведь в этом-то вся и беда, что он неумен: с умным человеком она, крайне неумная женщина, могла бы легче справиться, а с этим — нет!

«Но, Боже мой, — вдруг подумала она, — да ведь сколько времени прошло! Все было так давно, он мог очень измениться, он должен был измениться, может быть, он совсем другой... Ах, что-то будет завтра? Что-то будет?..»

Она понимала только одно, что должна употребить всю свою любезность, всю свою ловкость при этом первом приеме опасного родственника, а в крайнем случае должна разыграть роль глубоко несчастной женщины, искупившей долгими страданиями вину свою.

Мало-помалу она успокоилась. Как благоразумный полководец, сознавая всю опасность предстоящей битвы, она себя подбодрила и рассчитала свои силы.

Что касается Бориса Сергеевича, то и ему стало очень тяжело, когда он в назначенный час поехал в Знаменское. Он давно уже покончил с прошлым, многое забыл, многое простил и объяснил себе с тем спокойствием и беспристрастием, какие даются человеку только долгим временем, годами жизни. Он давно примирился с памятью покойного брата. Он почти никогда уже не думал об его измене, об его предательстве; думая о нем, он старался представлять его себе или юношей, с которым он был так близок, или героем, честно павшим в бою.

Но, несмотря на всю тишину, какую ощущал теперь в душе своей Борис Сергеевич, он все же не мог подавить противного чувства, каждый раз в нем поднимавшегося при мысли о Катерине Михайловне. В особенности это чувство заговорило в нем после встречи с племянником, когда он так сильно почувствовал в себе голос крови. Он готов был, как в годы юности, негодовать и возмущаться. Он многое простил этой женщине, простил ей свои личные обиды, простил обиды, нанесенные ею его покойной жене; но простить позор, нанесенный их старому, честному роду, — он не мог.

И вот он ехал в дом, где она была хозяйкой, ехал как родной. Он сознавал, что должен подавить свои чувства, должен притворяться, играть комедию, а между тем ведь он никогда не притворялся и никогда не играл комедий.

Полный тоски, с чувством крайней неловкости вошел он в большую, ярко освещенную солнцем залу знаменского дома. Какая-то сухонькая старушка, с маленькими бледным, обвисшим личиком, с длинными буклями, в которых ясно обозначалась седина, в легком, изящном летнем костюме, задрапированная кружевами, быстро пошла ему навстречу. Он остановился и невольно отшатнулся.

Кто же это? Кто эта маленькая старушка?

— Борис, Боже мой, ты ли это? — проговорила она, пораженная не менее его.

Он взглянул еще раз, и раздражение и неприязнь, с которыми он ожидал этой встречи, внезапно исчезли. Это не она, и ничего, кроме жалости, не чувствовал он к этой новой, незнакомой ему и все же не чужой старушке.

— Борис, нам трудно узнать друг друга... — тихо прошептала она тоже не прежним голосом — и заплакала.

Он нагнулся, поцеловал ее маленькую сухую руку.

Первая страшная минута прошла благополучно. Катерина Михайловна почувствовала под собою почву.

Она взяла Бориса Сергеевича под руку и повела его дальше.

— Дети, дети! — звала она. — Идите скорее...

И потом, обращаясь к нему, прибавила:

— Все новое, от прежнего только мы с тобой остались...

В это время глаза Бориса Сергеевича остановились на прелестном лице молодой женщины, глядевшей на него большими, спокойными черными глазами.

— Натали, жена Сергея! — сказала Катерина Михайловна.

Он крепко сжал руку молодой женщины, ответил улыбкой на милую улыбку, и оба они невольным движением приблизились друг к другу и крепко поцеловались.

Она указывала на детей:

— Вот Соня, вот Володя, Маша, Коля.

Дедушка целовал внучат и говорил:

— Какие большие, какие славные!..

И на душе у него становилось хорошо. Он видел, как эта милая молодая женщина ласково глядит на детей, на детей своего мужа, и как дети доверчиво к ней жмутся.

Между тем Катерина Михайловна, обняв хорошенькую Соню, которая, вдруг отойдя от мачехи, к ней прильнула и лукаво выглядывала из-под бабушкиных кружев, призывала внимание Бориса Сергеевича:

— Борис, вот эта старшая, моя баловница, бедовая девочка, совсем от рук отбилась... Да, да, Сонюшка, я говорила тебе, что я буду на тебя непременно жаловаться дедушке. Да, Борис, будь с ней поостроже!.. *Est elle gentille, cette mignonne?* — шепнула она ему, но так, что девочка отлично расслышала.

Борис Сергеевич погладил Соню по розовой щечке, но в то же время ему стало неловко. Чувство жалости, в первую минуту вызванное в нем переменой, найденной им в Катерине Михайловне, пропадало.

Катерина Михайловна промахнулась Ии, вдобавок, не заметила этого.



Вдруг возле Бориса Сергеевича очутился толстенький, нарядный, завитой мелким барашком мальчик. Он смело, с откровенным детским любопытством уставился на него большими черными глазенками и ловко расшаркался.

— А это вот другой баловень — Гриша! — говорила Катерина Михайловна.

Борис Сергеевич поцеловал ребенка. У него защемило сердце. Он взглянул на Катерину Михайловну вдруг блеснувшими глазами, но она выдержала его взгляд. Она спокойно указывала ему на медленно входившую в комнату молодую женщину:

— C'est Marie!

Он пошел навстречу этой Marie и невольно подумал:

«Какая разница!»

Он сравнивал ее с женою Сергея. Как к той сразу повлекло его сердце, так эта сразу же произвела на него неприятное впечатление. А между тем что же можно было сказать против нее! Мари, жена Николая Горбатова, была еще очень молода — лет двадцати шести, не более, высокого роста, полная блондинка, с правильными, хотя несколько крупными чертами. Она была к лицу одета и причесана. Она вошла, очевидно, не спеша, совсем спокойно; приветствовала почтенного родственника, которого видела в первый раз, любезной фразой.

Она сказала, что давно-давно хотела с ним познакомиться и узнать его, крепко сжала полной белой рукой его руку.

Все это было прилично, хорошо, решительно не к чему было придраться. Но Бориса Сергеевича не потянуло обнять и поцеловать эту молодую женщину, как он делал, здороваясь с Натали. Да и если б он вздумал обнять и поцеловать ее, то это вышло бы крайне неловко, — это, наверное, изумило бы ее, да, пожалуй, и всех.

Скоро появился Сергей, огромный, с длинными ногами, со своими большими, жилистыми руками и, несмотря на это, изящный в каждом движении, одетый, видимо, с большой тщательностью и обдуманностью.

Он улыбался во все стороны широкой, добродушной улыбкой, щурил глаза, обращался с дядей, как будто всю жизнь с ним не расставался. Дети тотчас обступили его. Одного он подхватил

подмышку, другого — под другую, поболтал их в воздухе, с третьим повертелся и наконец прикрикнул на них:

— Брысь! Довольно! Надоели!..

Он смеялся, дети смеялись, и, глядя на них, слыша этот смех, хорошо становилось Борису Сергеевичу.

— Какая у тебя жена! — улучив удобную минуту, шепнул он племяннику.

— А что, дядя?

— Хороша! Да не собой только, понимаешь... очень хороша!

Сергей прищурился.

— Тем лучше, если нравится, — проговорил он, — впрочем, она всем нравится — Наташа!

— А тебе, может, не нравится?

— Нет, и мне нравится, только... — он вдруг сделался как бы серьезнее, — только она, кажется, слишком хороша для меня...

В это время по всему дому послышался звонок, и Катерина Михайловна, подойдя к почтенному гостю, повела его в столовую.

За большим столом разместилось немало народу. Тут оказался гувернер мальчиков, бледный молодой француз, с выведенными в струнку усиками и почти совсем белой эспаньолкой. Две гувернантки, из которых одна, пожилая и степенного вида вдова, англичанка, носила историческую фамилию — называлась мистрисс Стюарт и держала себя как театральная королева; но, в сущности, была просто-напросто очень скучная и молчаливая дама. Катерина Михайловна выписала ее из Англии по какой-то особой рекомендации и была уверена, что только она и в состоянии дать детям «настоящее» воспитание. Мистрисс Стюарт пользовалась особым положением в доме, имела свое отдельное помещение, вставала поздно, выходила из своей спальни только к завтраку, давала детям урок английского языка и затем считала себя вправе совсем не заниматься ими. Другая гувернантка, молоденькая, с задорным, свежим личиком и быстрыми-быстрыми, довольно смелыми глазами, была русская, бедная дворяночка, Ольга Петровна Ежова. Она недавно окончила курс и была взята в помощь мистрисс Стюарт. Вся возня с девочками лежала на ней. Дети ее, очевидно, любили и дружески называли «Лили».

Затем было еще два соседа, очень незначительного и скромного вида, которых представили Борису Сергеевичу, и целых четыре

старушки, что-то вроде приживалок, что-то вроде последнего воспоминания о прежней барской жизни.

Обед обильный, разнообразный, но несколько безалаберный проходил оживленно. Не заметно было никакой чинности, никакого стеснения, которые в прежние времена так свято соблюдались в домах, подобных дому Горбатовых.

Сергей громко смеялся, подшучивая над старушками-приживалками, заигрывая с детьми, и раза три в течение обеда пустил хлебные шарики по направлению хорошенькой Лили. Шарики каждый раз достигали назначения. Гувернантка укоризненно поднимала свои блестящие глазки на Сергея, немножко краснела, поеживалась, но, видимо, смущалась очень мало.

Борис Сергеевич, сидевший между Катериной Михайловной и Натали, не заметил этих подробностей, он с трудом вслушивался в то, что говорила ему Катерина Михайловна, для того чтобы впопад отвечать ей, и с большим интересом всматривался в свою другую соседку. Ему все в ней нравилось: вся ее небольшая стройная фигура, гладко, просто зачесанные густые черные волосы, длинные ресницы темных глаз, тонкий, хотя и неправильный профиль, мягкая добрая улыбка, звук голоса.

От всего ее грациозного, милого существа веяло на старого, уставшего человека чем-то далеким, чем-то бесконечно милым и давно похороненным. Он искал в ней сходства с единственной женщиной, которую страстно любил в жизни, и находил в ней это сходство каждую минуту — не в чертах, не во внешности, но в чем-то неуловимом, в чем-то внутреннем, что несравненно важнее всякой внешности. Да, решительно эта милая соседка напоминала ему его Нину...

Обед был кончен. Дети рассыпались с шумом во все стороны. Сергей, несколько раскрасневшись от достаточного количества выпитого им вина, зашагал через всю комнату, шепнул мимоходом что-то такое хорошенькой гувернантке, верно, забавное, потому что она так и покатилась со смеху. Потом подошел к своей жене, разговаривавшей с Борисом Сергеевичем, нагнулся к ней и поцеловал ее в лоб.

Борис Сергеевич не спускал с нее глаз. Она взглянула на мужа, но ничем не ответила на поцелуй его, не улыбнулась ему, лицо ее

оставалось спокойным, глаза ничего не сказали, и она продолжала начатый разговор. Борис Сергеевич чувствовал как будто тревогу.

Что это значит? Неужели, неужели она его не любит? Но нет, этого быть не может, это пустое!..

Собирались на прогулку, жар давно спал, солнце стояло низко, старый знаменский парк манил в свои влажные, зеленые объятия.

Старик предложил руку Наташе. Она крепко, доверчиво оперлась на эту руку, и они, спустившись со ступеней балкона, пошли вдоль широкой аллеи, обсаженной могучими вековыми дубами.

— Ма foi, дядя, кажется, начинает ухаживать за Наташей! — весело говорил Сергей, обращаясь к матери и Мари.

— Ну, это не опасно! — заметила Мари, беря его под руку и улыбаясь ничего не выражавшей улыбкой.

— Помилуй, как не опасно! Да посмотри на него — ведь он совсем красавец со своей серебряной бородой!

А Катерина Михайловна думала: «Кажется, все хорошо, кажется, он поумнел, пора бы — совсем ведь старик!.. Неужели и я так постарела?» Она глубоко вздохнула.

## VIII. «БОЛЬШИЕ» И «МАЛЕНЬКИЕ»

Борис Сергеевич уже поздно вечером возвращался в Горбатовское. Старинная тяжелая коляска, запряженная тройкой крепких деревенских лошадей, слегка покачивала его по мягкой дороге. Дорога эта шла у опушки леса. С одной стороны в тихом сумраке летней ночи поднималась неподвижная, таинственная чаща вековых деревьев; с другой — терялись во мгле засеянные поля. На бледном небе едва видно трепетали звезды, и далекий край небосклона уже медленно загорался зарей.

Тишина вокруг стояла такая, что даже странно становилось; казалось, все замерло, застыло, окаменело, даже дорога не пылила под копытами лошадей и колесами коляски. И почти так же тихо, как в этой застывшей природе, было на душе у Бориса Сергеевича. Но то не была тишина старческой усталости, которую иногда он уже начинал чувствовать в последние годы. Нет, то была новая, спокойная тишина — и в ней все же чувствовалось биение жизни. Одинокому старому человеку, давно позабывшему все семейные радости, теперь снова истекший день посулил эти радости.

Борис Сергеевич окунулся в поток жизни, так или иначе, но все же бившей ключом в знаменском доме, и, окунувшись в него, он почувствовал, что может приобщиться к этой жизни и сам, что найдется в ней и для него место.

Он уехал из Знаменского не только без того тягостного ощущения, с каким туда отправился, но этот день оказался для него большим праздником. Воспоминания детства и юности, от которых человек никогда не может совсем отделаться, наполняли его. Знаменское — ведь это была та жизнь, по которой он и сознательно и бессознательно тосковал в Сибири, среди совсем иной обстановки. И ему теперь было так отратно, что даже не смущала его мысль о Катерине Михайловне, хотя он и сознавал, что не будь ее в знаменском доме — там было бы еще лучше.

«Бог с ней, Бог с ней!» — шептал он.

Он думал о Сергее, он полюбил его в один день как родного сына; думал об его милой Наташе, о славных детях. Но вот пришлось

подумать и о Мари. Она ему решительно не нравилась, она ему казалась теперь еще более неприятной, чем даже показалась в первую минуту. Но он остановил себя:

«Быть может, я пристрастен, нужно от этого отделаться, нужно быть справедливым! Чем же, наконец, они-то виноваты!»

И все же он не мог отделаться от невольного враждебного чувства, которое вызвала в нем жена Николая и ее завитой и румяный, черноглазый Гриша. И еще менее того он мог отделаться от враждебного чувства, вызывавшегося в нем каждый раз, когда он думал о Николае.

«Как хорошо, что его нет, что он еще не приехал, что, по крайней мере, это первого дня он не испортил».

Мало-помалу, покачиванье коляски и окрестная тишина стали усыплять его. Он задремал и очнулся только у ворот горбатовского дома.

В знаменском появлении Бориса Сергеевича произвело большое впечатление. Даже дети были им заинтересованы. Еще во время послеобеденной прогулки дети оживленно и таинственно толковали о новом дедушке. Соня, Володя, Маша и Гриша чуть было даже не поссорились из-за этого нового дедушки. Маше и Грише он не понравился, а Соня и Володя были от него в восторге.

— У него такое доброе, красивое лицо, — говорила Соня, девочка очень живая, одаренная пылким воображением. — Я вот его точно, точно таким и представляла себе, даже во сне его таким видела.

— Вот и выдумываешь! — заметил Гриша. — Сама ты мне рассказывала, что он тебе приснился седой, с длинной бородой и большой-большой.

— Ну так что ж такое, он точно такой и есть.

— Как? Большой?

— Да, с длинной седой бородой, такой точно! — настойчиво твердила Соня.

Гриша презрительно пожал плечами.

— Да, большой, нечего сказать! Дядя Сережа вдвое его больше... И ведь известно, что ты, Соня, лгунья!

Он ей высунул язык и сделал гримасу. Соня вспыхнула.

— Ты сам лгун, и я бабушке пожалуюсь, что ты дразнишься и гримасничаешь! — начиная уже всхлипывать, пропищала она.

— Да ведь это правда, Соня, — вступилась Маша, здоровая девочка, далеко не так красивая, как сестра, но все же с очень милым и задорным личиком. — Ведь это правда! Ты сама нам всем рассказывала, говорила: «большой, большой!», а он маленький...

— Я с тобой совсем даже и не говорю! — окончательно озлившись, крикнула Соня и отвернулась от сестренки.

— Да полно же, как вам не стыдно! — вдруг проговорил до того времени молчавший Володя.

Этот Володя не был любимцем бабушки, не был любимцем отца, но зато был любимцем мачехи, «мамы Наташи», как дети часто ее называли. Володя был довольно странный мальчик, уродившийся, верно, в кого-нибудь со стороны своей покойной матери, потому что горбатовских черт в нем, по крайней мере, до сих пор не было совсем видно. Бледный, худенький, с рассеянными, как-то неопределенно глядящими, светлыми глазами, с прелестным серьезным ротиком, с широко раскрытыми, по временам вздрагивающими ноздрями — он производил впечатление чего-то своеобразного, загадочного.

В нем замечалась большая нервность и чересчур раннее умственное развитие. Иногда он поражал «мату Наташу» своими совсем не детскими мыслями, своими вопросами, на которые ей трудно, почти невозможно было отвечать ему, потому что он не удовлетворялся таким ответом, каким мог бы удовлетвориться другой ребенок. Он заставлял ее задумываться над ее обязанностями относительно него и начинал уже играть большую роль в ее внутренней жизни...

Он держался, по больше части, особняком, но иногда вдруг, под влиянием неудержимого порыва, примыкал к сестрам и двоюродному брату, оживлял их, выдумывал всевозможные забавы, рассказывал им какие-то странные истории, которые неизвестно откуда брались у него, заинтересовывал их этими историями, запугивал их даже, действовал на них как-то магнетически, так что они все находились под его влиянием.

Потом вдруг остывал, отделялся от них и начинал снова жить своей, никому не ведомой, таинственной жизнью.

Он был добрый мальчик, очень чувствительный, чуткий: но вместе с этим иногда в припадке внезапного гнева, был способен прибить и сестер, и двоюродного брата, нагругить гувернеру и

гувернантке, нагрубить даже отцу, даже бабушке... В такие минуты, только «мама Наташа» могла его, да и то не всегда, уговорить и привести в себя.

Дети его не любили, и даже то магнетическое влияние, которое он имел над ними, было для них тягостно.

Весь этот день он был очень молчалив, ни с кем почти не сказал ни слова и только все пристально вглядывался в нового дедушку.

— Да перестаньте же! — еще раз своим тонким, властным голосом крикнул он. — Как будто не все равно: большой он или маленький! А знаете ли вы, что дедушка был сослан в Сибирь? Что он сидел в темнице долго-долго, что на нем были цепи?

Гриша, Соня и Маша раскрыли глаза и разинули рты. Этого они не знали.

— Кто тебе сказал? Откуда ты взял это? — в один голос, почему-то боязливо оглядываясь, прошептали они.

— Знаю, — спокойно и уверенно сказал Володя и так и не объяснил, откуда знает; но они ему поверили, как и всегда.

— Что же он такое сделал?

Володя пожал плечами, раздул свои тонкие ноздри и проговорил:

— Ничего дурного... Он был невиноват...

— Да кто же, кто тебе сказал все это?

— Я знаю! — опять таинственно произнес Володя, и дети больше ничего от него не могли добиться.

— Но ведь если он не был виноват, так значит... Значит, его приняли за другого! — вдруг рассудил Гриша.

— Может быть, не знаю! — рассеянно отвечал Володя и погрузился в задумчивость.

И не мог он из нее выйти во все время прогулки и потом, во время чая, и долго возился в своей постели, решая какие-то трудные и важные вопросы. Он то и дело приподнимался, широко раскрывал глаза и оглядывал всю большую комнату, едва озарявшуюся светом ночной лампы. Он как будто хотел и ждал увидеть что-то особенное.

Но ничего особенного не было. Направо, из-за полумрака, выделялась всклокоченная голова молодого француза, с его торчавшей белой эспаньолкой. Француз то храпел, то вдруг начинал скрежетать зубами. Это была его особенность во время сна. Володя ненавидел это



скрежетанье, оно доводило его иногда до бешенства. С другой стороны была кровать Гриши. Гриша как лег, так сейчас же и заснул, и теперь лежал, разметавшись, с открытым ртом, мерно дыша, лежал во всей красоте здорового и уставшего за день ребенка...

Девочки тоже давно уже спали в своей комнате. Но прежде чем заснуть, они передали друг другу свои последние впечатления, вызванные приездом дедушки.

— А я думала, — сказала Маша, — вот приедет дедушка и привезет много-много игрушек...

— И я тоже думала, — тихонько ответила Соня, — я даже представляла себе, какие это будут игрушки; особенно мне хотелось маленькую, но, понимаешь, настоящую, самую настоящую кухню.

— А может быть, еще будут игрушки, как думаешь, Соня?

Соня подумала немного.

— Да, будут, наверно, будут; бабушка говорила, что у дедушки много, очень много денег. Подождем, он опять приедет.

Хорошенькая Лили, раздевавшаяся в это время и слышавшая их тихий разговор, подумала, что ведь нужно бы было внушить им, что думать о подарках и ждать их нехорошо; но вдруг ее мысли ушли в другую сторону, она чему-то тихонько про себя улыбнулась и ничего не сказала своим воспитанницам...

Старшие еще оставались несколько минут на балконе по отъезде Бориса Сергеевича. Они тоже думали о нем и говорили.

— Ах, как он изменился, какой старик, я бы его никогда не узнала! — произнесла Катерина Михайловна.

— Что же удивительного, — заметила Наташа, — ведь годы его немолодые, а жизнь какая была? Боже мой, на каторге, в ссылке, всю жизнь изгнанник... Потерял жену... Детей... Остался один на свете... Что же может быть ужаснее такой жизни? И еще надо удивляться, как он так бодр и свеж...

— Да, удивительно бодр и свеж! — сказал Сергей. — Глядя, каким гоголем он выступал с тобой под ручку в парке, никак нельзя было сказать, что это такой несчастный человек...

— Tu exagère, Natalie, — заметила Катерина Михайловна, — ведь у каждого в жизни потери, каждый переживает трудные минуты.

— Тут не минуты, тамап, а годы...

— Э, друг мой, люди везде живут, и в Сибири, и на краю света. Ведь он рассказывал, как там у них хорошо было... и потом — привычка...

— Нет, это не то, совсем не то!.. — упрямо повторяла Наташа. — Совсем особенная, высшая жизнь, и я никогда еще не видала такого интересного человека...

— Ну да, совсем заобожала, как в Смольном у вас, — смеясь, проговорил Сергей, кладя руку на плечо жены, — институтка ты моя неисправимая! Вот Мари, небось, не видит ничего особенного такого в дяде и чрезвычайного?

— Конечно, — ответила до сих пор молчавшая Мари, — что в нем особенного — красивый старик... Насколько он умен — сразу судить нельзя, в особенности мне, так как он со мной почти двух слов не сказал. Вот одно в нем разве удивительно: как это, всю жизнь прожив в дикой стране, Бог знает с какими людьми, он все же сохранил приличные манеры.

— Да, — усмехнулась Катерина Михайловна, — и я еще больше могу удивить тебя, представь — он теперь стал гораздо приличнее, он теперь гораздо лучше себя держит, чем в молодости, когда я его знала.

На этом кончился разговор о Борисе Сергеевиче. Все простились и разошлись по своим спальням.

## IX. МАГНИТ

Случилось то, чего никак не ожидал старый изгнанник, возвращаясь на родину, но что между тем было очень естественно. С первого же дня его стало тянуть в Знаменское, и не прошло и двух недель, как он там совсем освоился. Он уже несколько раз и в Горбатовском принимал всех знаменских жителей, от мала до велика.

В старом, еще так недавно заколоченном каменном доме и вокруг него все очень быстро изменялось. Целый день в открытые окна вривался свежий воздух, вривались солнечные лучи и вытесняли годами накопившуюся сырость и затхлость. Парк расчищался. Появился выписанный из Москвы садовник. Каждый день вырастали новые куртины и клумбы с цветами.

Борис Сергеевич по привычке вставал очень рано и до полудня работал, разбираясь в своем огромном, сложном и запутанном хозяйстве, так долго остававшемся на руках разных управителей, которые почти без исключения злоупотребляли своим положением и из которых многие, начавшие ни с чем, были теперь богачами.

Борис Сергеевич работал и приводил все в ясность с большим жаром и имел при этом вид человека с затаенною мыслью и планами, которых до поры до времени не хотел никому поверять. Да так оно и было.

Но как только пробьет полдень на старинных огромных часах рабочего кабинета, у дверей уже стучится Степан и объявляет, что готов завтрак. Борис Сергеевич складывает все бумаги и счета, запирает их на ключ в бюро и идет завтракать. Степан радуется, глядя на своего барина, и думает: «Ну, слава Богу, все отменно хорошо, другим стал Борис Сергеевич... И кушает больше прежнего... И ведь такой добрый, улыбаться стал, смеяться. После Нины Александровны таким еще его никто не видывал!.. Отменно хорошо!..»

— Прикажете закладывать? — спрашивал он барина. — В Знаменское поедем али к нам гости будут?

— Поеду, поеду, — рассеянно, но весело говорил Борис Сергеевич.

— Да что это вы, сударь, все туда да туда, — во время одного из таких завтраков сказал Степан, — к нам бы почаще дорогих гостей звали. Ишь ведь какой, обо мне небось не подумаете, вам-то хорошо, весело, а я тут один, как сыч! Жадный вы нынче стали, сударь, вот что! Все себе одному... А я бы вот на нашего Сереженьку порадовался, на супругу ихнюю, малых деточек... Ведь как наемни наехали, зазвенели деточки по всем комнатам, забегали — так-то радостно стало!..

— Так поезжай со мной в Знаменское, Степан, что же тут.

Но Степан нахмурился и покачал головою.

— Нет, батюшка Борис Сергеевич, не поеду! — решительно и упрямо сказал он.

— Что так?

— Сами знаете, не приходится мне к Катерине Михайловне ездить. Я для нее холоп и дальше прихожей носу не смею высунуть... Намедни вот я с Володенькой поговорить вздумал да по головке его погладил, а она и входит: тотчас отвела его от меня и внушает ему по-французски, будто я не понимаю... А я очень-таки разобрал: «Не связывайся, мол, со старым лакеем, он тебя грязными руками запачкает».

Степан невольно взглянул на свои старые, красные, но очень чистые руки, и вдруг его доброе и в то же время спокойное и серьезное лицо сделалось злым и неприятным. Он, очевидно, хотел что-то прибавить, но замолчал.

Поморщился и Борис Сергеевич.

— Ну, погоди, Степан, еще недельку-другую, — сказал он. — Вот приведем все в порядок в доме, тогда и гостей чаще звать можно будет.

— Да чего тут приводить в порядок, батюшка, все у нас, кажется, и так в порядке. Вы сравните-ка теперь наш дом да знаменский! Этот вот двести лет еще будет стоять и ничего с ним не сделается, потому — каменный он и не по нынешнему строен. Стены-то, стены — ведь их никакими пушками не прошибешь! А тамошний дом что — совсем рухлядью стал. Я как поглядел, так и обмер, не узнал даже, покосился весь, покривился, штукатурка-то валится, черные бревна изо всех дыр выглядывают... Давно бы пора его разобрать совсем да новый выстроить... Мне вот так сдается, что даже господам нашим, внучатам папеньки вашего покойного, Сергея Борисовича, в дому таком и жить-

то не приличествует... Аль не на что новые хоромы вывести... Это господам-то Горбатовым? Ведь не может такое случиться?

И он вопросительно и внимательно взглянул на Бориса Сергеевича.

— Ну, однако, вели же закладывать! — с нетерпением перебил Борис Сергеевич, не отвечая на вопрос его.

Степан был прав, вовсе нечего было ждать каких-нибудь еще новых исправлений, улучшений в горбатовском доме для приема гостей, и со стороны Бориса Сергеевича это была пустая отговорка. Просто ему приятнее было ездить в Знаменское, чем принимать родных у себя. Когда они сюда приезжали — его счастливое настроение то и дело портилось. Ему тяжело было видеть здесь, в этой обстановке, полной воспоминаний, Катерину Михайловну, а там, в Знаменском, хотя она и считалась хозяйкой, но он как-то переставал замечать ее.

Она вовсе ему не навязывалась, иногда по целым часам ее не было совсем видно. Она любила теперь проводить почти целые дни, особенно когда было жарко, в своих комнатах со спущенными занавесками, разбирая и перебирая сундуки, которые наполняли эти комнаты и где были сложены самые разнородные предметы, начиная со всевозможных заграничных вещей, дорогих кружев, старых нарядов, запасов тончайшего белья, изумительно расшитого и разукрашенного крепостными мастерицами, и кончая даже самым ненужным тряпьем.

Катерина Михайловна по часам стояла на коленях перед каким-нибудь сундуком, все из него выкладывала, разглядывала, свертывала и перевертывала и снова укладывала на старое место или из сундука в сундук. Если ее спрашивали в это время по какому-нибудь делу, она сердито гнала всех прочь и говорила, что занята и чтобы ей не мешали.

Она допускала, при этом неустанном перебирании сундуков, только присутствие Сони и Гриши. Они, конечно, бывали очень рады оставаться в бабушкиных комнатах и разглядывать вместе с нею ее вещи. А бабушка вдобавок еще иногда им что-нибудь дарила из своего хлама...

Мари тоже не надоедала Борису Сергеевичу. Нельзя сказать, чтобы антипатия между ними была взаимная, Мари даже очень бы хотелось быть поближе к Борису Сергеевичу; при других

обстоятельствах она была бы не прочь позаботиться об этом, насколько то было в ее средствах. Но теперь в ней говорили обида и зависть — предпочтение, оказываемое стариком Наташе, было чересчур явно.

В первые дни Мари очень этим раздражалась, выходила из себя, но, по своему обычаю, молча и не показывая никому вида. Затем ей скоро надоело раздражаться и выходить из себя, так как она пуще всего дорожила своим спокойствием. Она махнула рукой и утешила себя мыслью, что это ненадолго. Наташа ведь взбалмошная и нетерпеливая, наверное, ей скоро надоест возиться со стариком, и вот тогда и она им займется.

И не думая больше о присутствии Бориса Сергеевича в доме, Мари стала продолжать свой обычный образ жизни. Она просыпалась очень поздно, пила кофе в кровати, потом еще час-другой нежилась, дремала и потягивалась. Затем медленно, с помощью двух горничных, начинала одеваться и причесываться. Выходила к завтраку нарядная, пышная, белая, со своими медленными, вялыми движениями, с заспанными глазами, с остатками зевоты. Между завтраком и обедом она обыкновенно сидела в тени на террасе с французским романом и выходила из своего спокойствия только в том случае, если гувернер или гувернантка приходили жаловаться на какую-нибудь Гришину проказу. Тогда она призывала Гришу и говорила ему строгим голосом:

— На тебя опять жалуются, ты опять дурно ведешь себя... Ты непременно хочешь сделаться совсем негодным мальчишкой, ни дня нет спокойного у меня с тобой. Иди в классную и сиди там до обеда, не смей играть с детьми и знай, что ты сегодня без пирожного...

Гриша выслушивал все это довольно равнодушно, во-первых, потому, что он каждый раз от своей матери слышал одни и те же слова, как будто раз навсегда заученные ею. А во-вторых, потому, что он ничуть не боялся последствий этих слов. Вместо того чтобы идти по приказу матери в классную, он кидался к бабушке, начинал жаловаться ей на несправедливость гувернера или гувернантки, уверял, что совсем не виноват, хныкал, принимал самый несчастный вид.

— Ну, ступай, ступай! — говорила Катерина Михайловна. — Я попрошу на этот раз, чтобы тебя простили, чтобы тебе позволили играть с детьми. Но знай — это в последний раз.

Мальчик чмокал руку бабушки и выбегал от нее довольный.

А Катерина Михайловна покидала свои сундуки и отправлялась на террасу к Мари.

— Мари, — говорила она, — опять вы мучаете Гришу!

— Чем? Кто его мучает? — отзывалась Мари, неохотно отрываясь о своего романа.

— Все вы его мучаете! Я тебе давно говорю: нельзя так накидываться на ребенка!.. Этот Рибо просто его ненавидит: его любимец Володя, тому всегда все он спускает, а Гриша всегда во всем виноват, ты же только потакаешь этим несправедливостям, никогда не разберешь дела, как следует...

— Да ведь это моя обязанность, тапан, его наказывать, когда на него жалуется учитель...

Катерина Михайловна с презрением пожимала плечами.

— Обязанность!.. Я думаю, твоя обязанность, прежде всего, не портить его характера, чтобы он не чувствовал несправедливости... Извини меня, ты совсем, совсем не умеешь воспитывать!..

Мари несколько изменилась в лице, видимо, желала сказать что-то, но все же обыкновенно воздерживалась от всякого ответа. К таким разговорам и объяснениям она уже давно привыкла. Сначала она давала понять Катерине Михайловне, что, во всяком случае, не у нее ей брать уроки воспитания. Но Катерина Михайловна за подобные «оскорбления» поднимала такую перепалку и потом столько времени всячески придиралась к невестке, что Мари, наконец, перестала возражать и язвить, чтобы только ее оставили в покое, — да и к тому же ведь, в сущности, ей было решительно все равно, наказан ли Гриша или нет.

— Ах, Боже мой, да делайте, что вам угодно! — говорила она. — Прощайте его, если хотите, если находите, что он не виноват...

Она потягивалась, зевала и принималась снова за чтение.

Катерина Михайловна уходила с террасы, звала Гришу, разрешала ему играть с детьми и за обедом есть пирожное. Если же ей попадался Рибо и начинал объяснять виновность Гриши и необходимость наказывать его, она своим презрительным, горделивым тоном отвечала французу:

— Mon Dien, il faut être indulgent. Le petit est si nerveux et puis — il m'a promis d'être sage...

Француз замолкал и только позволял себе, за спиной Катерины Михайловны, пожимать плечами. Он знал, что идти ему против нее нельзя, а в доме ему было хорошо, жалованье пока платили исправно...

Он только старался не замечать торжествующих и довольно дерзких мин, которые ему делал Гриша, убеждаясь в своей окончательной безнаказанности.

После обеда, если была хорошая погода, Мари имела обычай прогуливаться в парке и любила гулять одна. Она шла медленно, все по одной и той же, ею излюбленной аллее, шла как-то осторожно, будто бережно неся свою пухлую красивую фигуру. Потом, почувствовав усталость, она садилась в беседку, опять всегда на одну и ту же скамейку, и сидела так с час, глядя прямо перед собою, с застывшим выражением на лице. Затем она медленно поднималась, возвращалась домой, пила чай и ужинала, отвечала, когда к ней обращались с разговором, но сама ни с кем никогда разговоров не заводила.

Когда наставало время расходиться, она удалялась в свою спальню, раздевалась, ложилась в постель и опять читала французский роман, пока строчки не начинали сливаться перед ее глазами. Тогда она закрывала книжку, тушила свечу, переворачивалась на другой бок и спокойно засыпала.

И так изо дня в день, и эта жизнь была ей совсем по сердцу. Она никогда не скучала и никто в это последнее время ни разу не слышал от нее нетерпеливого замечания, что вот муж до сих пор не едет.

Сергея Владимировича часто не бывало дома, он решительно не был в состоянии вести какой-нибудь определенный образ жизни. Иной раз он спал до полудня, так что даже опаздывал к завтраку, а то вдруг поднимется часов в пять утра, оденется на скорую руку, велит оседлать лошадь — и ускачет. Мчится по целым часам неведомо куда и зачем, не жалея лошади. А то завернет на село, учинит переполох, поднимет на ноги всех ребятишек и собак, заберется в какую-нибудь избу, болтает со стариками и старухами... Или отправится на работу, смеется с парнями и девками... Крестьяне ничуть его не боялись и даже любили. Бестолково, зря, но он все же помогал многим, раздавал деньги, угощал часто водкою...



— Ничего, добрый барин, — говорили про него, — шальной только, да и девок вот от него подальше прятать надо...

Но упрятать было трудно...

Любил также Сергей Владимирович забраться иногда верст за двадцать, за тридцать от Знаменского, к какому-нибудь мелкопоместному соседу в маленький старосветский домик. И всюду ему рады, встречают с улыбками, с поклонами. Он знает слабую струну каждого, знает с кем о чем говорить надо, чтобы доставить удовольствие... Любят его старички и старушки, любят его молодые женщины и девушки, не любят только молодые мужчины и особенно мужья, у которых недурные жены.

«Греховодник, у какой греховодник!» — идет далеко от Знаменского молва о молодом Горбатове.

Греховодник — но ничего обидного не слышится в этом определении, всех-то он околдовывает своей милой улыбкой, простотою обращения и безалаберной добротой. Даже совсем забывают, что у этого греховодника молодая жена-красавица...

А он возвращается в Знаменское после своих набегов и приключений все с тою же скукой. Принимается возиться с детьми, подзадоривает хорошенькую гувернантку и вдруг присмирееет, уйдет к себе, заляжет на диван, вытянет свои длинные ноги и зевает — зевает без конца, всей могучей грудью, повторяя свою любимую поговорку:

«Ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие!»

Подойдет к нему Наташа, слабо улыбнется, скажет:

— Ну чего ты вздыхаешь, что с тобой?

Он притянет ее к себе, обоймет, да вдруг и отпустит.

— Знаешь ли ты, Наташа, что я ведь ужасная дрянь... я не стою тебя, совсем не стою, право!

— Знаю!

Она улыбается ему, как балованному ребенку, и, конечно, не приходит ей в голову, что он говорит искренно и серьезно...

При таких привычках знаменских жителей в распоряжении Бориса Сергеевича главным образом оставалась Наташа и отчасти дети, из которых, не без влияния Наташи, он особенно заинтересовался Володей. Первое впечатление, произведенное на старика молодой женщиной, росло с каждым днем, и он радостно отдался своему новому чувству. Он перенес на Наташу, внезапно и

бесповоротно, всю свою нежность. В ней теперь воплощались для него все дорогие ему существа, отнятые от него судьбою, — и мать, и жена, и дочь. Сила этой внезапно вспыхнувшей старческой привязанности была так велика, что не могла не подействовать на Наташу. Она ее почувствовала, приняла с благодарностью и сама привязалась к одинокому старику с дочерней нежностью.

Она ждала его появления, сторожила его, встречала первая, с доброй, ласковой улыбкой на прелестном лице. Она почти не отходила от него все время, когда он бывал в Знаменском. И теперь, через две недели знакомства, они уже хорошо знали друг друга. Он передал ей почти все обстоятельства своей жизни, и она сделала то же самое. Каждый из них думал, что у другого нет от него тайны, а между тем оба они все же обманули друг друга, потому что каждый хранил про себя свою главную тайну.

Как бы то ни было, Борис Сергеевич из живых рассказов Наташи узнал всю несложную историю ее детства и первой юности.

Она помнила себя в большом богатом петербургском доме отца своего, князя Засецкого, помнила себя единственным балованным ребенком. Она рассказала ему о своем первом горе, о смерти отца, умершего вдруг, во время парадного обеда, от разрыва сердца. Этот неожиданный удар так поразил ее мать, бывшую всегда слабого здоровья, что молодая вдова стала чахнуть и через несколько месяцев умерла от скоротечной чахотки.

Наташа вспоминала этот год как тяжелый, ужасный сон, который кончился для нее бредом и болезнью. Когда выздоровела — она была все в том же доме; но теперь она его очень боялась. Она дрожала, кричала, звала отца и мать. Ее родственники боялись, что болезнь повторится, и поспешили отдать ее в Смольный институт, рассчитывая, что, окруженная подругами, среди совсем другой жизни, она скоро развлечется и забудет о своих утратах. Конечно, оно так и случилось. Детское горе, как бы глубоко оно ни было, забывается, смывается временем.

Наташа рассказала Борису Сергеевичу о своих любимых подругах, об учителях, об институтских проказах, посещениях института покойным государем, которого все институтки обожали. Она рассказывала, как государь обыкновенно уезжал от них без платка, с оборванными пуговицами мундира, и как они, по его отъезде, спорили

и даже чуть не дрались из-за его пуговиц, из-за кусочков его платка. Рассказывала, как он один раз угощал их персиками и сам ел с ними и как они потом собрали все косточки от его персиков и хранили их как святыню. Ей хорошо и весело было в институте, у нее и теперь еще глаза горели, когда она вспоминала все наивные приключения и интересы этой детской жизни...

Ну, а потом... детство кончилось, к детским интересам прибавились иные мечты о будущем, ждалась жизнь новая, долгая, волшебная, счастливая...

Институт покинут, княжна у родных, все ее так любят, все так ласковы с нею, ее наряжают и вывозят в свет. Она рассказала изгнаннику вечную историю первых бальных ощущений молоденькой девушки...

— Как же ты встретила со своим мужем? Как ты полюбила его, Наташа? — спросил Борис Сергеевич. — Это нескромный вопрос, я знаю, и ты можешь не отвечать на него... Но, нет, — прибавил он, — ведь ты мне расскажешь... я не смутил тебя своим вопросом?

Она подняла на него большие темные глаза и тихо заговорила:

— Как я встретила с Сергеем? На большом придворном балу... Я не помню, кто ко мне подвел его, он танцевал со мной мазурку... Потом, на другой день, приехал с визитом к тете Анне. Потом стал бывать у нас... все чаще и чаще...

— Ну, и что же ты?

— Я всегда бывала рада его видеть. Он был такой веселый, такой милый... только он немножко пугал меня своим пристальным взглядом... уставится... глядит!.. Вы знаете этот его взгляд, заметили?.. Так прямо, прямо в глаза и как будто спокойно, и не можешь не глядеть на него... И вдруг почему-то становится его жалко...

— Да, я знаю этот взгляд! — задумчиво сказал Борис Сергеевич.

И теперь он понял, что было особенного в этом взгляде Сергея: именно, когда он так глядел, ему почему-то становилось жалко.

— Ну, а потом, — продолжала Наташа, — стала я замечать, что тетя Анна подружилась с Катериной Михайловной. Прошел еще месяц... Сергей написал письмо к тете Анне... Она мне прочла его, спросила, согласна ли я... я заплакала и сказала: согласна...

Во время этого разговора они сидели в парке у пруда, в полуразрушенной беседке, в той самой беседке, где когда-то давно-давно, еще в прошлом столетии, прозвучали первые наивные слова любви между отцом Бориса Сергеевича и его матерью.

Наташа замолчала.

— А зачем же, — ласково выговорил старик, — зачем же ты заплакала, когда сказала: согласна?

Она подумала и хотела отвечать, но в это время, запыхавшись, весь красный, к ним подбежал Володя.

— Дедушка! Мама! — крикнул он, едва переводя дыхание. — Дядя Николай приехал!

Наташа опустила руки и так побледнела, что будто вся жизнь сбежала с лица ее.

Борис Сергеевич испуганно взглянул на нее.

— Наташа, что с тобою?

Она вздрогнула и очнулась.

— Ничего, — сказала она, — ничего... пойдете, дядя... Николай приехал...

## Х. СТРАШНЫЙ ПЛЕМЯННИК

Борис Сергеевич имел достаточно времени подготовиться к этой встрече, ожидавшейся со дня на день, но все же в первую минуту у него сильно застучало сердце, и он готов был бежать отсюда, к себе домой, в Горбатовское. И не так приезжий страшил его, как присутствие Катерины Михайловны.

«Если она там — я не могу!» — с отвращением и страданием подумал он, приближаясь к дому.

Но Катерина Михайловна была настолько предусмотрительна, что скрылась вовремя. Ее не было видно, когда Сергей подводил брата к дяде.

Борис Сергеевич, чего с ним никогда не бывало в жизни, вдруг как-то странно засуетился, зажмурил глаза, не глядя, поцеловал Николая Горбатова и прерывающимся голосом сказал что-то вроде того, что он рад его видеть, что давно ждал...

Когда он, наконец, открыл глаза, то встретился с прямо и спокойно устремленным на него взглядом этого нового племянника.

Сергей был прав, говоря, что они несколько не похожи с братом. Николай чуть ли не на целую голову был ниже его ростом, стройный и красивый в своем белом кителе с аксельбантами. У него были светло-каштановые волосы, вьющиеся от природы, и большие черные глаза; выражение лица уставшее и в то же время холодное. Но Борис Сергеевич уже был доволен тому, что не нашел в нем сходство, найти которое так боялся.

— А где же Наташа? — вдруг спросил Сергей. — Она ведь была с вами, дядя?

Борис Сергеевич с изумлением оглянулся, но в это время Наташа уже входила. Николай поспешил к ней, поцеловал ее руку, она слегка прикоснулась губами к его лбу, и они в первую минуту не сказали ни слова друг другу — они даже не взглянули друг на друга.

Борису Сергеевичу было не до наблюдений; но если бы он стал наблюдать, то заметил бы между ними большую принужденность, заметил бы, что и Николаю, и Наташе не по себе, что им почему-то неприятно встретиться. Однако оба они хорошо владели собою и через

две-три минуты совсем оправились. Наташа спокойным голосом стала задавать приезжему вопросы о своих петербургских знакомых. Он отвечал ей таким же спокойным голосом.

Вошла Мари обычной своей, медленной и ленивой, походкой, с таким же, как и всегда, застывшим лицом. Она позвала Николая; он молча поднялся и послушно последовал за нею; но скоро вернулся, подсел к дяде, и Борис Сергеевич, сам того не замечая, вдруг отошел от всех своих ощущений и мыслей и с большим интересом стал слушать Николая. Они машинально вышли из гостиной, прошли террасу, спустились в сад и, тихо бродя по старой аллее, продолжали разговаривать.

Борис Сергеевич уже не раз слышал от домашних, что Николай бывает часто молчалив, что от него иной раз по целым дням нельзя добиться слова, но что зато когда он оживится и начнет говорить, то говорит так, что всякий его заслушается. Это оказалось справедливым. Борис Сергеевич, привыкший к уединению, долгие годы проживший в одиночестве или с людьми, менее всего обладавшими красноречием, невольно увлекался теперь.

Николай резкими, выпуклыми штрихами обрисовывал перед ним картину теперешнего Петербурга. А Петербург был интересен: в нем началось большое оживление, в нем закипала новая деятельность. Молодой государь начинал свое царствование целым рядом блестящих планов, уже не бывших тайной и захватывающих все слои общества. Приготовлялись реформы, из которых главной, конечно, было освобождение крестьян.

Николай говорил, что это уже решено бесповоротно, что уже приступают к серьезным работам, привлекаются свежие силы...

— Слава Богу! Давно, давно пора! — оживляясь, проговорил Борис Сергеевич. — Еще отцы, еще деды наши думали об этом... Наконец-то!..

Но Николай вдруг переменил тон, вдруг как будто устал и совсем новым голосом сказал:

— Отцы и деды! Да ведь они не думали, а мечтали только... и теперь многие мечтают (он сделал особенное ударение на этом слове)...

— Да ведь ты же сам говоришь, что эти мечты превращаются в действительность!

— Да, только что из этого выйдет?

— Как что выйдет? Неужели ты против освобождения?

Николай пожал плечами.

— Вы мне задаете трудный вопрос, но я постараюсь вам искренне на него ответить. Быть против освобождения! Это страшно сказать! Но не могу же я все видеть в розовом цвете... Я не мечтатель, дядя, и уже не юноша, я не теоретик, не ученый, не литератор; я много ездил по России, знаю деревню, имею понятие о нашем народе — конечно, насколько это возможно в моем положении... И я боюсь, что эта прекрасная, благородная реформа слишком дорого обойдется и нам, и народу...

Борис Сергеевич с изумлением взглянул на него, но он продолжал убежденным, грустным тоном:

— Нам, видите, особенно после войны, очень стыдно стало перед Европой, стыдно за то, что мы варвары, рабовладельцы, азиаты. Нам во что бы то ни стало хочется быть европейцами, а они не признают нас себе равными, сажают за отдельный стол!.. Ну вот мы и должны доказать им, что мы не хуже их...

— Как, только это? — уже начиная волноваться и даже сердиться, перебил Борис Сергеевич. — А принцип... принцип?!

— Что же я могу возражать против принципа? Я хорошо знаю, что положение ненормальное, что человек должен быть свободен и в конце концов будет непременно свободен, хотя прибавлю: с ограничениями, непременно с ограничениями и очень-очень большими. Я был бы крайне доволен, если бы теперь уже наш народ был освобожден от крепостной зависимости. Мне мои крестьяне не нужны, какой же я помещик... Но я все же настаиваю на том, что мы спешим, ужасно спешим, ради мнения Европы. Освободить крестьян! Чего же лучше. Но весь вопрос: как и когда, настало ли теперь время для этого, можем ли мы это сделать так, вдруг, сразу? И я говорю: нет, нет, не можем при том экономическом положении России, которое всем известно. Я боюсь, что, поспешив, мы в конце концов окажем плохую услугу народу, а что уж себя-то уничтожим — это наверное; а мы именно спешим. Мы так нетерпеливы, так хотим скоро вырасти!..

Борис Сергеевич задумался.

— Я здесь еще вновь, мне многое еще трудно сообразить, — наконец выговорил он. — Может быть, ты и прав отчасти. Я знаю

только то, что я должен сделать, и знаю, что лично я не ошибаюсь.

— Вы хотите освободить и устроить ваших крестьян? — спросил Николай.

Борис Сергеевич с изумлением заметил, что проговорился, что высказал этому человеку, с которым вовсе не рассчитывал быть откровенным, то, чего еще не говорил никому.

Но он не пошел назад, не стал отказываться.

— Да, я это сделаю...

— Так вы — другое дело, дядя! Это частный пример и, ведь вы знаете, далеко не первый, таких примеров давно уже немало. Ведь и по-моему так: это значит готовить почву — про что же я и говорю! А ведь мы в один миг устроим реформу, на которую нужны годы. Мы, то есть не мы, конечно, а государство отдаст больше, чем у него есть. Что же из этого выйдет?..

— И вот, — прибавил с улыбкой Николай, — теперь вы можете смотреть на меня как на «крепостника», «отсталого человека» — эти слова теперь в моде, — на меня так уже многие смотрят... Я как-то не выдержал и высказался en haut lieu — и на меня косятся даже те господа, которые не только со мною согласны, но идут гораздо дальше, чем я... Вы думаете, что многие из тех, кто теперь там суетится, кричит, хлопочет, готовится работать, проникнуты необходимостью этой работы?! Ах, Боже мой, Боже мой! Только подлаживаются под тон, а на сердце кошки скребут! Все фальшь, и, может быть, у нас теперь в Петербурге больше фальши, чем когда-либо... Просто задыхаешься!.. Это не жизнь...

— Ты не доволен жизнью? Какой же бы жизни ты хотел? — спросил Борис Сергеевич.

Николай нахмурился и потом взглянул на него с печальной улыбкой.

— Вот я говорил, — начал он, — что я не мечтатель, а ведь это неправда... Да, конечно, я вовсе не мечтатель в известном отношении, я не увлекаюсь утопиями и терпеть не могу предвзятых взглядов, но зато в другом — я большой мечтатель, и с детства!.. Знаете ли, дядя, что я не раз завидовал вашей жизни! Мне кажется, что, несмотря на все печальные обстоятельства и потери, вы прожили до сих пор гораздо здоровее, гораздо полнее нашего. Вокруг вас не было этой фальши, лжи, условности, вы были ближе к природе...



И снова разгорячась и увлекаясь, Николай стал рисовать картину той жизни и тех отношений, среди которых, по его предположениям, находился долгие годы «изгнанник».

Борис Сергеевич вслушивался с изумлением, с постоянно возрастающим интересом — и, наконец, не выдержал.

— Да откуда ты знаешь все это? — воскликнул он. — Ведь почти все, что ты мне рассказываешь, верно! Так и есть, так оно и было!.. Ты как будто сам прожил долго в Сибири со мною, как будто и ты пережил все, что мне пришлось пережить!

— Значит, я много думал о вас и вашей жизни, значит, я хорошо ее себе представил...

— Но ты обладаешь большими познаниями...

— К моему горю, большими познаниями я не обладаю — я ничего не знаю как следует; но я много читал, читал с детства. Ведь вы знаете дедушкину петербургскую библиотеку... Бывало, я запирался в ней и просто глотал книги...

Борис Сергеевич невольно улыбнулся.

— А со мной не встречался ты в этой библиотеке? — спросил он.

— Я именно сейчас и хотел сказать вам, дядя, что познакомился там с вами. У вас хорошая манера, которую я перенял, отмечать на полях книг свои впечатления, мысли... вы даже часто подписывали их вашими буквами... Я то и дело натыкался на эти ваши заметки и знакомился с вами...

— Отчего же ты не написал мне никогда о нашем знакомстве?

— Отчего? Право — не знаю... Признаться — даже ведь и собирался не один раз сделать это, да все как-то не выходило... Да, я читал много, — продолжал он, — теперь у меня самого составилась уже своя собственная порядочная библиотека... но беда в том, что у меня никогда не было хорошего учителя... Ведь я одно время мечтал даже попасть в университет...

— Что же помешало?

— Покойный отец.

— Да ведь мы с ним сами были в Московском университете!

— Только в другое время, дядя... В мое время университеты были в загоне, в пренебрежении... в сущности, их все же побаивались... Одним словом, отец решил, что Горбатову не следует компрометировать себя и портить себе университетом карьеру...

Карьеру можно было сделать только на военной службе... «А затем, — сказал мне отец, — если ты уж такую нежность чувствуешь к университету — тебе, может быть, нетрудно будет стать попечителем какого-нибудь учебного округа... вот ты и будешь во главе университета».

— Что же ты ему на это?

— Я, конечно, возразил, что как же это я могу управлять учебным округом, не получив научного образования и зная только военное дело? Он и говорит: «А так, как другие... Увидишь — поймешь... Если захочешь для симметрии поставить в храме науки десятую музу — ставь смело... студенты будут смеяться... а ты, чтобы не смели смеяться, держи их в ежовых рукавицах — и будешь примерным ревнителем и хранителем отечественного просвещения!» Засмеялся отец — и ушел... Я хорошо помню этот разговор... О, он отлично все понимал, он был умен... только...

— Что только? — видя, что Николай запнулся и улыбается нехорошей усмешкой, спросил Борис Сергеевич.

— Только он совсем о нас не думал, совсем нас не знал... мы были ему как чужие... и я много страдал от этого... Вообще, нерадостная была юность, дядя!

И, будто желая отогнать от себя скорее грустные мысли и воспоминания, Николай вернулся к сибирской жизни «изгнанника» и опять увлекся.

Борис Сергеевич продолжал изумляться перед этим даром блестящего флигель-адъютанта воспроизводить никогда им не виданное и только воображаемое, и вдобавок такое, что, по складу его жизни, должно было ему быть совсем чуждым.

И не заметили они, беседуя, взад и вперед ходя по старой аллее, как пришло время обеда, и обычный звон колокола стал сзывать всех в столовую. Они повернулись к дому. Николай поспешил вперед, а Борис Сергеевич остановился в раздумье. Он был как в тумане, все еще под впечатлением этого долгого, нежданного разговора. В его ушах все еще звучали слова Николая, и тон этих слов — горячий, убежденный, доходивший иногда почти даже до какого-то вдохновения.

Он очнулся, услышав возле себя голос Наташи. Он улыбнулся ей, а она как-то робко не то спросила его, не то просто сказала:

— Познакомились с Николаем?

— Да, — отвечал он, — или, вернее, только начал знакомство. Он такой человек, с которым познакомишься нескоро и нескоро разглядишь его.

Она насторожилась.

— Почему?

— Потому, что он из людей, встречающихся редко в жизни; эти люди не подходят под привычную и обычную мерку...

Что-то неуловимое блеснуло в лице Наташи и тотчас же погасло.

— Так вы считаете его особенным человеком, дядя?

— Да, особенным. Но что скрывается за этим огнем и блеском, за этими дарованиями, которые прорываются, несмотря на печальное воспитание, полученное им, — вот этого-то я еще не знаю, а хотелось бы мне знать. Хотелось бы знать, каково его сердце!

— Придет время, и это узнаете! — почти таинственно выговорила Наташа.

А Борис Сергеевич думал:

«Боже мой, откуда берется это?! Несчастные, покинутые мальчики, распущенность, печальные примеры перед глазами, пустота светской жизни... и ему с небольшим тридцать лет!.. Когда же успел он узнать все, что знает? Когда успел читать, думать, учиться?..»

«И отчего это Сергей не такой?» — заключил он свои мысли и вздохнул невольно.

Сергея-то он уже довольно разглядел за это время, и хотя вспыхнувшее в нем к нему чувство не потухло, но он начинал видеть то, чего никак не желал бы видеть.

## XI. СТАРАЯ ГРЕШНИЦА

Укладывая и перекладывая свои сундуки с тряпьем, Катерина Михайловна за последние дни обдумывала положение. Пока все обходилось благополучно, все шло даже так хорошо, как она и не надеялась. Она очень боялась, что отношения ее семьи к Борису Сергеевичу останутся натянутыми, что он ограничится соблюдением приличий. А между тем и в такое короткое время вот уже он вошел в семью, привязался к ней. Катерина Михайловна очень хорошо видела, что главным образом привязывали его Наташа и отчасти Сергей, что Борис Сергеевич к Мари относится очень холодно, к Грише тоже.

«Ну, что же, — не раз говорила она себе, — пусть хоть им будет счастье, пусть хоть они будут богаты».

А между тем она никак не могла успокоиться на этих мыслях. В ней вдруг поднималось нежное чувство к Грише, и не только к Грише, но даже и к Николаю. Ей казалось, что это несправедливо относительно их. Ей, наконец, начинало неудержимо, капризно хотеться, чтобы все это прошлое, которое так долго ее нисколько не мучило, но теперь, с появлением Бориса Сергеевича, начинало мучить, забылось и не существовало более. Она пуще всего страстно хотела теперь возвращения прежнего богатства, блеска и значения для всей горбатовской семьи, которой она признавала себя главою.

«Нужно победить изгнанника, нужно забрать его в руки».

Она понимала, что не может достигнуть этого сразу, что нужно действовать осторожно. Так она и действовала — не выставляясь, стушевываясь.

Но если был опасен первый день их встречи, то еще опаснее был, конечно, день приезда Николая. Борис Сергеевич ни разу с ней о нем не заговорил, а когда при нем упоминали имя Николая, она хорошо видела, что он опускает глаза, смущается, что лицо его хмурится — и при этом ей самой, никогда не смущавшейся прежде, теперь становилось неловко. А между тем ведь их встреча неизбежна, и только тогда, когда на сцену уже явился Николай, можно будет приступить к порабощению изгнанника.

И вот Николай приехал. Катерина Михайловна, поздоровавшись с ним, поспешно скрылась в своих комнатах и не выходила до самого обеда. Она была в волнении, даже очень резко прогнала Соню, которая было к ней прибежала.

Она вдруг, будто по чуду какому-то, вернулась к прежней позабытой жизни. Ей чудилось, что она снова молода, в Петербурге, в старом гобратовском доме, за несколько месяцев до рождения Николая. Она снова будто переживала свою капризную страсть к Щапскому, который потом поступил с нею очень неблагоприятно — покинул ее за границей и затем ни разу не встретился с нею в жизни.

Она как будто снова переживала все прежние сцены: ужасное объяснение с Борисом, потом объяснение с мужем, во время которого она так хорошо сыграла свою роль. Впрочем, она до сих пор не могла решить вопроса, кто тогда лучше играл роль — она или ее муж: ведь он, очевидно, тогда сделал вид, что поверил всем ее объяснениям...

Но странное дело — тогда, когда в действительности происходило все это, она чувствовала себя только несчастной и даже обиженной. Она ненавидела Бориса, и если бы было возможно, она бы, кажется, убила его с наслаждением. Теперь ненависть к изгнаннику в ней заглушилась чувством невольного страха, который все сильнее и сильнее начинала она испытывать к этому кроткому человеку, так хорошо встретившемуся со всеми ними. Да, она боялась его, хотя, несмотря на все страхи свои, все же рассчитывала его победить.

Но пуще страха в ней говорила тоска, начавшая время от времени появляться в последние годы и достигавшая теперь иногда мучительных размеров. Она называла это «тоскою», она не могла найти другого определения тому, что испытывала в присутствии Бориса Сергеевича, и особенно в те мгновения, когда произносилось имя Николая.

Это чувство в этот день было так сильно, ей сделалось так тяжело, когда раздался звонок, сзывавший к обеду, что она почти совсем решила сказать больно и не выйти.

«Но, Боже мой, ведь если не сегодня, так завтра, ведь невозможно избежать этого! Да и зачем?.. Пустое! Надо преодолеть себя!..» — и она преодолела.

Она вышла к обеду. Она была бледнее обыкновенного, ее маленькие, сухие руки по временам нервно дрожали; но никто ничего

не заметил. Ей пришлось сидеть за обедом против Бориса Сергеевича, и как она ни подбодряла себя, а первые минуты были для нее просто пыткой. Она не могла решиться взглянуть на него. Наконец все же взглянула.

Он смотрел в сторону. Но вот их глаза встретились. Он глядел прямо на нее... Он хочет истерзать ее своим взглядом.

«Нет, она не поддастся!»

Она сделала над собою усилие, не отвела своих глаз, только придала им то выражение, какое нашла самым подходящим, и Борис Сергеевич прочел в ее взгляде тоску, муку, мольбу, к нему обращенную. Вот слезы показались на ее глазах. Она вытерла их тихомолком.

Борис Сергеевич отвернулся, и ему опять, как в первую минуту свидания с нею, стало невольно жаль эту бывшую Катрин, эту грешницу, эту маленькую, сухонькую старушку, очевидно, испутившую теперь тяжелыми страданиями вину свою.

Катерина Михайловна справилась со своей тоскою и поняла, что начала игру удачно.

К концу обеда она совсем успокоилась и решила, что нужно действовать, не откладывая ни минуты. Она успела заметить, что Борис Сергеевич с интересом и без всякого враждебного чувства глядит на Николая. Она узнала из общих разговоров, что они долго беседовали вдвоем в парке. Все складывалось самым лучшим образом.

«Николай умен, интересен, — думала она, — но трудно было ожидать, чтобы он сразу мог с ним справиться. Теперь последний, решительный удар — и он будет совсем побежден!»

Она припомнила некоторые минуты своей жизни, когда ей приходилось вывертываться из тяжелого положения, дурачить людей — ей всегда это удавалось. Должно удасться и на этот раз.

После обеда, когда все, по обыкновению, перешли на террасу, улучив удобную минуту, она шепнула Борису Сергеевичу.

— Будь так добр, Борис, пойдем ко мне, мне надо поговорить с тобою...

Он даже вздрогнул. Но она подняла на него такой скорбный взгляд, что, не говоря ни слова, он последовал за нею.

Да и как бы мог он отказать ей?

«О чем это она может говорить со мною? Что ей нужно?.. — думал он. — Впрочем, может быть, какое-нибудь денежное затруднение... денег попросит... Сколько угодно... Сколько угодно! Только поскорее бы!»

Она его провела в свои комнаты, где он до сих пор не был еще ни разу. Он с изумлением увидел этот странный беспорядок, эти всюду наставленные сундуки. Он помнил Катрин, вечно окруженной самой изысканной роскошью, вечно заботившейся о том, чтобы вокруг нее и у нее было все лучше, чем у кого-либо.

«Но разве это Катрин?»

Она знаком пригласила его сесть в большое старое кресло, сама присела в другое, подняла на него глаза все с тем же скорбным выражением и молчала. Ему стало ужасно неловко.

— Что тебе угодно, Катрин? — запинаясь, произнес он.

Она как будто хотела начать говорить, но вдруг слезы блеснули на ее глазах, и с тихим, сдавленным старческим рыданием она закрыла лицо руками.

Борису Сергеевичу стало еще невыносимее.

«К чему эта комедия?»

— Катрин, успокойся! — сказал он. — Если бы я не знал, что все благополучно, я бы подумал, что случилось какое-нибудь несчастье — но ведь ничего такого нет?

— Прости! — наконец выговорила она. — Конечно, это глупо... я не справилась с собою. Но, Боже мой, ведь; есть невидимые несчастья, и они тем тяжелее, что их никто понять не может, не может о них догадаться. Мое несчастье можешь понять только ты... ты его знаешь... ты один его знаешь на свете. Я долго не решалась, но вижу, что должна говорить с тобою. Я многое дала бы, если бы могла избежать этого; но нет, нельзя... нужно это... Мы должны раз навсегда поговорить... Борис, вернемся к старому... к ужасному времени!..

Он побледнел и даже поднялся с места.

— Зачем? — с ужасом и все возраставшим отвращением воскликнул он. — Зачем?.. Ради Бога, оставьте это... Я надеялся, что именно между нами не будет никаких разговоров о прошлом!.. Я надеялся, вы поймете, что нам самое лучшее никогда не касаться этого прошлого... Вы, кажется, видели: я приехал, пришел в ваш дом как

родной, я полюбил вашу семью, у меня явилась надежда, что и меня полюбят... Что же вы хотите, чтобы я ушел?.. Кому вы этим принесете пользу?

Он весь даже изменился, говоря это, — глаза его заблестели, в голосе звучали те страстные ноты, которых она не слыхала столько лет. Если бы не эти седые волосы и не эта седая борода, она подумала бы, что вернулось прежнее время, что перед нею прежний Борис, такой точно, каким он вдруг очутился перед нею после того, как стал невольным свидетелем ее тайны.

Но уж раз начала, она не хотела отступать. Она собрала все свои силы и снова почувствовала в себе прилив какого-то театрального вдохновения.

— Ах, Боже мой, — простонала она, заломив руки, — да неужели мне-то это легко? Да я бы все отдала, чтобы не вспоминать старое, чтобы его не было! Я знаю, Борис, я ужасно виновата перед тобою, ты имеешь право и презирать, и ненавидеть меня... Но ведь ты добр, ты благороден, ты именно, ты поймешь многое, чего не понял бы другой.

— Что же тут понимать? Прошу вас прекратить это, будет самое лучшее... отпустите меня! — произнес он.

— Борис, Борис! — повторяла она. — Да взгляни же на меня, ведь я не та, не прежняя... Вся жизнь прошла... пожалей же несчастную старуху... пожалей, Борис, и выслушай...

Еще миг — и она, кажется, стала бы перед ним на колени. Он почти упал в кресло и опустил голову.

Она заговорила горячо и страстно, то и дело переходя на французский язык, на котором ей легче было объясняться.

— Мне нет оправданий, и я не хочу себя оправдывать! — говорила она. — Я грешница. Но если бы знал ты, какой ценой я искупила и искупаю до сих пор грех свой! И потом, ведь все же не одна я виновата... Ты знаешь, я вышла замуж ребенком, избалованным ребенком, не знавшим жизни... из меня тогда можно было сделать все, что угодно. Если бы я попала в руки другому человеку — и я была бы другая; но твой брат — он не исправить мог меня, а испортить... и испортил...

— Оставим мертвых! — мрачно произнес Борис Сергеевич.

— Да ведь я ему давно все простила... Но что правда, то правда... Он был дурным мужем... Он никогда не любил меня... Он изменял



мне с первого же года. Ты, может быть, не знаешь этого, но я знаю...

Борис Сергеевич знал это и потому молчал. Он сознавал, что она права, что его покойный брат был действительно дурным мужем и мог ее только испортить.

— Я не судья вам, — сказал он, — и, конечно, не стал бы и тогда даже вмешиваться в ваши дела... если бы не было последствий... Но что вы сделали с нашим именем? Нет, увольте, оставьте меня!.. Зачем, и именно сегодня, вы заговорил об этом? Мне и так тяжело...

Перед ним мелькнуло прекрасное, оживленное лицо Николая.

— Оставьте меня, позвольте мне уйти, — повторял он.

Она испуганно встала, его удерживая, и каким-то торжественным голосом твердо проговорила:

— Если бы действительно были последствия, я бы не решилась возвращаться к старому... я бы не могла теперь смотреть на тебя... Последствий нет!.. Николай — сын моего мужа... он твой племянник...

И, говоря это, она прямо, смело глядела ему в глаза и удерживала его своими дрожащими руками.

— Пустите! — почти с бешенством в голосе крикнул Борис Сергеевич и решительно направился к двери.

— Я не пущу тебя... нет, не пущу! Ты меня должен выслушать, а потом делай как знаешь... Уходи... не верь мне, покинь хоть навсегда этот дом... но ты меня выслушаешь!

Его бешенство упало. Он с презрением взглянул на нее, даже усмехнулся.

— Какая жалкая комедия! Что ж, если вам угодно играть ее, играйте, я насильно убежать не стану... Я готов вас слушать... играйте...

Она была возбуждена в высшей степени: все, что в ней оставалось жизни, силы, — все теперь заговорило. Нервное возбуждение вызвало обильные слезы, которые так и лились по ее маленькому и бледному, морщик нистому лицу.

— Я знаю, Борис, — сквозь эти слезы говорила она, — что иначе вы не можете мне ответить, в этом-то и заключается весь ужас моего положения...

— Да что же? Теперь, более чем через тридцать лет, вы будете уверять меня, что я не слышал того, что слышал своими собственными

ушами? Впрочем, говорите, я молчу, я не стану перебивать вас.

— Борис, конечно, в тот ужасный день ты слышал то, что я говорила, конечно... Я говорила этому извергу, этому моему убийце Щапскому, что мой будущий ребенок — его ребенок... Я ему лгала, лгала потому, что была безумно влюблена в него, потому что хотела удержать его и видела в этой лжи единственное средство достигнуть цели, видела связь, которая должна нас соединить навеки... Так я мечтала, несчастная, жалкая, обманутая и обманувшая женщина!.. Да я была преступна, я изменила мужу... Но ребенок был его, и он хорошо знал это, и он бы теперь подтвердил тебе это... Да и, наконец, ты уже теперь несправедлив к брату — он был способен на многое, у него были большие, ужасные недостатки, но ведь он был тоже Горбатов. Если бы он не был уверен, что ребенок его, он бы не признал его своим сыном — а ты знаешь, он признал его...

— Много бы я дал, чтобы вам поверить, — прошептал Борис Сергеевич, — но я не могу... я не верю...

Катерина Михайловна безнадежно опустила голову...

— Тем хуже для меня... тем хуже для меня! — повторила она. — Мне больше ничего не остается; какие же я могу представить доказательства? Я искупаю свою вину... О, если бы ты знал, как я несчастна, ты бы пожалел меня!.. Ты не веришь, Борис... Но, Господи! Если ты даже и не веришь, чем же виноват этот несчастный ребенок?

— Конечно, он ничем не виноват, и оттого-то это все так и ужасно, — печально произнес Борис Сергеевич.

А она между тем продолжала:

— И ведь ты добр, ты добр, у тебя высокое, благородное сердце... Ты христианин, Борис, поверь мне — я не солгала тебе... Но если не веришь... прости... прости, как Бог велит, и люби их... моих детей... Я тебя измучила этим объяснением, я не внушила тебе веру в мои слова, но я исполнила мой долг... Я не держу тебя...

Она едва договорила это. Она сидела перед ним, опустив руки, видимо, измученная и обессиленная, с бледным, увядшим лицом и жалким видом.

— Мы все нуждаемся в прощении, — тихо проговорил Борис Сергеевич. — Мне жаль тебя, Катрин; твоя жизнь действительно должна быть тяжела, и ты, верно, много страдаешь.

Он остановился на мгновение, потом протянул ей руку, пожал холодные пальцы и уныло вышел из комнаты.

Она несколько минут продолжала сидеть в том же положении, с тем же уставшим выражением в лице. Она горько вздохнула.

«Не верит, — подумала она, — но все же я поселила в нем сомнение, довольно и этого — дело сделано...»

На большее она и не рассчитывала, она была довольна, что объяснение это кончилось так, а не иначе... А между тем тоска давила ей грудь, и жизнь, которую она когда-то так любила, за которой она гонялась, представилась ей теперь жалкой и противной. Если бы можно было вернуть прошлое, она, может быть, жила бы иначе — но вернуть ничего нельзя.

И она стала жадно хвататься за мысль о будущем — это будущее могло быть блестящим, но только с помощью Бориса Сергеевича.

## XII. ОШИБКА

Прошло всего два дня с приезда Николая Горбатова, но от оживления, замечавшегося в нем в первые минуты, ничего не осталось; даже внешность его совсем изменилась. Он уже не казался красивым, франтоватым флигель-адъютантом, ходил сгорбившись, с потемневшим лицом и тусклым взглядом, молчал по целым часам и, если кто-нибудь обращался к нему с каким-нибудь вопросом, он отвечал односложно и спешил скорее отойти. Его, видимо, раздражали детский смех и крики. Брат звал его на охоту — он отказался.

Мать стала было объяснять ему, что он непременно должен хорошенько поговорить с управляющим и пересмотреть счета, которые кажутся ей неверными. Но он резко объявил, что не намерен толковать с заведомым мошенником.

— Сергей не намерен, ты не намерен — что же это, наконец, будет? — сказала Катерина Михайловна. — От этого у нас так хорошо дела и идут... Я ничего не смыслю, оно и понятно, но ведь ты еще в прошлом году вникал в хозяйство... Ты все так легко соображаешь... Неужели трудно заняться... да и, наконец, ведь в этом твои же интересы, твои выгоды...

Он ничего не ответил, нахмурился и ушел. Катерина Михайловна отправилась к Мари.

— Сделай милость, *ma chère*, объясни мне, что такое с Nicolas? Он становится просто невозможен, с ним говорить нельзя... Я только и жду — кричать станет. Ты, что ли, его так раздражила?

Мари подняла на нее свои заспанные глаза и проговорила:

— Ничем я его не раздражала. Ведь вы его знаете — он всегда такой...

— Уговори же его — нельзя так вести дело, пусть он хоть немного займется, а то нас кругом обворовывают, и все эти мошенники видят, что нет хозяина, что можно делать все, что угодно.

— Нет, *tata*, извините, я ни в чем его не стану уговаривать, потому что ничего из этого не выйдет. Да и, наконец, это не мое дело — я прошу только одного, чтобы меня не вмешивали в эти дразги.

Катерина Михайловна махнула рукой, совсем рассерженная ушла к себе и стала рыться в своих сундуках.

Между тем Николай, несмотря на знойную полуденную пору, вышел в парк и долго бродил, не замечая дороги. Его давила тоска, мучительная тоска. Он очень часто ее испытывал, и она в последнее время становилась иногда просто невыносимой. В разговоре с дядей он был искренен; ему действительно тяжело жилось и дышалось в Петербурге, среди деятельности, к которой он не чувствовал особенного призвания, среди людей, с которыми имел мало общего. В эти последние недели, оставшись один в огромном горбатовском доме, он совсем истомился и ждал не дождался возможности уехать в отпуск. Подъезжая к Знаменскому, он испытал большую радость. Ему так хотелось всех увидеть, снова очутиться среди своих домашних. При этом его заинтересовало свидание с незнакомым дядей, о котором он нередко думал. Но уже вечером, когда все разошлись и он очутился в спальне с женою, с ним произошла внезапная перемена.

Мари была ласкова и предупредительна насколько возможно. Она по-своему радовалась возвращению мужа. Она выложила сама и приготовила все его любимые вещи, и в то время как он раздевался и приготавлился ложиться спать, задавала ему много, хотя не интересных, но понятных в первый день приезда вопросов. Он отвечал ей обстоятельно, но потом вдруг как будто перестал даже слышать то, о чем она спрашивала.

Она рассердилась.

— Что же, вы не можете даже мне отвечать? — сказала она.

— Ах, Боже мой, да ведь, кажется, уже все объяснил, рассказал... Ну чего, чего ты повторяешь?.. И потом, по правде, я ужасно устал, я спать хочу... оставим до завтра...

Мари села перед кроватью и пригорюнилась.

— Ну да, вечно одно и то же — устал, хочу спать... Что же это, наконец, такое? Почти два месяца не виделись — и вот какая встреча!.. Это называется любовь... Да поздоровался ли ты со мною как следует, приласкал ли ты меня?

Он неопределенно посмотрел на нее.

— Разве тебе это нужно?

— И это любовь... и это любовь!.. — повторяла она.

Он подошел к ней и обнял ее рукой за шею.

— Перестань же, Мари, мы не дети... право, пора спать... прощай.

Он поцеловал ее. Поцелуй этот был очень холоден.

Она хотела было сказать ему, что когда-то, и не после двухмесячной разлуки, он целовал ее иначе. Но вдруг сама почувствовала, что самое лучшее теперь — спать. Она поспешно разделась, улеглась и тотчас же заснула.

А он не спал. Он лежал, вытянувшись, вдыхая в себя крепкий запах духов, которыми Мари любила пропитывать все белье. Этот запах раздражал его, он его ненавидел. И ему казалось, что он теперь не может заснуть именно от этого запаха.

Чего же он рвался сюда? Он дома, в семье, с женою. Но он чувствовал себя более чем когда-либо одиноким. Эта женщина, с которой он прожил более девяти лет, которая имела на него такие неоспоримые права, была ему совсем, совсем чужою.

Каким же образом случилось это? Ведь он сам выбрал себе ее в подруги всей жизни, его никто не принуждал, и, женись на Мари, он был далек от всякого денежного расчета...

Да, все это так, конечно; но ему всего было тогда двадцать два года. Он встретился с нею в свете, где она только что показалась, совсем еще юной, едва оставившею уроки и куклы. Ей только что исполнилось семнадцать лет, хотя высокая, пышная, с рано развившимися формами, она казалась старше своего возраста. Ее признали все очень хорошенькой. И действительно, она была красива в первом расцвете юности, когда за свежестью, нежностью и яркими красками трудно подметить что-либо другое, когда о внутреннем содержании будущей женщины никто еще не может думать. И уж тем не менее не мог об этом думать такой неопытный юноша, каким был Николай Горбатов. Выросши вне влияния родителей, служа в гвардии, находясь в самом центре петербургской блестящей молодежи, он испытал уже все, что мог испытать гвардейский офицер в его годы. Но в противоположность брату Сергею, который наслаждался жизнью, наслаждался кутежами, легкими победами, продажной любовью, Николай не мог удовлетвориться всем этим. То, что его брат и товарищи называли веселой жизнью, очень скоро ему надоело. Детство и отрочество, проведенные в большом пустом доме, близкое знакомство с огромной библиотекой и, конечно, прежде всего

природные свойства развили в нем иные потребности. Он стал мечтать о совсем иной жизни, чем та, какая его окружала, и вдруг пришел к убеждению, что для начала этой новой жизни ему нужна добрая, верная подруга, которая не имела бы ничего общего с теми легкомысленными, так скоро надоедающими женщинами, каких он знал до сих пор.

Ему нужна была подруга, которая принадлежала бы ему одному всецело, жизнь которой началась бы с минуты их встречи и затем, до самого конца, была бы их общей жизнью. Эта юная и красивая графиня Натасова, с детской улыбкой, с манерами девочки, еще чувствовавшей себя неловко в длинном платье, показалась ему именно такой подругой.

Со свойственной ему откровенностью и жаром Николай принялся ухаживать за нею. Он стал искать все способы как можно чаще видеться с Мари. Но тут он встретился с большим затруднением — бывать у Натасовых не оказалось никакой возможности. Родители Мари, хотя по имени и родству и принадлежали к высшему обществу, но давно перестали посещать его. Они жили то в деревне, то в Москве. Был у них сын, лет на десять старше Мари. Сначала он служил в гвардии, но вел себя очень дурно, имел много неприятных историй и, наконец, кончил тем, что был разжалован и сослан на Кавказ за то, что во время одного парадного обеда пустил хлебный шарик, случайно или нет, но как бы то ни было попавший прямо в нос важного генерала.

Были у Натасовых еще дети, но все умерли. Осталась младшая Мари. Ее привезли в Петербург, отдали в какой-то пансион, поручили ее вниманию одной из родственниц, да и забыли о ней. Вспомнили только тогда, когда она выросла и когда тетка, тоже графиня Натасова, старая девица, настоятельно стала требовать, чтобы Мари взяли из пансиона и подумали об ее будущности.

Натасовы приехали в Петербург. Это оказалось им кстати, так как у старого графа было дело той зимою в Петербурге. Мари, года четыре не выдавшая родителей, была очень поражена тем, что ее встретило. Ее отец нанял небольшой домик на Васильевском острове, домик очень бедно меблированный, даже грязный. Навезли с собою из деревни совсем дикую прислугу, трех лакеев с небритыми и немытыми лицами, с вечно продранными локтями, несколько горничных, бегавших босиком в затрапезных платьях.

Мари, по праздникам посещавшая тетку, жившую очень хорошо и поддерживавшую связи в большом свете, очень возмутилась такой неожиданной родительской обстановкой, тем более что она считала своего отца богатым человеком. Она знала, что у них в Москве большой собственный дом, в котором они прежде и жили, да и вотчина в Тульской губернии доходная. Более же всего смутил ее вид отца. Он казался совсем под стать привезенной прислуге. Он носил какой-то длиннопольный, потертый по всем швам сюртук, и имел вид старого приказного. Мари вспоминала:

«Да ведь этого прежде не было! Отец был человек как и все, даже молодился, даже красил седеющие свои волосы — что же значит все это?»

Она решилась спросить отца, что это значит. Он ответил, что все переменялось, что они разорены, что они бедные люди. Она повесила голову.

Не менее ее была изумлена и ее тетка, с той только разницей, что Мари, услыша родительский ответ, поверила ему и на этом остановилась, тетка же стала добиваться: как, что и почему? Оказалось, что граф Натасов проигрался в карты.

— Да сколько же ты проиграл? — настаивала сестра.

— И не спрашивай, матушка, не спрашивай, язык не повернется сказать.

— Послушай, друг мой, да ведь дом-то московский, ведь ты его не продал — он твой?

— Мой! Да все равно, что и не мой — заложен...

— Ну, а Натасовка?

— Тоже заложена — жить нечем...

— Да как же Машенька-то, ведь нужно о ней подумать. Ведь ее замуж надо выдавать...

— А уж это как Бог даст, для нее вот и маешься, нищенствуешь, каждый грош считаешь...

Старая девица задумалась и в конце концов решила, что тут что-то да не то. Она обратилась к графине Вере Павловне:

— Что это брат говорит: вы разорены? Он проиграл? Как такое могло статься?!

Вера Павловна захлопала глазами и закатилась своим резким смехом, который всегда шокировал несколько чопорную и очень



сдержанную старушку.

— А ты ему и веришь, мать моя? Или до сих пор не научилась понимать своего любезного братца? Врет он все, ничуть не разорены. Проиграл он — это верно... и вот с тех пор дурь на себя напустил, представляется разоренным, перед всеми хнычет... Рехнулся он совсем, мать моя, вот что...

Старушка графиня, хотя и знала за своим братом всякие чудачества, но все же не могла прийти в себя от изумления.

А Вера Павловна продолжала:

— Гляди, каким нищим вырядился... Поверишь ли, ведь в город нарочно ездил придумывать себе такую одежду, у старьевщиков шубу купил...

— Фи! — с невольным отвращением воскликнула старушка. — Неужто ему самому не противно?

— А это ты его самого и спроси... И ведь все почему? Мне на смех! Я ведь хотела одна сюда приехать, порядочно устроиться, взять Машу, повеселить ее... Ему смерть не хотелось из деревни. А как узнал: нет, говорит, я поеду. Ну вот и приехали, вот и устроились, видишь, как по-барски!

— Да ведь он и впрямь сумасшедший?

— А то нет!..

— Как же ты-то, сестрица, допускаешь это?

Вера Павловна опять закатилась смехом.

— А мне что, пускай себе потешается. Эх, матушка, надоело мне все хуже горькой редьки, а пуще всего Петербург ваш — терпеть его не могу, вот возьму да и уеду опять в деревню, а за мной и он потащится и дела все забудет...

— Как же Мари?

— Маша-то — да я уж и не знаю... как ты рассудишь, сестрица?..

Тетушка задумалась...

— Незачем вам было и приезжать, — проговорила она.

— Слова твои верны, мать моя, незачем — и я говорю, незачем было приезжать сюда...

Тетушка уехала, повторяя:

«Да ведь это сумасшедший дом, сумасшедший дом!»

Но тут было, пожалуй, еще хуже, чем сумасшествие.

Граф Натасов смолоду ничем не отличался от людей его звания. Служил он в гвардии, кутил напропалую. Затем, рано лишившись родителей, вышел в отставку и приехал в свое наследственное имение. Объездив соседей, он встретился с Верой Павловной. Она считалась одной из самых богатых невест той местности, собой была нехороша, но зато бойка, за словом в карман не лезла, хохотала без устали, не чинилась с молодежью. А молодому графу чуть не с первого раза объявила, что он ей нравится.

Между ними внезапно установились какие-то шумные школьнические отношения. Они бегали, гонялись друг за другом.

Дело было летом, он наезжал часто, по соседству. И вот в один прекрасный день чересчур долго пробегали они в парке, ловя друг друга, даже к обеду опоздали; наконец вернулись с очень странными и смущенными лицами.

После обеда граф просил руки Веры Павловны и получил ее.

Свадьбу устроили очень скоро. Да что-то уж чересчур скоро прошел и медовый месяц. Всем было видно, что молодые живут неладно друг с другом. И, действительно, чуть ли не на другой день после свадьбы они оба поняли, что неизвестно зачем сошлись, зачем женились, зачем связали свою судьбу навеки. Но оба не возвращались к прошлому. Оба знали, что цепи, их связывавшие, нерасторжимы: муж и жена — и конец, и нечего говорить об этом!

Они возненавидели друг друга самым откровенным образом, и чем дольше жили вместе, тем более усиливалась эта ненависть. Однако она все же была какая-то странная, она не мешала им чуть не ежегодно производить на свет детей, жить в одном доме, наконец, она сделалась почти единственным содержанием их жизни, единственным занятием.

Они оба изощрались всячески делать друг другу неприятности, воевать. Посторонних в свои отношения они не вмешивали и, насколько возможно, соблюдали приличия. Собиравшиеся у них в деревне и в Москве гости могли только заметить, что они никогда не глядят друг на друга и не разговаривают между собою. И при посторонних и наедине они обращались друг к другу не иначе, как «вы — граф» и «вы — графиня», и часто заканчивали какое-нибудь неизбежное хозяйственное объяснение такими комплиментами.

«Позвольте вам заметить, граф, что я даже и от вас не ожидала такой глупости!» — обдавая супруга язвительной усмешкой, говорила графиня.

Он поводил на нее глазами, щетинил усы и бурчал ей в ответ:

«Извините меня, графиня, ведь известно, какой у вас язык: если собакам его бросить — так и те есть не станут!»

Они расходились и снова начинали придумывать, чем бы вывести из терпения один другого.

Между тем в их взаимной жизни происходили иной раз большие странности. Как-то граф заболел лихорадкой, да такой лихорадкой, что она не отпускала его два месяца, совсем истощила, и, наконец, доктора стали опасаться за жизнь его. Графиня во все время этой болезни не отходила от него и на минуту, проводила у его постели все ночи, по несколько дней не раздевалась. А когда он выздоровел, стала еще с большим рвением придумывать ему всякие неприятности.

Один из соседей, зная их семейные нелады, как-то вздумал в разговоре с графом неуважительно отнестись к Вере Павловне. При первом же слове граф, сидевший, по своему обыкновению, развалясь и куривший из длиннейшего черешневого чубука, вдруг вскочил, как будто под него подложили несколько пучков иголок, и, не говоря худого слова, из всех сил принялся колотить соседа чубуком. Их разняли, но сосед вызвал графа на дуэль. Тот с ним дрался и даже, вдобавок к чубуку, ранил его в руку. Рана была незначительна. Дело замяли. Но в губернии знали об этой дуэли и много смеялись.

Как бы ни был граф зол на жену и какие бы неприятности ни говорил ей, но стоило ему только заметить, что кто-нибудь из многочисленной дворни относился к графине не с должным, как ему казалось, почтением, он немедленно производил строжайшую экзекуцию над провинившимся. И хотя вообще он не был жесток, но в таких случаях нечего было ждать от него пощады.

Ни разу в течение долгих лет самой невозможной семейной жизни ни графу, ни графине не приходило в голову о том, что ведь можно сделать эту жизнь сносной, что если они так уж не выносят друг друга, то самое лучшее им разбегаться. Это было тем более возможно, что средства их и обстоятельства позволяли сделать это без всякого скандала. Графиня могла жить в Москве или в Петербурге с дочерью, а

граф — остаться в деревне, к которой он давно уже привык и где дичал с каждым годом.

Да, впрочем, очень может быть, что если бы они и решились разъехаться, то затосковали бы без этих перепалок и вечно измышляемых супружеских каверз.

Таким образом, графиня Вера Павловна имела право говорить, что муж ей «на смех» вырядился старым подьячим и завел в Петербурге скудную обстановку.

Но все же на этот раз она несколько ошибалась. Сделавшись в последние годы крайне скупым и испугавшись своего крупного проигрыша, граф пожелал, разыгрывая роль обнищавшего человека, выхлопотать для себя кое-какие милости. В конце концов это и удалось ему. Его знали лично, и кончилось тем, что он получил превосходные земли, якобы на льготных условиях, но в сущности даром.>

Как бы то ни было, положение Мари становилось тяжелым. О веселостях и приемах в родительском доме, где бегали босоногие девчонки, где отец и мать то и дело воевали друг с другом, нечего было и думать. Тетюшка предложила взять Мари к себе, но отец этому воспротивился.

— Кормить еще могу, пусть живет дома, — сказал он на все объяснения сестры. — А если тебе уж так хочется, чтобы она плясала, так и вывози ее сама... Я этому не мешаю...

И тетка стала вывозить Мари.

Николаю Горбатову иногда удавалось застать девушку у старушки. Но этого ему было мало. Он шел прямо к цели. Он настаивал, чтобы ему позволили явиться к графу. Тетка начала вести войну с братом.

— Помилуй, да ведь ты совсем с ума сходишь, ты изверг, а не отец... Ты хуже всякого зверя... Дело не шутка — жених такой, что лучше и не надо... За что ты хочешь лишить Мари ее счастья?

— Ничего не хочу! — бурчал граф. — Если этот молокосос свататься хочет — ну что же, пусть сватается... не откажу...

— Да как же ты его принимать станешь в такой грязи, ведь срамота! Ведь всякий как увидит — отступится. Ведь ему, я думаю, и во сне ничего подобного не снилось...

— В таком случае, значит, он подбирается к Машиному приданому. Если это настоящий жених, так он должен знать, что берет

за себя бедную девушку, и я пыль в глаза пускать не стану... Каков есть, таков есть... вольному воля!..

Делать было нечего, пришлось, наконец, принять Николая Владимировича в маленьком грязном домике. Старушка-графиня очень осторожно объяснила молодому человеку, что с ее брата взыскивать нечего, что в нем большие странности, да и не в нем одном, но и в жене его. Мари очень несчастна в семье. Графиня даже всплакнула при этом и произвела должное действие.

Николай сделал визит графу и графине и уехал от них в негодовании, с твердым намерением как можно скорее «спасти» Мари, вырвать ее из этой невозможной обстановки.

### ХІІІ. УЧЕНИЦА

В это время Владимира Сергеевича Горбатова не было в Петербурге. Николай написал ему и получил в ответ краткое и холодное, как всегда, письмо, в котором отец говорил, что если не имел ничего против женитьбы старшего сына, то ничего не может иметь и против женитьбы Николая. Вообще глупо жениться в такие молодые годы, но если уж он решился на эту глупость, то пусть берет на себя и все последствия.

«Во всяком случае, — заканчивал Владимир Сергеевич, — благословляю тебя заочно, так как ты спешишь, а я в скором времени в Петербурге быть не могу. Вместе с этим письмом посылаю приказ в контору. Если желаешь остаться в доме, то сделай нужные распоряжения».

Николай не стал смущаться и раздумывать над этим письмом, оно казалось ему естественным — между ним и отцом не было ничего общего, они были чужие друг другу. Еще, слава Богу, что отец не противится его счастью, не мешает, не стесняет в средствах.

Николай был на вершине блаженства. Брат Сергей и его первая жена, тогда еще совсем здоровая, молоденькая и веселая женщина, были очень рады этой женитьбе, этому новому оживлению, наполнившему их огромный дом. Тотчас же приступили к устройству помещения для молодых. Николай торопил насколько было возможно.

И вот он женат. С каким блаженством вводил он свою юную подругу под сень старого горбатовского дома! Он был уверен, что отныне начинается для него совсем иное, счастливое существование, что осуществляются все его мечты. Он с верой и нетерпеливым ожиданием глядел в глаза красивой Мари, и эти глаза, на время потерявшие свое заспанное выражение, ему улыбались. Молоденькая девочка, почти ребенок, не могла не поддаться обаянию первых дней любви. Все было для нее так ново, неожиданно, непонятно. Да и сама хотя уже значительно обветшавшая, но все же почти царственная обстановка старого дома производила на нее впечатление, особенно после пансиона и грязного домика, нанятого ее родителями.

Она была уверена, что очень любит своего мужа. Он такой нежный, такой хорошенький. Он так старается отгадать всякое малейшее ее желание и тотчас же его исполняет.

Только с первых же дней он показался ей чересчур порывистым, пылким и не совсем понятным. Она была с ним ласкова и поддавалась его ласкам. На его поцелуи отвечала поцелуями. Когда он ее спрашивал, любит ли она его, она отвечала: «Люблю».

Между тем всего этого ему было как будто еще мало, как будто он хотел еще чего-то. Но чего же ему еще? Какой странный!

А он все ждал.

Когда туман первых дней прошел, когда мало-помалу началась обычная жизнь, он стал торопить это счастье, о котором грезил. Он стал вызывать в жене не только женщину, но и друга. Он стал рассказывать ей про себя, открывал перед нею все заветные уголки своей души, своего сердца. Передавал ей все свои мысли, грезы, планы. Сначала она слушала его довольно внимательно, но затем, и именно в ту минуту, когда он был особенно торжественно и трогательно настроен, когда голос его звучал почти вдохновением, а на глазах блестели слезы, она вдруг засмеялась. Он остановился пораженный и недоумевающий.

— Чего же ты смеешься?

— Ах, Nicolas, — ответила она, — помилуй, да как же не смеяться! Я думала — ты совсем взрослый, серьезный человек, а ты болтаешь глупости, как маленький ребенок.

— Как глупости? Как ребенок? — запинаясь, прошептал он.

— Да, конечно!.. Ну виданное ли дело так смешно фантазировать?.. И потом, я думала, ты добрый, а ты совсем злой. За что ты бранишь всех людей, считаешь их и глупыми, и бессердечными, и фальшивыми? Что они тебе сделали?..

Она приняла вид рассудительной женщины, журила его:

— Все у тебя есть, здесь в доме так хорошо, все тебя любят, все с нами ласковы... жить можно очень весело, а ты ничем недоволен... и ко всему еще недоволен и мною! Кажется, не на что пожаловаться!.. Оставь лучше все эти бредни и позвони — мне пора одеваться, а то мы опоздаем в театр...

Он замолчал, дернул сонетку и, выйдя от жены, стал бродить по пустым, огромным комнатам. С каждой минутой ему становилось

тяжелее.

«Что же это?» — повторял он про себя и не находил ответа.

Наконец ему пришло в голову, что он сам виноват, что он слишком спешит, что отчаиваться смешно и глупо. Ведь Мари так молода, ведь он же знал это и именно рассчитывал на ее молодость. Что она может понимать? К чему подготовлена? В каких руках была? Он должен терпеливо «создать» ее и образовать, научить тому, чему сам научился... тогда она поймет его, и они заживут общей жизнью, станут «едино тело и един дух».

Да, он будет учить ее, читать вместе с нею и мало-помалу передаст ей все...

Он совсем успокоился, был особенно оживлен в этот вечер, и Мари ему улыбалась.

На следующий же день он повел ее в свою любимую библиотеку, стал указывать ей особенно интересовавшие его книги и предложил каждый день вместе приходить сюда и заниматься чтением.

— Хорошо! — сказала она. — Если это доставляет тебе удовольствие.

— А я надеюсь, что и тебе это будет доставлять удовольствие! — воскликнул он.

— Увидим!.. Да, я очень люблю читать интересные романы... нам не позволяли этого в пансионе, и мы читали потихоньку... Даже, я признаюсь тебе, Nicolas, я немножко знакома... — она запнулась, покраснела, — знакома с Поль де Коком...

Он задумался.

— Романы! И романы читать можно, даже и Поль де Кока! В этом нет дурного... Только не одни романы мы будем читать с тобою, Мари.

— А что же еще?

— Увидишь.

Каждый день он стал водить Мари в библиотеку и жадно читал ей те книги, которые, по его мнению, всего более могли принести ей пользу и заставить ее понять то, чего она до сих пор не понимала, что в его словах казалось ей «бреднями».

У Мари хватило терпения на целую неделю, но через неделю она решительно объявила ему, что если он хочет ей читать, то пусть читает романы, а этих, может быть, очень ученых и умных, но скучных книг,



она слушать не намерена, потому что они ей неинтересны, а главное — совсем, совсем ненужны...

— Да ты подумай только — зачем мне это? — повторяла она.

— Как зачем? Да для того, чтобы знать как можно больше, чтобы жизнь понимать!

Она улыбалась и зевала.

— Я в профессора не готовлюсь! — стараясь не сердиться и оставаться кроткой, говорила она.

Он все еще не падал духом, все еще боролся.

— погоди! — уверял он ее умоляющим голосом. — потерпи немного, пересиль свою скуку, — и вот, ты увидишь. Мари, скоро сама заинтересуешься.

Мари покорилась, продолжала слушать его чтения, но ее терпение стало истощаться. Она иной раз просто засыпала, бледнела и томилась, пересиливая скуку и сон.

— Господи, однако, как ты меня мучаешь! — невольно вырвалось у нее, наконец, во время одного из таких чтений.

Он бросил книгу и поднялся, бледный, с дрожащими губами. Глаза его зло сверкнули.

— Извини, я не буду тебя больше мучить! — проговорил он не своим голосом.

Чтения и уроки были окончены.

Мари рассказала о проказах мужа Сергею и его жене и при этом жаловалась, что Николай не только ее совсем измучил своими глупыми чтениями и уроками, но теперь, когда она уж больше совсем не может и отказалась, он дуется, не говорит с нею, почти не глядит на нее. Сергей и его жена приняли сторону новой родственницы. Сергей очень смеялся.

— Тут вовсе нечего смеяться! — плаксивым тоном заметила Мари. — Ты лучше поговори с ним, образумь его, — а то что же это такое?.. И вот уж я никогда... никогда не воображала, что у него такой отвратительный характер! Ему, право, как будто доставляет удовольствие терзать меня... и именно теперь, когда...

Она запнулась и покраснела.

— Пожалуйста, образумь его...

Сергей обещал и поспешил исполнить обещание. Он нашел Николая, обнял его, сделал ему самую уморительную гримасу и,

засматривая ему в глаза своими веселыми, ласкающими глазами, заговорил:

— Послушай, шут ты парадный! — это было его любимое выражение, эпитет, которым он награждал только самых близких друзей и чаще всего брата. — Шут парадный, что ты такое выдумал? За что ты свою Мари засадил за ученье?

Николай поморщился и скривил губы в усмешку.

— Пожаловалась! — выговорил он.

— Да как же на тебя не жаловаться, когда ты, как малый ребенок, глупости выдумываешь! Разве вы затем поженились, чтобы ты давал ей уроки? Я думаю, что всякое ученье ей давно опротивело и что она вовсе не за этим выходила за тебя замуж... И не понимаю, что тебе надо... Что ты все мудрить, коверкать по-своему хочешь... Посмотри, какая она у тебя хорошенькая... ну и любуйтесь, целуйтесь, пока не надоело. А то ведь, брат, знаешь ли, ведь если начать коверкать женщину да сажать ее за указку, надоедать ей, так ведь этак можно и опротиветь... Ты об этом подумай!

Николай опять усмехнулся.

— Правда! — сказал он. — Я с тобой согласен; но ведь я же объявил ей, что наши уроки кончены...

— Так зачем же ты на нее дуешься?

— Я... дуюсь? Она ошибается...

— Нет, не ошибается... Ты и теперь дуешься, посмотри, какое у тебя лицо, совсем злое.

— Оставим этот разговор, — резко сказал Николай.

— Оставим, — повторил за ним Сергей.

Он ушел от брата и тотчас же забыл и брата, и Мари, и свое семейное положение. Он вспомнил, что его ждет некая хорошенькая жена обманутого им мужа.

Но история «уроков» не была еще кончена. В тот же вечер жена Сергея, уловив свободную минуту, заговорила о том же предмете, только она взглянула на дело с другой точки зрения. Она явилась защитницей Мари более серьезной.

— Ведь ты не понимаешь, Николай, — говорила она, — что значит то положение, в котором Мари теперь находится. Нужно очень беречь ее, не утомлять, не сердить... Нужно быть как можно более ласковым и нежным с нею — иначе легко повредить и ей, и ребенку.

Николай вздрогнул. Он давно знал, что скоро будет отцом, но эта мысль как-то не останавливала на себе внимания. Теперь же она поразила его, показалась ему дикой.

Он — отец! Это как-то не входило в его мечты, в его планы.

«Нужно ее беречь, не утомлять, быть с нею нежным, повторил он про себя. — Конечно, конечно, иначе это может повредить и ей, и ребенку... ей и ребенку... Я виноват перед нею... я глуп!»

Он поспешил к Мари, нежно ее обнял, поцеловал, приласкался к ней.

Но в то же время он с ужасом видел, что в этих его ласках как будто нет прежней страсти, прежней искренности, что он себя к ним принуждает. Тоска охватила его.

«О, как я глуп! — думал он. — И что я за несчастный человек! К чему я и о чем я фантазировал и чем Мари-то виновата? Жизнь идет как должна идти... Я муж, я скоро отец. А та, та жизнь, которая грезилась, которая должна была начаться, и уже казалось, что начиналась, — где она?... Ее нет... не может быть... никогда не бывает!..»

## XIV. ОЧАГ ПОТУХ

У Мари родился сын, которого назвали Григорием, именем, часто повторявшимся в течение пяти столетий в роде Горбатовых.

Молодого отца поздравляли с этой радостью, и он принимал поздравления, стараясь выказывать радость и удовольствие. Но в действительности он не был вовсе доволен. Все, что творилось теперь в его семейной жизни, казалось ему почему-то странным, неловким. Он тщетно искал в себе любовь к этому крошечному, красненькому, несчастному и беспомощному существу — любви не было — была даже брезгливость. Он боялся до него дотронуться.

«Что же это? — тоскливо думал он. — Что же, изверг я, что ли? Ведь это плоть от плоти, кровь от крови моей, как же я не люблю его? Как же он мне кажется таким чужим и противным? Нет, этого быть не может, все это пройдет... Он еще совсем не похож на человека, но он вырастет немного, и я полюблю его, как должен любить отец сына... Ведь в нем, в этом мальчике, может быть все мое будущее!..»

Он стал ждать, стал приучать себя к ребенку. По несколько раз в день приходил в большую, тихую «детскую», останавливался у колыбельки, вглядывался в мальчика, и мало-помалу крошечное существо уже становилось для него менее противным, он уже начинал находить в нем даже некоторую прелесть. Но до любви было еще далеко.

Рождение ребенка было, конечно, для Мари огромным событием, как и для всякой женщины. Но и в ней не замечалось той страстности, какая обыкновенно присуща юной матери. Иногда она начинала нежно глядеть на сына; но вдруг отворачивалась и говорила с гримаской:

«Противный, стоишь ли ты? Сколько мук я из-за тебя натерпелась!»

И нельзя было понять — в шутку говорит она это или серьезно.

Она быстро поправилась, и через два месяца ее трудно было узнать. Она выросла, еще более пополнила, превратилась в роскошную женщину. Но вместе с тем в ней исчезла даже та небольшая доля живости, какая прежде замечалась. Она начинала с каждым днем становиться ленивее и ленивее, все более и более стала любить

физическое спокойствие, тяготилась даже балами и выездами, не находя в них никакого удовольствия. О ней говорили как о примерной матери.

«Так молода и уже сделалась домоседкой, не отходит от ребенка».

Но не от ребенка она не отходила, а от своей уютной и роскошной спальни, где можно было так мягко спать, так удобно валяться в полудреме по целым часам, в то время как кругом все люди были на ногах, жили и действовали. Впрочем, иногда она делала над собою усилие, вспоминала, что она жена и мать, начинала распорядиться всем, что нужно было для ребенка и для мужа, заботилась об их удобствах.

Иногда она встречала Николая ласковой улыбкой, ласкала его. Но в этих ласках всегда было более сентиментальности, чем горячего чувства.

Теперь стало ясно: Мари была холодна по природе, и лень все более и более одолевала ее. Ей тяжело было думать, действовать, ей приятно было только жить растительной жизнью — начинать и кончать день, по возможности удобнее и спокойнее.

Никто, конечно, не видел и не понимал этого так ясно, как Николай. Он не сразу покинул всякую надежду, он еще долго боролся. Он возмужал, стал сдержаннее, и прежних юношеских порывов уже не было. Он не возобновлял смешных уроков и чтений, но старался при каждом удобном случае, осторожно и незаметно, будить мысль Мари, заинтересовывать ее то тем, то другим, выходявшим из пределов ее спальни. Он был терпелив, изо всех сил сдерживал порывы своего пылкого нрава...

Но его усилия, его терпение пропадали даром. Мари была совсем неспособна проснуться. Она все более и более уходила в мелочи домашней обстановки, все с большим аппетитом пила и ела, все слаще спала, полнела, розовела.

Так проходили годы. Детей у них больше не было. Наконец Николай махнул рукой и понял, что ошибся, что он и его жена совсем разные люди и что между ними ничего нет общего, понять они друг друга не в силах.

Он оставался один со всеми своими неосуществимыми грезами. Он продолжал жить с недовольством той жизнью, какую знал и какую вокруг себя видел, со всей тоской по иной жизни. Он нес военную

службу по привычке, к тому же она удовлетворяла его как движение, как занятие на воздухе. Но она не была его призванием. От общества сверстников офицеров он по возможности отдалялся, хотя это было и трудно, хотя это нужно было делать осторожно и незаметно, чтобы не оскорблять их.

Все свое свободное время он проводил в библиотеке за чтением. Он интересовался всем, что появлялось в литературе. История была его любимым предметом. Страстно любил он и поэзию.

Иногда ему казалось, что и он мог бы попробовать писать, что, может быть, из этого что-нибудь и вышло бы. Он даже начинал: приготовил большую статью «Об отношениях России к западно-европейским государствам в XVII столетии». Потом написал повесть, в которую вложил много страсти и тоски, много чувства. Иногда у него выливались хорошенькие стихотворения. Но он тщательно скрывал ото всех свое авторство. Почему — из недоверия ли к своим силам, из излишнего ли самолюбия — он и сам не знал. Ему все же, однако, хотелось поделиться с обществом своими трудами, своим вдохновением. Он долго колебался и, наконец, послал, самым таинственным образом, статью «Об отношениях» в один журнал, повесть — в другой.

Но ни статья, ни повесть не появились в печати. Они как-то затерялись в редакторской макулатуре, среди тех безымянных рукописей, на которые не обращают внимания потому, что они безымянны, и из которых только изредка и по счастливой случайности чутье опытного литератора извлекает неожиданные перлы. Но такого счастливого случая не выпало на долю Николая.

А между тем если бы его статья и повесть были напечатаны, они, наверное бы, произвели впечатление, успех заставил бы его работать и, кто знает, что из этого бы вышло. Теперь же он только промучился, ожидая «свою судьбу», с томлением, дрожащими руками хватал в течение года каждую новую книжку журнала, потом махнул рукой и уже не принимался больше ни за какое писание.

Его отношения с Мари с течением времени окончательно выяснились. Он старался быть с нею как можно терпеливее, хотя это не всегда ему удавалось. Иной раз, в особенности, когда после продолжительного чтения какого-нибудь романа, на нее нападало сентиментальное настроение, он не выдерживал, доходил до резких

слов, до презрительных намеков на ее глупость. Но скоро он приходил в себя, ему становилось стыдно, и он старался ласковым, терпеливым и спокойным обращением заглаживать свою вину.

Он ни разу не изменил Мари и даже не думал об этом, так как не обращал внимания на женщин — они для него не существовали. А между тем в иные минуты, с прежней силой, если еще не с большей, поднималась в нем жажда любви, страсти. В нем закипала вся кровь, и снова в его разгоряченном воображении рисовались картины волшебной жизни.

Своего маленького Гришу он любил, любил сильно. Он с радостью следил за его ростом, за тем, как крошечный, бессмысленный ребенок превращался в человеческое существо с мыслями, движениями сердца и воли. Когда Гриша переживал разные детские невзгоды, неминуемые болезни детского возраста, отец страдал глубоко, забывал себя, проводил бессонные ночи... Ребенок выздоравливал — это была большая радость... Но все же чувство к сыну не могло наполнить и скрасить его жизни — оно доставляло ему несравненно больше горечи, чем сладости.

Если бы он и Мари хорошо сжились, если бы у них были общие взгляды и понятия, они оба могли бы, конечно, вместе трудиться над воспитанием ребенка. Теперь же об этом нечего было и думать. Мари заявляла свои исключительные права, и Николай их не оспаривал; но он в первое время не хотел также отказываться и от своих прав. Он следил, когда мог, за Гришей, подмечал в нем дурные склонности, останавливал его иногда, даже наказывал. И при этом никогда не раздражался, был спокоен.

Это было не по вкусу Мари. В ней заговаривал какой-то дух противоречия: она спорила с мужем при ребенке, находя всегда, что он несправедлив к мальчику. И — странное дело — она горячо принимала к сердцу дела Гриши только тогда, когда в них вмешивался отец, другим же она позволяла наказывать ребенка, да и вообще мало обращала на него внимания.

Наконец Николай решил, что лучше уж кто-нибудь один, что эти споры перед ребенком, с одной стороны, вредны для Гриши, а с другой — унижительны для родителей. Он почти отстранился и вмешивался только в самых крайних случаях.

Мало-помалу он стал замечать отчуждение от себя мальчика. Каким образом произошло это — он не знал и не хотел обвинять жену в сознательном вооружении против него сына. Но что, во всяком случае бессознательно, она это делала — это несомненно. Дети так чутки, дети так хорошо понимают многое!.. Гриша видел, что отец не хочет спускать ему того, что спускает мать, что от отца трудно скрыться и что, когда отец хочет наказать, мать защищает. И он, естественно, был на стороне матери, бегал к ней под защиту от отца, как бегал в других случаях от нее под защиту бабушки...

У Николая оставалась еще одна большая, выросшая с ним, привязанность к брату. Она не уменьшалась с годами; симпатичность Сергея, действовавшая на всех, кто только его знал, действовала и на Николая. Но ведь этого было мало, хотелось во всем сочувствовать человеку, уважать его, а уважать Сергея Николай не мог.

Наконец, после смерти отца, которая по вине самого Владимира Сергеевича не была особенным несчастьем для его детей, приехала мать. Это была новая мука для чуткой души Николая. Катерина Михайловна была для него совсем чужой женщиной, и, несмотря на то, что ему хотелось страстно, чтобы она стала ему близкой и дорогой, это было невозможно. Он не знал многих подробностей ее жизни; но и того, что он знал, было достаточно, чтобы заставить невольно почти стыдиться перед самим собою, когда он думал о матери.

Сергею было все равно — он как-то скользил по этому чувству, а Николай от него мучился. Но, конечно, никто не знал и не подозревал этих мучений. Он был неизменно почтителен с Катериной Михайловной, он, молчаливо согласившись с братом, предоставил ей первую роль в доме, выносил ее причуды, терпеливо выслушивал ее наставления и только в крайнем случае, чтобы не выказать подступавшего к сердцу раздражения, вдруг совсем замолкал, уходил и потом некоторое время избегал встреч с нею.

В последние два года жизнь Николая, совершенно незаметно для него самого, мало-помалу стала изменяться. Сергей женился вторично. В старом горбатовском доме появилось новое существо, принесшее с собою новую атмосферу.

Николай редко бывал в обществе и не видел Наташу почти до самой женитьбы брата. Он очень боялся за этот брак, устроенный



матерью, и даже отговаривал Сергея, зная, что такому человеку вовсе не следует жениться.

Но когда он увидел и разглядел Наташу, то от всей души поздравил брата и даже подумал, что — почем знать — может быть, эта прелестная девушка наконец образумит вечного кутилу. Однако чем больше вглядывался он в Наташу, тем к чувству первой радости более и более стали примешиваться сомнение и жалость.

«А вдруг и она не изменит Сергея?.. А если не изменит — так, значит, погубит себя».

Но ему приходилось тщательно скрывать эти свои сомнения. Помешать свадьбе он ничем не мог, даже и не имел на это никакого права.

Скоро ему пришлось убедиться, что опасения его небезосновательны. Сергей, по странному капризу своей природы, в первое время, очевидно, не хотел замечать достоинств Наташи, а может быть, если и видел их, то не придавал им значения. Он был с нею нежен; но скоро вернулся к прежней своей жизни; ее общества было для него недостаточно.

Наташа еще ничего не замечала, она еще не разглядела мужа, она жила всею силою только что распустившейся молодости. Ей было хорошо, она любила все и всех. Она привязалась сразу к детям мужа, к Мари, к Грише, даже к Катерине Михайловне.

С Николаем ее обращение было самое дружеское, и так как Сергея не бывало очень часто дома, а Николай был домоседом, то случаев для встреч и разговоров оказывалось у них много. Разговоры эти делались все более и более оживленными. Скоро для них стало ясно, что они отлично понимают друг друга, что в их характерах и взглядах много общего, что Наташа, несмотря на свою живость и незнание жизни, может быть очень серьезна и уже не раз задумывалась над большими вопросами. А Николай так хорошо умел отвечать на эти вопросы, отвечать именно в том тоне, какой ей был по душе. Нередко, читая и работая в библиотеке, Николай слышал легкий стук в дверь:

— Можно войти?

Он радостно отвечал:

— Конечно, можно!

Дверь неслышно отворилась, и на пороге показывалась Наташа, милая, грациозная, с ласковым взглядом глубоких, прекрасных глаз, с

тихой улыбкой. Проходил час, другой — и они беседовали, не замечая времени.

Только этой последней весной, перед отъездом в Знаменское, между ними произошло что-то странное — они вдруг стали иногда избегать друг друга, им иногда при встречах делалось неловко. Можно было подумать, что они поссорились и не хотели помириться, сердились. Наташа как будто иногда действовала раздражительно на Николая, и он не скрывал этого раздражения. Он уже несколько раз резко говорил с нею. Даже домашние заметили, что между ними пробежала кошка.

А между тем видимой причины такого разлада не было — они сами не понимали, что это значит. И так же бессознательно, как сближались и дружились, так они стали и расходиться. Но разойтись, живя под одной кровлей, было трудно, как ни избегай встреч и разговоров — они неизбежны.

С каждым днем становилось все хуже и хуже: Николай и Наташа стали мешать друг другу, стали доставлять друг другу мучения.

Он рад был, когда остался один в Петербурге и все уехали в деревню. Ему было приятно в первый день почувствовать свое одиночество в огромном доме; как будто легче дышалось. Но на следующий же день он затосковал, а через месяц стал рваться в деревню, в свою привычную семейную обстановку. И ему казалось, что он хочет именно к себе, и ему казалось, что Наташа теперь мешать ему не будет.

Но он прожил сутки в Знаменском, и вот та же тоска, только еще пуще прежнего, и Наташа еще больше мешает. Он не знает, куда от нее деваться...

Вышел он теперь из дома бродить по парку, чтобы разогнать эту тоску, чтобы забыться в тени этих старых деревьев, среди этой благоухающей летней природы.

И он стал забываться. Он отгонял от себя все беспокоящие мысли, шел все вперед и вперед, не замечая, где он, не зная — идет он, стоит или лежит.

Вдруг на повороте аллеи он столкнулся с Наташей. Они оба даже вздрогнули и остановились с испуганными лицами. Они взглянули друг на друга почти как враги и разошлись молча, не обменявшись ни одним словом.

Она поспешила домой, скорее, скорее, как будто кто-то гнался за нею, а он ушел в самую глубь парка. В нем поднималось даже злое чувство, почти бешенство — на кого?.. На себя, на нее, на всех, на то невидимое, непонятное и страшное, что мешало ему жить, дышать...

И оба они совсем не понимали, что это такое значит, почему им так тяжело, так невыносимо, и чем они виноваты друг перед другом...

## XV. ИЗЛИШНЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Наташа вошла в дом все с тем же испуганным выражением в лице, с болезненно бьющимся сердцем, с ощущением, будто кто-нибудь гонится за нею и настигает ее. Она почти пробежала парадные комнаты, радуясь, что никого в них не встретила, что никто не остановил ее.

Очувтившись, наконец, в своей спальне, она глубоко вздохнула, почти упала в кресло и несколько минут оставалась неподвижной, с закрытыми глазами, с порывисто дышащей грудью. Потом она поднялась, провела рукою по горячему лбу, будто отгоняя нахлынувшие мысли, и огляделась.

Все было тихо в ее просторной и уютной спальне. Окно в сад было открыто, широкая, спущенная маркиза мешала солнцу проникать в комнату; но все же ясный летний день выглядывал из каждой щелки и наполнял всю спальню свежим, душистым запахом скошенной под окном травы.

Наташа еще прошлым летом позаботилась устройством своего гнездышка; каждая вещица здесь была, так сказать, проникнута ею. Старинная тяжелая мебель как бы терялась и изменяла свой характер среди различных грациозных безделушек, привезенных Наташей и расставленных всюду и с большим вкусом.

Но эта любимая молодой хозяйкой комната теперь, в солнечный день, в первый раз показалась ей унылой и пустой, почти противной.

И опять Наташа упала в кресло, и опять сидела неподвижно, с глазами, устремленными куда-то вперед, далеко за пределы спальни.

«Да что же это, наконец, со мною? — подумала она. — Как будто несчастье, как будто горе. Но ведь нет ни несчастья, ни горя! Отчего же, отчего, Боже мой, так мне тяжело? Или я больна?.. Вчера было сыро, может быть, я простудилась...»

Она с радостью даже остановилась было на этой мысли: но нет, она тут же сейчас и почувствовала, что не больна, не простудилась...

В это время в соседней комнате, в кабинете Сергея, отворилась дверь, послышались его шаги. Он и в этот день, как часто с ним случалось, рано выехал из дому и не возвращался к завтраку.

Наташа прислушалась: вот он бросил хлыст, вот он двинул стулом, раздается его протяжная, обычная зевота.

Она встрепенулась. «Скорей, скорей к нему!..»

Она почувствовала потребность быть к нему ближе, спрятаться под его защиту от того, что ее там мучило, что преследовало, что по пятам гналось за нею. Она сделала несколько быстрых шагов, приподняла портьеру и очутилась в кабинете.

Сергей, очевидно, утомленный верховой ездой и зноем, лежал на диване, вытянув свои длинные ноги, в пыльных сапогах, в расстегнутом жилете. Он обмахивался платком и то и дело вытирал им свой белый, влажный лоб. При виде входившей Наташи, он ей рассеянно улыбнулся и откинул голову на кожаную подушку дивана.

— Вот жара! — проговорил он. — В поле так и печет... совсем я замучил сегодня бедного Серого...

— Вольно же, неизвестно зачем, мучить и себя и лошадь! — сказала Наташа, подсаживаясь к мужу. — В полдень по полям! С тобой еще когда-нибудь солнечный удар сделается... Смотри, на что ты похож!

Она вынула из кармана свой маленький надушенный платок и вытерла им его лицо.

— Но где ты был? Что делал? Расскажи мне, по крайней мере, Сережа. Зачем это тебе так нужно было мучить Серого?

Она наклонилась, поцеловала его и прижалась к нему плечом.

В его лице что-то дрогнуло, он даже немного поморщился, как будто ему неприятна была близость хорошенькой, ласкающей жены. Но это было только мгновение — он взглянул на нее, улыбнулся ей, хотел ее обнять — и вдруг опустил руку. Лицо его стало печально.

— Ах, Наташа, — проговорил он, — да не гляди ты так на меня, не гляди... ты меня мучаешь...

— Мучаю? Чем? — спросила она с изумлением.

— А тем, что я не стою, чтобы ты так на меня смотрела...

— Опять ты за старое!

Она засмеялась.

— Что это на тебя находит, в самом деле?.. И знаешь ли, ведь это унижение паче гордости!..

— Какое там унижение паче гордости! — досадливо выговорил он.

С ним положительно делалось что-то странное. Он начинал волноваться. Наконец спустил ноги с дивана, захватил обеими руками свою голову и сидел, уставив глаза в ковер. Наташа никогда не видела его таким странным, с таким выражением. Она почувяла, что это что-то неспроста.

— Сережа, — сказала она, — посмотри на меня!

Он поднял глаза и тотчас же опустил их.

— Что случилось? Что ты от меня скрываешь? Говори сейчас... Зачем ты хочешь пугать меня?..

— Я и скажу, — выговорил он, — это глупо... я не могу... брани, делай со мной, что хочешь... но лучше знай и прости меня...

Он путался — она не понимала.

— Что ты такое сделал?.. Что?

— Я глуп... я испорчен... я дрянной человек... Но я не хочу, не могу скрываться перед тобою... особенно, когда ты так смотришь... Ты знаешь Катеньку Недольсину?

(Это была молоденькая жена одного из их ближайших соседей. Она изредка посещала Горбатовых в Знаменском.)

— Так что же? — спросила Наташа, все еще ничего не понимая.

— Я... я... сегодня был на свиданье с нею... И как все это глупо вышло... как скучно... она такая дура...

Наташа широко раскрыла глаза.

— Да ты что же это... шутишь? — прошептала она.

— Нет, не шучу...

Он печально и покорно глядел на нее, и она видела ясно, что он не шутит. Она отшатнулась от него, поднялась. Лицо ее побледнело, глаза зло блеснули.

— Если вы дошли до таких глупостей, то признаваться мне в них — еще противнее. Это уж совсем, совсем низко!.. — почти задыхаясь, выговорила она и хотела выйти из комнаты.

Но он силой удержал ее, захватил своими большими, будто железными руками ее маленькие, слабые руки.

— Наташа, ради Бога, не сердись, выслушай меня! — повторял он умоляющим голосом. — Наташа, ведь ты умна, ты должна понять... тут совсем не то!.. Ведь я винюсь перед тобою... я знаю сам, как это глупо и пошло... все, что хочешь... Наташа, если бы я не любил тебя

— я бы не сказал... И неужели ты думаешь, что я могу променять тебя на кого-нибудь? Наташа!..

Она вырывалась из его рук и не могла вырваться.

— Да пустите же меня! — наконец почти крикнула она. — И знайте — после этого мне все равно, на кого бы вы меня ни променяли... Только оставьте меня, не прикасайтесь...

А он, огромный Сергей, превратился в совсем жалкого ребенка, не выпускал ее рук. Он встал перед нею на колени, он заглядывал ей в глаза своими добрыми, теперь испуганными глазами и молил:

— Наташа, ради Бога, да не сердись же, перестань!.. Я даю тебе слово... никогда... никогда больше!.. Не будь же злою — прости меня... самому все это так противно... Наташа, прости меня... милая, дорогая, прости!..

Голос его прервался, на глазах показались слезы. Он целовал ее руки. Возмущение, негодование, охватившие было ее, внезапно почти исчезли. Этот большой, сильный человек, стоявший перед нею на коленях, плакавший, целовавший ее руки и умолявший ее о прощении так по-детски, со своими приемами провинившегося ребенка, показался ей жалким.

Она теперь, наконец, в первый раз после того, как стала его женой, поняла его. Ей стало ясным все, и она уже совсем новым голосом сказала ему:

— Хорошо, я прощаю тебя, только оставь меня теперь, не говори — не надо... оставь меня.

Он послушно выпустил ее руки.

Он вышла из кабинета, прошла в спальню и заперла за собою дверь...

И к этому человеку она стремилась за несколько минут перед тем, думая найти в нем охрану, спасение! Быть может, и у нее в сердце созревала решимость признаться ему в чем-то, в том, чего не признавала сама еще хорошо, решимость рассказать ему о своих непонятных муках, о своем волнении и просить у него поддержки, помощи...

Теперь ей хотелось быть как можно дальше от него, а между тем в ней не было против него злобы, в ней не было чувства ревности. Она сейчас же забыла оскорбление, нанесенное ей как жене, она даже не останавливалась на мысли об этой соседке, назначившей мужу

свидание, на которое он поспешил. Ей не было теперь никакого дела ни до мужа, ни до этой соседки.

Она была поглощена собою. Этот неожиданный разговор, это дикое признание Сергея вдруг открыли ей глаза не только на него, а главным образом, на себя.

Она вдруг схватилась рукой за сердце, почувствовала, как оно шибко и больно забилося в груди, ее побледневшие губы шептали:

«Боже, теперь все кончено!.. Теперь уже нет спасения!.. Что же это будет?!»

«Простила, а вот ушла... просит оставить — заперлась!» — жалобно думал Сергей, прислушиваясь, как щелкнула дверная ручка в спальне.

Он вернулся на диван, улегся на нем по-прежнему, закрыл глаза, хотел отдохнуть, задремать, забыть свое смущение и весь этот тяжелый, неприятный разговор. Ему всегда было так легко забывать неприятное. Но теперь он почувствовал, что на этот раз не может; напротив, с каждой минутой ему становилось все более неловко, противно и совестно.

— Охо-хо! Грехи наши тяжкие! — прошептал он.

Но и это любимое выражение не помогло. Он то и дело вертелся на диване и никак не мог удобно улечься.

«Заперлась, что она там делает?»

Он встал и, стараясь осторожно ступать по ковру, подошел к двери, прислушался.

Но ничего не было слышно.



## XVI. ВРАГ СИЛЕН

«Может быть, плачет — я огорчил ее...» Ему стало еще противнее, еще скучнее, но все же не раскаивался он в том, что признался ей. Он никогда не раскаивался в том, что делал, хотя бы это была самая последняя глупость. И к тому же ведь рано или поздно, а нужно было признаться. Его давно уже тяготил обман, бывший всегда между ним и Наташей. Он давно уже порывался рассказать ей про свои «гадости», как называл он в минуты особенной скуки, нападавшей на него, все эти многочисленные и разнообразные любовные похождения.

Пусть она знает и, если может, простит, и тогда станет легче, можно будет прямо ей глядеть в глаза. А если не простит — все же лучше!..

Притворяться перед нею он больше не мог. Перед первой женой своей он всегда притворялся и скрывался, обманывал ее и смотрел ей в глаза, не считая это тяжелым и постыдным, а перед Наташей вот больше и не может!

«Хоть бы она вылечила меня от всего этого! — думал он теперь, прислушиваясь у двери. — Хоть бы сделала так, чтобы прошла моя скука, чтобы не лезло в голову все такое... Ведь все это от скуки... Она еще не понимает, ей нужно рассказать это, объяснить — она умная, Наташа, она поможет... Давно, давно нужно было ей сказать про эту мою скуку...»

— Наташа! — крикнул он.

Но она не отозвалась, она не слыхала.

В смущении он вернулся к дивану и ждал. Может быть, откроется дверь, и она придет, тогда он поговорит с нею.

И, глядя теперь на него, на этого бесшабашного покорителя женских сердец, как он сидел, опустив голову, с усталым взглядом добрых глаз, с лицом печальным и смущенным, на котором теперь резче выступали мелкие, уже кое-где тронувшие его морщинки, можно было почтись его за очень несчастного человека.

Да ведь он и был несчастным. Он рос без призора, без добрых примеров, покинутый отцом и матерью. Брат Николай случайно попал

в старую дедовскую библиотеку, и она спасла его. Но Сергей не попал. Он придумывал себе иные забавы. Он быстро развивался, так как был одарен от рождения могучим, почти богатырским организмом; только развитие его пошло в сторону тела, в сторону мускулов.

Он шумел на весь дом, в отсутствие отца набирал дворовых мальчишек, устраивал всякие военные игры с неминуемыми драками. Потом ему дали учителя гимнастики и фехтования — и все его самолюбие стало стремиться к одной цели: быть всех сильнее, всех ловче. Ловкости большой он не приобрел — руки и ноги были слишком длинные, но зато сила прибывала не по дням, а по часам.

Он играл, как мячиками, пудовыми гирями, ломал железо. Учителя жаловались на его лень, на его неспособность. Товарищи в нем души не чаяли. Рано, чересчур рано начал он жить и чересчур быстро усвоил себе науку разгула. Его чувственная натура выказалась сразу; в двадцать лет он уже прошел всю школу разврата петербургской богатой молодежи.

Он любил женщин, то есть не мог ни на час обойтись без какого-нибудь пошлого приключения, без какой-нибудь легко достающейся удачи. Но он никогда не предавался мечтам об идеальной любви. Он не считал женщин способными возбудить к себе уважение, серьезную привязанность, глядел на них как на какую-то особую породу милых животных, созданную для его удовольствия. При этом он никогда не думал о женщине, а думал о женщинах, потому что как бы красива ни была та, которая остановила на себе его внимание, она ему скоро надоедала, и он уже искал другую, более подходящую к его вкусу. А найдя такую, уже никак не мог успокоиться, пока не овладеет ею.

Так, в один прекрасный день он нашел себе по вкусу и свою первую жену. Он начал ухаживать за нею и, владея вовсе не сознаваемым им искусством нравиться почти без исключения всем молодым женщинам и девушкам, скоро убедился в произведенном на нее впечатлении.

Но этот оказавшийся в его вкусе хорошенький «зверек» был совсем в ином роде, чем его многочисленные приятельницы. Это была светская девушка, из строгой и почтенной семьи; соблазнить ее, завести с ней интрижку было нельзя. Он, недолго думая, женился. Не прошло и полгода после его свадьбы, как он стал изменять ей. Но все

же она ему не опротивела, не надоела, ему только было ее недостаточно, а возвращаться к ней он всегда был рад.

Она действительно оказалась в его вкусе. Она была хороша собою, очень кокетлива, инстинктивно поняла его и всегда умела дразнить его развращенное воображение. Только все же ее искусства не могло хватить надолго — мешали дети. Неизвестно чем бы кончились их отношения, но она, простудившись на балу, схватила горячку и умерла в несколько дней.

После ее смерти он как бы очнулся, почувствовал себя несчастным, в первое время не знал, куда деваться от горя, целые дни проводил на ее могиле, плакал.

Прошел месяц, другой — он ее забыл и снова вернулся к своим легким победам, к вечной погоне за переменной.

И так проходила вся жизнь. Утром служебные занятия, в остальное время дня пирушки с приятелями, карты, женщины — вечная история...

Приятели считали его очень добрым и сердечным. Только в этом добром сердце было много противоречий. Он никогда не жалел обманываемых и покидаемых им женщин, хотя, конечно, некоторых из них он сделал несчастными. А между тем находившийся в нужде человек никогда не уходил от него без помощи. Он готов был снять с себя все, чтобы отдать бедному, готов был задолжать, запутаться, лишь бы выручить приятеля.

Он любил брата, и, когда однажды Николай серьезно заболел, он забыл все, забыл даже только что начавшуюся и обещавшую быть очень интересной интригу, и дни и ночи не отходил от больного, не позволял никому, даже Мари, к нему прикасаться.

Он любил своих детей, хотя, конечно, ни разу не подумал об их воспитании и очень часто забывал о них. Его любовь выражалась в том, что в иные минуты, когда он бывал дома, он начинал с ними возиться, наслаждался их милыми лицами, их смехом, привозил им дорогие игрушки. Когда он брал в свои железные руки кого-нибудь из «ребятишек», как он всегда называл их, он чувствовал неизъяснимое наслаждение прижать их к груди, покрывать поцелуями, вслушиваться в их лепет. Глаза его сияют, он улыбается самой прелестной и почти детской улыбкой. Но проходит минута — и все эти наслаждения забыты, забыты дети, одолевает скука...

Когда Катерина Михайловна доказала ему, что нужно вторично жениться, и указала на Наташу как на самую подходящую невесту, он решился исполнить желание матери. Он всматривался в молодую девушку и не мог найти в ней ничего дурного — она была, бесспорно, прелестна. Но странное дело — эта изящная, грациозная Наташа, на которую все засматривались, которая возбуждала страстные мечты во многих молодых людях, ничего не говорила его воображению. Она почему-то была не из числа женщин по его вкусу.

Он стал законным обладателем этого прелестного, юного и чистого существа. Наташа с каждым днем получала для него все больше и больше значения, ни к одной женщине он не относился так, как к ней, так бережно и даже так робко. Она не была для него «зверьком», созданным на его потеху и удовольствие. Кто она была — он не знал.

Наташа вовсе не оказалась холодной, она готова была привязаться к мужу, лишь бы нашла в нем понимание своих потребностей, своего характера. Но она была так чиста от природы, и он, несмотря на всю развращенность, на весь свой цинизм, той лучшей стороной своего сердца, которая еще в нем сохранилась, понял эту ее чистоту и не смел грубо прикоснуться к ней своими загрязненными руками. Первая его попытка была встречена Наташей таким изумлением, таким испугом, что он невольно отступил и навсегда отказался превратить ее в женщину по своему вкусу.

В конце концов, через два года супружеской жизни Наташа была для него не страстно любимой женой, не подругой, но в то же время она была для него очень близким, очень дорогим существом. Только это существо стояло как-то поодаль от него, как-то высоко, и он продолжал не понимать ее.

Она была кротка, он никогда не видел ее раздраженной, а между тем бывали минуты, когда он ее боялся, ему бывало неловко перед нею. Он испытывал как бы ощущение грязного и раздетого человека — а она была всегда чиста, всегда была одета...

Никогда в нем не заговаривало к ней страстное чувство. Никогда не спрашивал он себя, любит ли ее...

Но он все же любил ее, он благоговел перед нею, только она одна навела его на мысль, что он дурной человек...

Наконец теперь он не выдержал и признался ей в одном из своих многих грехов, и ему так ужасно нужно ее прощение, ее помощь.

А она все сидит запершись и не приходит, не откликается... Он не смеет настаивать...

Он еще раз прошептал:

«Охо-хо! Грехи наши тяжкие!»

Потом встал с дивана, взял шляпу и вышел в сад.

Он видит — вдали бегают дети, невдалеке от них на скамье, в тени огромного дуба, сидит Рибо. Широкополая соломенная шляпа скрывает его лицо, но по мерному покачиванию этой шляпы можно заметить, что француз дремлет.

«Вот болван! — подумал Сергей. — И ведь он никогда, никогда не занимается с детьми как следует!.. Я давно замечаю... Они его в грош не ставят, смеются над ним...»

Но он не вспомнил, что сам не раз подавал им пример потешаться над французом. Ему и теперь захотелось подкрасться к нему и пугнуть его на потеху детям. Впрочем, он удержался и прошел мимо, в узенькую, совсем заросшую акациями аллею, куда и в самую жаркую полуденную пору не проникало солнце.

Его мысли перенеслись внезапно к утреннему посещению молоденькой соседки. Он вспомнил все подробности этого свидания...

«Пухлая деревенская дура! — почти громко проговорил он. — И стоило мне только мигнуть — и она уже рада... и клянется в вечной любви... Ах и ох!.. а сама... я думаю... брр! скверно!.. и к чему это я, зачем она мне?.. Нет, довольно, все одно и то же... Все они — одна как другая... все это пошлость...»

«Нет, Наташа, я больше не буду!.. — закончил он, мысленно обращаясь к жене. — Не буду...»

Вдруг он остановился. В самой гущине сплетшихся веток, на низеньком глубоком садовом диване перед ним сидела Лили. На ней было хорошенькое белое батистовое платьице с голубыми бантиками. Она сидела, положив ногу на ногу, и из-под вышитых оборок заманчиво выглядывали ее маленькие, кокетливо обутые ножки. В руках она держала книжку и, по-видимому, внимательно читала.

Среди окружавшей зелени ее свежее, хорошенькое лицо с длинными опущенными ресницами, с пухлыми яркими губами, с

черной родинкой, задорно приютившейся около самого уголка рта, казалось еще милее.

Внезапно вспыхнувшая краска залила щеки Сергея, глаза его блеснули. Он затаил дыхание, подкрался к Лили...

Она слабо вскрикнула от неожиданности и покраснела. Он сел рядом с нею, улыбнулся ей, засматривал ей прямо в глаза смелым, дерзким, смеющимся взглядом.

— Что же вы тут подельваете, кошечка? Какую это книжку читаете? Покажите!

Он стал брать у нее книгу и вместе с книгой заодно уж взял и ее маленькую, беленькую, с голубоватыми жилками руку.

— Сергей Владимирович, зачем вы... пустите! — пропищала Лили.

Она сделала было слабое движение, чтобы высвободить руку, но он не выпускал. Она перестала сопротивляться.

В этой темной аллее было жарко. Где-то высоко над головою жужжали пчелы, где-то чирикнула и вдруг замолкла птица.

Как это произошло — ни Сергей, ни Лили не знали — но ее голова была на его груди, и он покрывал жадными поцелуями ее горячие щеки, и шаловливую родинку, и полуоткрытые влажные губы.

А она среди этих поцелуев умирающим голосом шептала:

— Сергей Владимирович!.. Ах, Сергей Владимирович!.. Зачем вы...

— Лили! — невдалеке раздался звонкий голос Сони.

Сергей вскочил и, широко шагая, скрылся в глубине аллеи.

Теперь он ни о чем не думал, его грудь высоко поднималась, в виски стучало. Он шел все скорее и скорее.

Вот ему послышалось, что где-то вдали как будто кто-то плачет. Но он не обратил внимания и шел дальше.

## XVII. ИЗ ДВОРОВЫХ

Кто же это плакал?

За частыми кустами и деревьями, которыми была обсажена дорожка, выходящая из темной аллеи, начинался отлогий спуск. Внизу этого спуска поднимал свою широкую вершину столетний дуб, а под дубом и вплоть до быстрого ручейка зеленели, а под осень краснели своими ягодами кусты бузины. Ствол гигантского дуба и эти кусты образовывали нечто вроде низенького грота. В этот грот была протоптана тропинка, в гроте лежал коврик, из камней было сделано что-то похожее на скамейку.

Все это было делом рук маленького Володи, который и называл навес под дубом гротом.

Это было очень укромное местечко парка, сюда никто почти никогда не забирался, а дети так даже боялись этого дуба, потому что Володя рассказал им про него разные страсти.

Он рассказал, между прочим, что в дупле этого старого дуба живет лесовик, что поздно вечером и ночью в гроте горит таинственный огонечек.

И, рассказывая все это своим убежденным, серьезным тоном, он сам верил и в лесовика, и в огонечек. Он ни за что бы не отправился поздно вечером в свой грот, но днем — это другое дело — это было его любимое место, тем более что он знал, что может, забравшись сюда, спокойно пробыть здесь сколько ему вздумается; никто не увидит, никто не потревожит, никто не помешает ему мечтать и придумывать разные волшебные и интересные истории.

Зимой ему очень не доставало грота, и хотя в старом горбатовском доме, на Мойке, у него тоже были свои любимые местечки, но все же грот оказывался незаменимым.

Здесь Володя переживал лучшие минуты своей странной детской жизни. Здесь он яснее, чем где-либо, воображал себя героем всяких невероятных приключений, воплощался в созданных его же горячим детским воображением чудодеев.

Вот и теперь он сидел в своем гроте; но не один. Рядом с ним была девочка лет двенадцати, и ее-то горький плач слышал Сергей

Владимирович, уходя из темной аллеи.

Это была простая девочка, хотя и одетая гораздо заботливее и наряднее, чем вообще одевались девчонки знаменской дворни. На ней было ситцевое платье с открытым воротом и коротенькими рукавами. Ее голую шею прикрывал несколько вылинявший, но все же шелковый розовый платочек; ноги были обуты в стоптанные, но все же прунелевые башмачки. Черные, как смоль, густые волосы ее были заплетены в крепкую длинную косу, перевитую ленточкой.

Девочка эта была поразительно хороша собою. Ее заплаканные черные глаза с длинными ресницами невольно останавливали на себе внимание. И особенно хорош был ее рот, безукоризненно очерченный и в то же время имевший в своем выражении что-то смелое, решительное, даже резкое. Но в выражении ее лица вовсе не замечалось ничего злого; теперь оно говорило только о большом горе, хотя время от времени ее тонкие брови сдвигались, и мрачная тень пробегала по всем чертам.

— Да перестань же, не плачь, Груня, — повторял Володя, серьезно и печально глядя на нее.

Но у него самого вид был встревоженный.

— Перестану, перестану, милый барин, только дайте немножко успокоиться, дайте выплакаться! — сквозь рыдания отвечала девочка и, видимо, делала над собой усилия, чтобы остановить рыдания.

Наконец ей это удалось. Она вынула из кармашка своего платья платок, свернутый комочком, вытерла глаза и постаралась улыбнуться Володе.

Она была чудно хороша в эту минуту. Он наклонился к ней, обнял ее и поцеловал, а потом погладил по голове.

И все это он сделал как старый, рассудительный человек, успокаивающий ребенка.

— Ну вот, так-то лучше, — проговорил он тоже старым голосом, — зачем даром плакать... И теперь расскажи ты мне все, как было, а то я ничего не понимаю. Оболгали! Наказали!.. Кто? Как? За что? И как ты сюда попала?.. Даже напугала меня... вхожу — знаю — никого здесь нет, а ты вдруг лежишь будто мертвая!..

— Ах, да лучше мне бы и быть мертвой! — прошептала девочка. — Вся жизнь опротивела...



— Что ты? Что ты? — испуганно воскликнул Володя и даже замахал руками. — Зачем ты так говоришь? Зачем тебе умирать?.. Не надо...

— Да жить уж больно обидно, милый барин, никто-то меня не любит... прежде ласкали и все такое... Как барыня прогнала меня от себя, так всякий норовит как бы толкнуть, ущипнуть. Еще вчерась Анисья так, зря проходила мимо — да как щипнет! Так я аж на пол покатила!.. Во!.. глядите... во синяк какой!..

Она завернула коротенький рукав своего платья и показала Володе у самого плеча огромный темный синяк.

— А сегодня вот такое...

— Да что такое?

— Маланья убирала у старой барыни комнату, да, видно, разбила флакончик... Барыня как увидела — спрашивает: кто это сделал?.. А она на меня и сказала. А я, видит Бог, в барынины комнаты после того и не заглядываю, мне и мимо-то них идти боязно... А Маланья говорит: я разбила, совести у нее нет!.. Призналась бы барыне, может быть, та ее и простила бы, а как сказала на меня, сейчас это барыня велит меня звать... Потащили... а они как крикнут: «Ты это, мерзавка, разбила?» Я ни жива ни мертва... Ну как я на себя возьму такое, когда и в комнатах-то не была... Я говорю: нет, ей Богу нет, и не входила! А они ко мне: «А говорят, так ты еще и запираешься, лжешь... розог!» Маланья злющая и рада, тотчас притащила... и уж секли меня, секли, у барыни же, сама барыня смотрела. Как вышла я оттуда — не помню, пустилась бежать сама не знаю куда, и вот сюда прибежала... упала и лежу. А тут вы, милый барин...

Голос Груни оборвался, она опять заплакала и сквозь слезы проговорила:

— Только вы меня и жалеете...

Она схватила руку Володи и стала целовать ее. Он не отнимал руки, он глядел на нее совсем растерянно, широко раскрыв глаза и нервно раздувая свои тонкие ноздри. Его нежные щеки побледнели, и временами он слабо вздрагивал.

— Высекли! — не то с изумлением, не то с ужасом повторял он. — Больно?

Груня перестала плакать, глаза ее сверкнули, она закусила свои хорошенькие губы.

— Больно! — протянула она. — Да что в том, я всякую боль могу вынести, и если бы поделом, а то ведь задаром!.. Разве я врала когда-нибудь? Разбила бы и сказала бы как в тот раз. а то за что же?.. Ах, Володенька, голубчик вы мой, горит вот у меня сердце... не могу я, не могу!.. Все выносила, все, а теперь не могу... Так уже и знаю, наверно знаю, что кончено теперь...

И, говоря это каким-то не своим голосом, она вдруг так изменилась, сделалась такой страшной, что Володя даже с испугом от нее отшатнулся.

— Что ты говоришь? Что кончено?

— Кончено... не прощу я этого... не могу... покончу... покончу...

Она вскочила на ноги, потом опять упала, стала бить себя в грудь, рвать на себе волосы.

Володя старался привести ее в себя, успокоить. Но она его не слушала, она его не видела. С ней сделался припадок, она была в исступлении.

В это время издали раздался звон колокола, призывающий к обеду.

— Груня, Груня, — проговорил Володя, — очнись, слушай меня... Я должен идти, а ты останься здесь, успокойся, жди меня, я прибегу после обеда и принесу тебе есть... Поговорим, я подумаю, я попрошу маму Наташу, может быть, мы сделаем так, что тебя перестанут обижать... Груня, слышишь — жди меня здесь... Слышишь ты меня?

— Слышу! — глухо прошептала она и упала головой на коврик.

Он вылез из грота и побежал что было сил, чтобы не опоздать к обеду, потому что за это с него строго взыскивали. А главное, если бы он опоздал, его бы не выпустили после обеда гулять и он не мог бы вернуться к Груне.

Откуда же взялась эта Груня?

Она с не очень давнего времени оказалась в штате знаменской дворни и принадлежала собственно Катерине Михайловне.

Случилось это таким образом: по возвращении из-за границы в Петербург Катерина Михайловна объездила оставшихся в живых и находившихся в столице своих прежних знакомых; в том числе побывала она и у княгини Нещерской, приятельницы ее молодости, с которой она когда-то начала свои выезды в свет. Теперь эта княгиня Нещерская была расплывшаяся старуха, давно выдавшая единственную дочь замуж, схоронившая мужа и жившая в

собственном, полном, как чаша, доме. Старые подруги встретились хорошо, вспомнили молодость и стали нередко навещать друг друга. Раз как-то, во время визита к княгине, Катерина Михайловна заметила в ее доме маленькую прехорошенькую девочку-служанку.

— Это откуда такая хорошенькая девчонка? — спросила она. — И такая расторопная... услужливая!..

— Ах, ma chère, — отвечала княгиня, — это целая история и даже прегрустная. Вот и ты обратила внимание на ее рожицу. N'est ce pas — très jolie!.. и при этом rien de commun... хотя и Грунька... Графа Михаила Петровича, чай, помнишь?

— Как же, как же! Ну так что же?

— А то, что каким был, таким и по сие время остался... седой совсем — да ведь Груня ему с родни приходится. Мать ее, их крепостная, тоже красивая была. Я ее видела. Она у него в Волковском лет семь на особом положении жила... И вдруг наезжает графиня, а граф-то оплошал, остался в Петербурге, да, может, и забыл про свою любимицу. Узнает все графиня, ну, натурально из себя вышла... Мне стороной рассказывали, не знаю, правда ли, говорят, девку эту, Грунину мать, засекала она до смерти... Ну, этого я там не знаю, только умерла девка, а девочку графиня привезла в Петербург. Было у них что-то с мужем крупное, приезжает ко мне граф, мы ведь старые друзья с ним, и просит: «Возьмите девочку, а то жена убьет ее...» Пренеловкое было мое положение, с графиней тоже ссориться вовсе не хотелось... Как уж там он ее уговорил — не знаю, только вдруг и она мне также предложила эту Груню в подарок. С тех пор и живет у меня, пятый год. Шустрая девчонка, мигом читать и писать выучилась и все понимает, прислуживает как никто, только дикое в ней что-то, иной раз даже как будто на нее находит. Я и доктору показывала — говорит: «Ничего, пройдет со временем...»

Катерина Михайловна задумалась.

— Мне давно хотелось бы иметь при себе такую вот девочку. В нашей дворне есть их немало, да все такие уроды, что противно, а я терпеть не могу, чтобы мне некрасивая прислуживала. Вот бы такую девочку найти!

— Друг мой, ты к ней и не подбирайся, — сказала княгиня, — не отдам я ее тебе.

— Я и не прошу.

Но раз какая фантазия пришла в голову Екатерине Михайловне, она уж не могла успокоиться, ее не исполнив. Если бы княгиня Нещерская сама предложила ей Груню, она, может быть, даже и отказалась бы; но так как та объявила, что не намерена уступать ее, Катерина Михайловна нет-нет да и вспомнит про Груню.

И каждый раз, как девочка попадалась ей на глаза у княгини, она ей все больше и больше нравилась. Кончила она тем, что стала подъезжать к приятельнице:

— Уступи да уступи! Продай...

Княгиня даже обиделась.

— Стану я ее продавать, когда сама даром получила. И потом ведь граф именно мне ее отдал, ведь как там ни на есть, а все же она не совсем холопка!..

Но граф этим временем взял да и умер, не помышляя о бедной Груне. И вместе с этим княгине Нещерской смерть как приглянулась хорошенькая обезьянка, привезенная Катериной Михайловной из-за границы. Кончилось тем, что произошел обмен — княгиня получила обезьяну, а Катерина Михайловна — Груню, на правах полной, неоспоримой собственности, удостоверенной формальным образом.

Первое время Груне недурно жилось у новой барыни. Катерина Михайловна к ней благоволила, приставила ее к своей особе, рядила ее почти как барышню и всем показывала — какая, мол, красавица! И при этом рассказывала ее историю.

Но, несмотря на эту историю, несмотря на происхождение Груни, никому из домашних не пришло в голову вывести ее из положения крепостной служанки, позаботиться об ее воспитании, подготовить ей более или менее сносную будущность. Не Катерина Михайловна, конечно, — но ведь и Наташа, и Николай, и Сергей, и даже Мари, наверно, захотели бы об этом позаботиться, если бы им только пришло в голову подумать о Груне. Но, хотя и добрые люди, они о ней не подумали, не тем все были заняты — свадьба Сергея, положение денежных дел, у каждого свои заботы, тревоги... Одним словом, остановиться на Груне никто пока не догадался...

Катерине Михайловне скоро надоело возиться с «девчонкой» и показывать ее знакомым. Прошло два-три месяца — и хотя Груня продолжала носить сшитые ей хорошенькие платья, но ее уже никто не

видел. Она жила в девичьей, являлась в комнаты Катерины Михайловны только для исполнения своих обязанностей.

В девичьей ее не любили за то, что она имела вид барышни, и за то, что была бойка и не очень-то давала себя в обиду, а главное, за мимолетный фавор у старой барыни.

После первых кратких месяцев баловства Груня почувствовала себя очень несчастной. Недружелюбное отношение к ней девичьей, перемена обращения с нею Катерины Михайловны ее озлили. Она глядела теперь зверьком. Она стала совсем дикой, от всех пряталась и, главное, пряталась от барских детей. А Катерину Михайловну она просто ненавидела всею силой своего детского, но уже много перенесшего и понимавшего сердца.

Когда Катерина Михайловна вспоминала о ней, призывала ее в свои комнаты, она шла как на пытку.

Из всех домашних она любила только Володю. Они сошлись еще в прошлом году, в том же Знаменском, в глубине парка, куда и Груня и Володя убегали думать свои думы. Только думы их были совсем различные. Как бы то ни было, они встречались часто. Груня отбирала для милого, доброго барина, как и в глаза и про себя называла Володю, самые спелые ягоды земляники, самые лучшие найденные ею цветы. Иногда по целым часам они бродили между деревьями или, уставши, сидели на сочной траве и беседовали. Их разговоры были странные и нисколько не относились к окружающей их жизни, к их собственному, настоящему существованию. Они часто рассказывали друг другу самые невероятные, изумительные истории, до которых каждый из них додумывался в своем одиночестве. Они передавали друг другу планы относительно будущего.

Володя говорил Груне о том, как он, когда будет большой, поедет путешествовать...

А Груня уверяла Володю, что когда она вырастет, то пойдет по Святым Местам, о которых рассказывала в девичьей старушка Пафнутьевна, как потом она станет монашенкой... А то вдруг и Святые Места, и монастырь забывались: Груня становилась актрисой. Она была один раз в балете и произведенное им впечатление иногда поднималось снова.

И оба они, несмотря на то что так часто меняли свои планы, неизменно верили в их осуществление.

Но вот над бедной Груней стряслась беда. Это было на второй или на третий день их приезда в Знаменское. Она, убирая спальню Катерины Михайловны, разбила дорогую статуэтку. Катерина Михайловна вышла из себя, собственноручно избила девочку и на два дня велела ее запереть в чулан на хлеб и на воду.

Из этого чулана Груня вышла такая худая и бледная, как будто целый месяц пролежала в сильной болезни. В эти два дня в ней окончательно окрепла непримиримая ненависть к Катерине Михайловне. Эта ненависть наполняла ее всю, только о ней она и думала. Она окончательно стала избегать всех, даже Володю. Напрасно ждал он ее в парке, напрасно искал он ее — ее не было видно.

А сегодня опять с нею беда.

После обеда Володя пошел в буфетную, набрал там сколько мог съестного и, крадучись, пробрался в парк, к своему гроту. Но Груни там не было. Он обегал все закоулки, где с нею встречался, где она любила бродить, но нигде ее не нашел. Вернулся домой, прошел в девичью — и там ее нет. Пропала Груня, да и только.

## XVIII. РУСАЛОЧКА

Хотя Груня утвердительно кивнула головой Володе, когда он уговаривал ее дожидаться его в гроте, но сделала это бессознательно. Туман носился перед нею, она ничего не видела, ничего не понимала. Вся грудь ее горела, а по телу пробегала дрожь; не то тоска, не то злорадия, страшная и мучительная, сосала ей сердце. И после того как Володя ушел, она долго и ожесточенно каталась по коврику, постланному в гроте, и билась головой о землю. Ее косы распустились, густые черные волосы беспорядочно разметались по плечам, с которых она в порыве бешенства сорвала розовую косыночку.

Наконец ее мучительный припадок стал как будто стихать. Она поднялась на ноги, вышла из грота и остановилась. С распущенными, всклокоченными волосами, еще более оттенявшими бледность ее будто из мрамора выточенного лица, с горящими глазами, она была просто страшна. Казалось, что это не человек, не живая девочка, а одно из прелестных и в то же время ужасных созданий народной фантазии, одно из тех видений, которые снятся наяву потрясенному воображению духовидца.

Постояв неподвижно несколько минут, она спустилась к ручью и пошла по его берегу, очевидно, не зная сама куда идет. И долго так шла она, все более и более углубляясь в чашу. Ручей, едва струившийся среди травы, вблизи от знаменского дома, чем дальше, тем все расширялся, углублялся, превращался почти в речку с быстрым течением, с прозрачной водою, сквозь которую было видно, как на ладони, чистое песчаное дно. Да и местность тут совсем изменялась. Сюда редко кто заходил — так было далеко от дома. Здесь парк никогда не расчищался.

По временам попадались болота. Громадные дубы и клены, окруженные непроходимым кустарником, застилали небо и порою наклонялись над ручьем.

Груня все шла по берегу, не раз попадая в болото и с трудом высвобождая из вязкой, с выступающей водой, трясины свои ноги.

Наконец она остановилась и как бы очнулась. Она поглядела кругом, увидела старое, давно когда-то упавшее и теперь почти

сгнившее дерево, перекинутое как хрупкий, ненадежный мост через ручей. Она присела на это дерево почти над самой водою, охватила рукой ободранный, совсем почти мягкий и пахнувший грибами сук и стала глядеть в воду.

Вода бежала, бежала все куда-то. И начало казаться Груне, что она вместе с водой этой стремится все дальше, вперед и вперед, в непонятную даль. Володя говорил ей, что ручей этот бежит в реку, а река катится в море, сливается с океаном и со всех сторон омывает землю...

Вот и она теперь мчится, мчится вместе с ручьем в реку, вместе с рекой в море, в океан, кругом всей земли... А там дальше что же? Опять назад? Опять сюда?..

И она совсем очнулась. Она чувствовала большую слабость во всем теле, ей казалось, что она вся сломана на мелкие кусочки. Все-то болит, все ноет... и к тому же так стало жарко...

Она быстро разделась и ловким, грациозным движением спрыгнула со старого дерева в воду. Теперь она уже совсем-совсем стала похожа на хорошенькую и страшную русалку.

Ручей был глубок в этом месте, но она еще в первые детские годы в деревне, при матери, научившись хорошо плавать, ныряла, как рыбка, то совсем пропадая под водою, то вдруг показываясь вся. Стройная, нежная, с эластичными и сильными членами — она была прелестна. Но на тонкой и прозрачной коже ее теперь ярко обрисовывались следы вынесенных ею побоев и щипков...

Ее слабость, боль во всем теле как будто вдруг прошли. Вода освежила, возбудила силы. Ей было хорошо. И, выбрав место, где вода была ей всего по пояс, она встала на ноги, в мягком песке, и опять смотрела на воду, которая неслась к ней навстречу и расступалась в обе стороны от прикосновения к ее телу и уносилась дальше. Она чувствовала, как быстрое течение ее нежно подталкивает, будто тихо, незаметно хочет увлечь за собою.

Она опять легла на воду и не шевелилась. Течение мало-помалу стало уносить ее. Вот уже сгнившее дерево осталось сзади. Хорошо так лежать и плыть, почти не шевелясь, только время от времени делая легкие движения то рукой, то ногой. Хорошо!..

Она опрокинула голову так, что ее длинные волосы во все стороны развилась в воде и плыли за нею. Она сложила на груди руки



и глядела наверх, туда, где из-за высоких ветвей проглядывало безоблачное небо. Тишина кругом стояла торжественная, только время от времени комары жужжали над водою да две беленькие бабочки, неслышно трепеща в теплом воздухе, мчались то вниз, то вверх, то разлетаясь, то слетаясь.

Хорошо!.. Ну что же... и плыть, плыть долго, долго, до самого вечера, пока хватит сил... А там... там уйти в воду, захлебнуться, умереть!.. Умереть лучше, чем жить...

И ей так ясно представилось: солнце давно зашло, настала ночь, такая темная, свежая. Она далеко-далеко, ручей теперь уже река, широкая, черная река, берега далеко — до них не доплывешь, крикнуть — никто не слышит... Дно ушло — его не достать, да и что там, на этом дне: тина и грязь, переплетшиеся, скользкие стебли длинных, странных растений, среди которых копошатся разные водяные гады. И вода стала такая холодная; небо так далеко — и холодно, неприветно мигают на нем звезды.

Вот она чувствует — что-то присасывается к ее ноге, а с другой стороны кто-то щиплет — то пиявица, то черный рак... Она содрогается от омерзения и ужаса. Она отрывает противных животных от своего тела. Но на их место приплывают другие...

Она спешит, плывет; но силы покидают ее. Черная, холодная вода вливается ей в рот, в уши... Мрак, холод, страшный, отвратительный холод...

Груня испуганно вскрикнула, быстро повернулась на грудь и изо всех сил поплыла к старому дереву. И эта прозрачная вода, и это чистое, песчаное дно показались теперь ей страшными. Она не выдержала, вышла на берег и побежала к тому месту, где оставила свое платье. Она поспешно оделась, прошла дальше от ручья, через древесную чашу и почти упала на траву посредине большой полянки, озаряемой косыми лучами склонявшегося к закату солнца. Теперь она снова почувствовала прежнюю слабость, и ей было холодно от долгого купанья, так что даже стучали зубы. И опять прежний туман стал наплывать на нее. Опять жгло ей сердце, и загоралась в груди злоба, душила ее, искажала ее черты...

«Нет, нет, не прощу ей, погублю ее!..» — твердила она как в бреду.

«Погублю... погублю!... - повторяла она с диким наслаждением. — За что она меня?.. Что я ей сделала?.. Зачем она

взяла меня от княгини?.. Там никто не мучил, не бил задаром... хотя и там не любили. Никто, никогда-то не любил меня... Только мама... мама!..»

Она вся задрожала и подняла вверх свои огромные глаза, из которых вдруг брызнули слезы.

«Мама!» — простонала она еще раз.

И ей вспомнилось вдруг, так живо и ясно, как будто все это сейчас было — ее первые годы, ее детская жизнь в другой, далекой деревне, в маленьком домике среди большого старого сада, где росли яблони, груши и вишни, где рядами стояли ульи и жужжали пчелы.

Она как живую увидела свою маму, такую полную, белую, красивую, в шелковом сарафане с позументами. Мама была добрая, ласкала маленькую Груню, кормила ее сладостями и пряниками, вкусными сахарными петушками. Ее никогда не наказывали, ей позволяли жить как она хотела.

Она вспомнила, как в летнюю пору рано-рано вставала со своей маленькой постельки и выбегала в курятник. Это было ее любимое место, и все эти петухи и куры были ее дорогими друзьями. Завидя ее издали, с веселым квохтаньем они спешили к ней, зная, что она несет им корм. Она кормила их из своих рук, возилась с ними по целым часам, пока мать не приходила за нею и не звала ее пить чай. Тогда она бросала кур и бежала в горницу. А в горнице уже кипел самовар; на столе, покрытом чистой цветной скатертью стояли густые сливки и вкусные крендели и баранки. А вечером пригоняли коров и овец — опять было веселье и радость. Она вспомнила своего любимого телячка, такого смешного, пушистого, с мягкой и влажной мордочкой, которую она часто целовала.

И так шли день за днем.

Но вдруг Груня с ужасом, с замиранием сердца вспомнила: она была во дворе и играла с курами, вдруг из домика их раздался крик, пронзительный крик. Она узнала голос матери. Ничего не понимая, в страхе она вскочила и побежала, ворвалась в горницу и видит: мать на полу, на коленях, а перед нею какая-то барыня... Потом барыня ударила маму. Груня так испугалась, что будто окаменела, и стояла, не шевелясь, у двери, глядя во все глаза. Барыня с красным, злым лицом, что-то кричала и бранилась.

И вот Груня слышит, слышит как будто теперь, непонятные слова мамы:

«Матушка барыня, да ведь неволею, разве я могла противиться, что же бы я поделала?.. Руки на себя наложить хотела, так и то не дали, с глаз не спускали!..»

Так и звучат перед Груней эти слова мамы, последние слова, которые она от нее слышала. Потом уже у нее путаются воспоминания. Пришли какие-то люди, схватили ее, потащили в большой дом. Она рвалась к матери, но ее не пускали и прибили, чтобы она не шумела.

Так прошло несколько дней. Потом вдруг явилась старушка Анна, которую и прежде Груня знала, и повела ее в их домик. Груня так обрадовалась, вошла с Анной в горницу — и что же: в горнице стоит гроб и лежит в нем ее мама. Кинулась к ней Груня, ничего не понимала.

«Мама, да вставай же! Да открой глазки!..»

Но мама не вставала, мама была холодная. И потом унесли маму...

Опять злая барыня с красным лицом... Потом дорога, долгая дорога... Петербург... Чужие люди, злые, сердитые, а барыня всех злее и сердитее...

Потом перевезли ее к княгине. Ей было тяжело и тоскливо, она часто по ночам просыпалась и все думала о своей маме... Но ей хотелось быть доброй, хотелось любить этих чужих людей и угождать им, и она им угождала, говорила с ними ласково. Но ее не любили, отгоняли. Только, бывало, позовут к княгине, там разные господа... Смотрят на нее, иной раз кто-нибудь и по головке погладит. Говорят что-то, про нее говорят, но что — она понять не может...

Нет, как ни хотела, а не могла она любить людей, потому что они ее не любили, потому что никто ни одного раза не вспомнил про ее маму, потому что отняли у нее и маму, и домик, и кур, и коров, и овец, и любимого теленочка...

А барыня Катерина Михайловна! Зачем же она ласкала ее, рядила ее в первое время? Зачем она ее теперь так измучила и велела другим мучить?

Груня была уверена, что Катерина Михайловна именно велела ее мучить и преследовать.

«Погублю, погублю!» — опять прошептала она, сверкнув глазами и нахмутив брови, с диким и злым выражением в лице стала что-то обдумывать.

## XIX. ДОБИЛИСЬ

Груня вернулась в дом только поздно вечером. Маланья, старшая горничная Катерины Михайловны, которой бедная девочка давно уже отдана была в полное распоряжение, сейчас же на нее накинулась.

Маланья эта была очень злая старая дева, лет пятидесяти, высокая, худая, с правильными чертами лица, с большими и холодными серыми глазами. Она чванилась своей добродетельной жизнью, то есть тем, что никогда и никто ничего «этакого» не мог сказать про нее, что она с юности отличалась недоступностью и отгоняла от себя всех без исключения ухаживателей. Она называла всех мужчин «мерзостью» и чувствовала к ним истинное отвращение — такова уж была ее природа.

Но если ничего «этакого» за нею и не водилось, зато водилось многое другое. Она ненавидела не одних мужчин, а и весь род человеческий. И подвести кого-нибудь под барский гнев, выследить чью-нибудь провинность, оклеветать кого-нибудь, одним словом, нанести зло ближнему — было ее высшим наслаждением. Хитрая и ловкая, она всегда добивалась того, что господа были ею довольны. Она с детства была взята в барские хоромы, прислуживала еще у покойной Татьяны Владимировны Горбатовой, затем перешла к Катерине Михайловне.

По отъезде барыни за границу Маланья осталась в петербургском доме без всяких обязанностей, потом выпросила у Владимира Сергеевича разрешения, конечно, за известный годовой оброк, служить на стороне. Перебывала она во многих петербургских богатых домах, скопила, как говорили, порядочную сумму денег, просилась на волю, но ее почему-то не отпустили, несмотря на предлагаемый ею большой выкуп.

Теперь, по возвращении из-за границы, Катерина Михайловна вдруг ее вспомнила и потребовала. Маланья не смела ослушаться, вернулась. Она рассыпалась мелким бесом перед Екатериной Михайловной, целовала ее руки, уверяла, что для нее «небесное блаженство» служить матушке-барыне. Но в то же время, конечно, всей душой она возненавидела эту матушку-барыню за то, что та

лишила ее заработка и снова, на старости лет, заставила служить даром.

«Уж насолю же я, насолю!» — шептала про себя Маланья.

Она втерлась в милость к Катерине Михайловне, скоро изучила все ее привычки, все ее капризы, знала наизусть, где и что у нее хранится, и если бы Катерина Михайловна сама также хорошо знала отчет всем своим вещам, то давно могла бы уже убедиться, что у нее время от времени пропадает то то, то другое и даже деньги. Но Маланья не попадалась, она отлично знала, что и когда можно стянуть...

Прислуге от нее просто житья не было. А мучить бедную Груню сделалось для нее потребностью...

— А, таки явилась! — крикнула она, когда девочка, дико озираясь, прокралась в девичью. — Где шлялась? Где пропадала?

Груня задрожала и хотела было выскользнуть из девичьей, но Маланья ее схватила за руку и стала трясти, повторяя:

— Да говори же, негодница, где шлялась?

— Нигде, — наконец ответила Груня, — в лесу заснула...

— В лесу! Кто же тебе позволил в лес бегать? Ты работать должна!

Но вдруг она как будто усмирилась и более спокойным голосом спросила:

— Что же, ты так целый день и не евши?

— Да, — проговорила Груня.

— Голодна, чай?

— Голодна...

— Ну, так вот... Пойдем!

Она потащила Груню из девичьей через длинный коридор и, прежде чем бедная девочка могла прийти в себя и очнуться, толкнула ее в совсем темный чулан и заперла за нею дверь на ключ.

Это был маленький грязный чулан, куда истопники складывали дрова и уголь, где никогда не мели и никогда не проветривали. Теперь дров в нем не было, но зато было столько пыли, что при движении воздуха, произведенном быстро растворенной и захлопнутой дверью, Груня в первую же минуту стала чихать. Она стояла долго неподвижно в крошечной темноте, окружавшей ее, среди этой поднявшейся пыли, проникавшей ей и в нос, и в глаза. Потом она ощупью нашла дверную

ручку, попробовала, стала трясти дверь изо всех сил, но дверь, конечно, не поддавалась.

Она упала на грязный пол и осталась неподвижной. Маланья несколько раз проходила мимо этого чулана, останавливалась и даже прислушивалась, но ничего не могла расслышать.

— Дрыхнет! — решила злая старуха.

Но Груня не «дрыхла», она не заснула ни на минуту всю ночь, и ни одна слеза не выкатилась из глаз ее. Решимость, бывшая до сих пор только еще в ее озлобленном и измученном сердце, перешла теперь в сознание. За эту ночь Груня обдумала план действий.

Когда утром ее выпустили из чулана, она была похожа на мертвеца — ни кровинки не было в лице ее, глаза казались стеклянными. Она упорно молчала и ходила как будто во сне. Едва проглотила кусок хлеба, едва омочила губы в ковше с водою.

Ее усадили за работу. Она примостилась к открытому окну и стала прилежно шить, только время от времени выглядывая в окошко. Она все поджидала — не пройдет ли Володя, и вот он, действительно, показался. Он подбежал к окну, заглянул. В девичьей было много народу, он не хотел говорить с Груней при посторонних и только объяснил ей:

— Уезжаю до завтра!

И быстрым шепотом добавил:

— Скажу все бабушке... Он добрый...

А затем спрыгнул с низенького каменного фундамента под окошком и убежал.

Щеки Груни вспыхнули. Она уже слышала в девичьей, что Володя с Гришей и с французом должны ехать в Горбатовское, что они там будут ночевать и на заре удить рыбу в горбатовском озере. Это было решено еще несколько дней тому назад, но она не знала наверно, состоится ли поездка сегодня, и все утро только и думала об этом.

«Так это верно, они уезжают нынче, он сам сказал!..» Глаза ее вспыхнули, она еще прилежнее принялась за работу и даже не отрывалась от нее, чтобы глядеть в окно. Однако она все же чутко прислушивалась и следила за тем, что происходило в доме.

Вот господа позавтракали и приказано закладывать лошадей. Скоро из сарая во двор к барскому подъезду выехала коляска, потом другая и, наконец, запряженная четверкой длинная крытая линейка.

Вывели двух оседланных лошадей. Отсюда, из окна девичьей, все видно. Господа стали выходить на крыльцо.

Теперь Груня делала только вид, что работает, а сама из-под длинных ресниц своих то и дело поглядывала по направлению к господскому крыльцу. Она видела, как Катерина Михайловна уселась в коляску с Наташей, в другую поместилась Мари с англичанкой и Соней. Все дети, Лили и француз заняли по обе стороны линейку. Николай и Сергей уже были в это время верхами, и скоро вся эта процессия тронулась и выехала в ворота.

Минут пять в доме царило глубокое молчание, а затем, будто по данному сигналу, все оставшиеся люди, несмотря на свою многочисленность, если и видные при господах, то почти неслышные, теперь вдруг шумно заявили о своем существовании. Большая девичья мгновенно преобразилась: ее наполнили молодые лакеи, конюхи, поварята. Раздались звуки гармоники, начался веселый смех, визг. Затем часть веселого общества осталась в девичьей, а другая направилась в сад, к качелям, и уже оттуда теперь доносились смех и визги.

— Ну, началось бесовское торжество! — пробурчала Маланья. — Вот господа как вернутся с дороги да накроют вас, то-то будет потеха!

— Небось, не вернутся, матушка Маланья Егоровна, — ответили ей, — а когда же повеселиться, если не на свободе? Ведь таких праздничков не много бывает, в кои-то веки такой денек выдается!..

— Уж вы не серчайте, голубушка Маланья Егоровна, — ластились к ней девушки.

— Эх, да что мне, плевать мне на вас да на ваше веселье поганое! — объявила Маланья, действительно, плюнула и ушла из девичьей.

— Провалилось воронье пугало! — напутствовали ее, но, конечно, только тогда, когда она не могла уже слышать. — Ведь вот женщина — уйдет, так ровно камень с плеч свалится! И как это, прости Господи, таких кикимор земля носит?!

Теперь каждый и каждая были заняты своим делом, то есть своим весельем, на Груню никто не обращал внимания. Она сложила свою работу и выбралась из девичьей.

Но она не побежала в сад, она прокралась сначала в свою каморку, где была устроена ее бедная постель. Каждое ее движение теперь



выказывало не то страх, не то большую осторожность. Она внимательно огляделась, прислушалась, притворила дверь и несколько времени все копошилась в каморке. Затем вышла, что-то пряча за пазухой, и стала красться по направлению к комнатам Катерины Михайловны.

Подобравшись к первой двери, она прислушалась, тихонько повернула дверную ручку, потянула дверь к себе. Дверь тихо скрипнула и приотворилась.

— Кто тут? — раздался из комнат сердитый голос Маланьи.

Груня так и замерла на месте. Потом отскочила от двери и притаилась в темном углу коридора, за разными юбками и платьями, развешанными на крючках и прикрытыми ситцевой занавеской, доходившей до полу. Она не шевелилась и сдерживала дыхание.

Маланья вышла в коридор, еще раз повторила:

— Кто тут?

Но так как и на этот раз никто ей не отозвался, она огляделась направо и налево, а затем снова вернулась в комнаты.

Груня ждала. Она не знала, сколько прошло времени, только ей казалось, что очень много. Наконец Маланья вышла из комнат, прошла мимо и отперла маленькую дверь в нескольких шагах от Груни. Это была ее собственная, Маланьяина, комната. Она помещалась здесь, недалеко от покоев Катерины Михайловны, чтобы быть ближе к госпоже, из спальни которой была проведена к ней сонетка.

Груня все не шевелилась. Прошло еще немало времени — и вот Маланья вышла опять в коридор. Скоро ее шаги замерли в отдалении. Груня пождала, робко выглянула из-за занавесок и, неслышно ступая по разостланному через весь коридор половику, направилась к комнатам Катерины Михайловны.

Но как ни осторожно, как ни легко ступала она, а все же время от времени старый, рассохшийся пол скрипел под ее ногами. И она останавливалась, вздрагивала всем телом, снова прислушивалась и с каждым разом старалась ступать осторожнее. Наконец она у двери. Она отворила ее теперь сразу, так что та не успела и скрипнуть.

Вот она и в комнатах старой барыни. Она пробежала в спальню и на минуту остановилась. Ей была хорошо знакома эта комната, которую она не раз убирала и где в злополучный час разбила фарфоровую статуэтку. Вот широкая, старинная кровать под штофным

выцветшим балдахином. Груня легла на пол у кровати, заглянула под нее, потом проползла. Она пуще всего боялась, что ножки кровати слишком коротки, а что она слишком велика и не будет в состоянии пролезть, но теперь убедилась, что это легко.

Она вынула у себя из-за пазухи маленький узелок, оставила его под кроватью, а сама тотчас же выползла. Потом выбежала в коридор, из коридора в людскую столовую, где в это время собирались обедать.

Теперь она была очень возбуждена, краска выступила на ее щеках. При виде еды она почувствовала сильный голод и с жадностью стала обедать. Она даже, что с ней редко бывало, приняла участие в общем разговоре, даже смеялась, сама, впрочем, не сознавая, почему смеется, просто смеялась вслед за другими, когда кругом нее раздавался смех на забористые шутки и остроты молодого конюха Максима, всеобщего потешника.

## XX. СПИЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ

Погода уже давно стояла сухая и жаркая. Но, несмотря на полуденный зной, час переезда из Знаменского в Горбатовское никому не показался утомительным, так как в старом лесу, через который шла дорога, было хорошо и прохладно.

Сергей и Николай, сначала ехавшие мелкой рысцой с экипажами, наконец убедились, что только обдают всех пылью, да и сами ее глотают, а потому пропустили экипажи вперед, а сами, взяв просекой, поехали шагом, по временам перекидываясь друг с другом односложными замечаниями.

В линейке раздавался детский смех, в коляске, где сидела Мари с англичанкой и Соней, царствовала тишина, так как Мари дремала, англичанка жевала губами и размышляла о чем-то, а Соня сидела надувшись. Она просилась в линейку, но ее почему-то не пустили и заставили ехать в самой скучной компании.

Катерина Михайловна почти всю дорогу мучила Наташу, допытывалась, что с нею такое, отчего она вот уже второй день такая бледная и на себя не похожа.

Наташа отвечала, что сама не знает, быть может, это просто маленькое нездоровье, простуда или нервы, может быть, немного расстроились, и что, вообще, это пустяки и не стоит совсем обращать внимания.

Но Катерина Михайловна не унималась. Она все предлагала Наташе попробовать какие-то особенные средства, которые ей очень помогли за границей. И, несмотря на то, что Наташа, наконец, прямо сказала ей, что готова, если ей это доставляет удовольствие, принять все, что угодно, она все же продолжала убеждать ее и на все лады повторять тот же самый рассказ. Ей просто хотелось говорить, а говорить было не о чем — и вот она заладила одно и то же.

Наконец Наташа не выдержала, она и так еле владела собою. Чтобы отвязаться от этой несносной болтовни, она закрыла глаза и притворилась, что дремлет.

Катерина Михайловна стала теребить ее за рукав.

— Наташа, да очнись же, mon ange, нашла время спать!.. Ты слышишь, что я говорю?

Наташа делала вид, что не слышит.

Катерина Михайловна передернула плечами, с досадой, наконец, отвернулась, сочла себя обиженной и замолчала...

Горбатовское встретило гостей во всем своем великолепии. Все работы теперь были кончены, дом сиял чистотою. Цветники разливали благоухание. Казалось, что прежнее время вернулось.

Борис Сергеевич имел самый оживленный вид. Он радостно приветствовал приезжих, но тотчас же заметил утомленный, страдающий вид Наташи и с тревогой в голосе спросил ее, что это значит.

— Дядя, милый, — ответила она, печально ему улыбнувшись, — да хоть вы-то не спрашивайте! Ну, нездоровится... Слабость... Ну и пройдет... Особенно здесь, у вас так хорошо, даже воздух как будто какой-то особенный.

Катерина Михайловна была тут как тут.

— Вот видишь, все замечают, что ты нездорова, — сказала она и затем обратилась к Борису Сергеевичу. — Хоть ты уговори ее заняться собой как следует и полечиться... Я уже давно замечаю, что она побледнела и похудела. Предлагаю вот ей отличные средства, которые мне очень, очень помогли...

— Да от чего помогли, maman? — улыбнувшись, проговорила Наташа. — Вам эти средства могли помочь, а мне от них, пожалуй, только хуже станет.

Борис Сергеевич на минуту задумался, а затем обратился к Наташе:

— Позволь мне тебя полечить. Я тебе дам такое средство, от которого, во всяком случае, не станет хуже. Ты, говоришь, чувствуешь слабость, утомление — ведь да?

— Да.

— Веришь, что я не отравлю тебя? Согласна принять мои средства?

— Если это доставляет вам удовольствие, — согласилась Наташа, пожимая плечами.

«И он тоже! — подумала она. — Господи, тоска какая!..»

Он взял ее под руку и повел. Они прошли в его большой кабинет. Затем он вынул из кармана ключик, отпер незаметную, скрытую между книжными шкафами дверцу и предложил Наташе войти. Она не знала о существовании этой дверцы, с изумлением прошла в нее и очутилась в небольшой комнате, наполненной сильным пряным запахом.

По стенам, почти до самого потолка, шли открытые шкафы, полки которых были уставлены большими склянками, наполненными различными кореньями и зернами самых причудливых форм. Между этими склянками были развешаны пучки всяких душистых трав. На большом столе, занимавшем середину комнаты, стояло несколько ступок и лежали толстые книги.

— Что же все это значит? — с изумлением спросила Наташа.

Борис Сергеевич улыбнулся.

— А это моя аптека, — сказал он, — ведь я недаром всю жизнь прожил в Азии, мой друг. Я познакомился с тибетской наукой и в некотором роде стал азиатским медиком. К несчастью, слишком поздно! — прибавил он, вздохнув. — Но все же вот эти травы несколько лет поддерживали угасавшую жизнь моей бедной жены, и им я обязан, что еще бодр и свеж, несмотря на свои годы! Эти травы на моих глазах производили такие излечения, которые вашим докторам и во сне не снились. Я долго и много работал, нелегко было. Вот посмотри...

Он развернул перед Наташей старинные книги, наполненные непонятными для нее каракулями.

— Это все лечебники... Я изучил несколько азиатских языков...

— Боже мой, как все это интересно! — оживленно проговорила Наташа.

— Да, конечно, интересно, а чтобы заинтересовать тебя еще больше, я и попрошу тебя попробовать моего лекарства — увидишь, какое оно произведет действие.

— Дядя, у вас и от тоски есть лекарство? — прошептала она.

Он пристально взглянул на нее.

— От тоски лекарства нет, но душа и тело тесно связаны между собою, и, помогая телу, можно все же косвенно облегчить и душу, хоть временно, хоть на минуту. Иной раз и за это можно сказать спасибо...

— Да, конечно! — согласилась она.

А он в это время уже снял с полки три склянки, наполненные порошками, взял из каждой маленькую щепотку, всыпал их в рюмку с водой, размешал хорошенько и предложил Наташе их выпить.

Она понюхала — пахнет недурно.

— Проглоти сразу, а потом еще запей водой.

Она исполнила.

— Немного как будто жжет в горле, — сказала она.

— Ничего, это сейчас пройдет. Ну, теперь пойдём, и если ты не почувствуешь себя лучше, то можешь сколько угодно смеяться над моей аптекой и над моей азиатской медициной.

Не более как через час Наташа с изумлением заметила, что чувствует себя совсем иначе. В ней явились бодрость, силы, приятная теплота пробегала по ее членам и даже мучительная тоска, не дававшая ей покоя, как будто забылась. Она стала оживленнее, говорила, смеялась и без страха глядела на Николая.

Перед обедом она сказала Борису Сергеевичу:

— Вы чудодей, дядя, ведь и правда, я чувствую себя гораздо лучше.

— Вот видишь!

Все заинтересовались азиатской аптекой, а пуще всех Николай.

Борис Сергеевич должен был всем показать свою таинственную комнату и рассказал несколько очень замечательных случаев исцеления, которых он был очевидцем.

— Да как же вы до сих пор нам ничего об этом не говорили?

— Не пришлось. Да и теперь я вовсе недоволен собою, что рассказываю. Что может быть хуже положения человека, вернувшегося из-за тридевяти земель и рассказывающего необыкновенные истории!.. Говоришь, а сам так вот и чувствуешь, что тебя непременно за лгуна считают... Впрочем, считайте, друзья мои, меня за кого угодно, а вот я дал Наташе лекарство и ей стало лучше — пока только это и было нужно...

— Нет, это так интересно, — сказал Николай, — что я теперь от вас не отстану, дядя, и уж как там хотите, а я стану забираться в вашу азиатскую комнату. Возьмите меня в ученики.

— Что ж, если хватит терпения — пожалуй.

— О, у него-то терпения хватит, — заметил Сергей, — а вот как вы вдвоем станете тут народ лечить, так вас за колдунов сочтут и все

это кончится, пожалуй, большим переполохом, в особенности по теперешним временам. Наши мужички насчет всякого колдовства ох как строги!..

Часов около десяти вечера гости уехали, оставив в Горбатовском двух мальчиков и француза...

До самого солнечного заката веселилась и ликовала знаменская дворня. Только Груня опять пропала. Улучив удобную минуту, она снова прокралась в спальню Катерины Михайловны, залезла под кровать и там притаилась. Более трех часов пролежала она, не шелохнувшись, прислушиваясь к звуку маятника, считая минуты... Наконец до ее слуха стали доноситься голоса, в доме поднялось новое движение. Господа вернулись.

Хлопнула дверь, вошла Катерина Михайловна. У Груни шибко застучало сердце, так шибко, что она даже почти испугалась — а ну как будет слышно это биение, а ну как оно ее выдаст?.. К тому же она стала страшно бояться чихнуть, тем более что под кроватью было пыльно. И как нарочно только что она подумала про чиханье, как ей и захотелось чихнуть, но она все же удержалась. Она напрягала всю свою волю и все свои силы, чтобы не подать признака своего существования. Лицо ее горело, в виски стучало, руки и ноги холодели. Но какая-то дикая радость наполняла ее теперь. Она уже ни о чем не думала, она только слушала.

Вот Маланья раздевает Катерину Михайловну, причесывает ей на ночь голову. А маятник отбивает секунды, и кажутся эти секунды бесконечными Груне. Время идет так медленно, едва движется, кажется, конца не будет этому ожиданию. Наконец Катерина Михайловна отослала Маланью, несколько раз прошлась по комнате, потом присела в кресло перед большим туалетным зеркалом. Груня осторожно выглянула из-под кровати. И если бы Катерина Михайловна могла увидеть ее взгляд, то, наверно бы, испугалась, такая выражалась в нем дикая, почти нечеловеческая ненависть. Да и точно, не человеческое существо, а зверь, загнанный, измученный и, наконец, доведенный до остервенения, до последних пределов безумной злобы, скрывался теперь под кроватью.

Катерина Михайловна поднялась с кресла, потушила свечи. Комната освещается теперь только лампадой. Груня слышит, как старуха ворочается на кровати. А секунды тянутся. Маятник ходит то в

одну, то в другую сторону, тихо так и вместе с ним, обгоняя его, бьется и замирает сердце Груни. Она уже вся окоченела, застыла, холодные пальцы ее не сгибаются.

«Да заснешь ли ты, заснешь ли ты?» — тоскливо, беззвучно шепчет она и чутко прислушивается.

Долго-долго ворочалась то на один бок, то на другой старуха. Наконец не слышно уже никакого движения, вот все совсем тихо в комнате. И вдруг среди этой тишины раздается храп.

«Заснула, — думает Груня, — или только дремлет?.. Нужно ждать...»

И она все ждет. Храп прекратился, дыхание спящей теперь такое мерное и спокойное.

Еще несколько минут — и среди тишины спальни, под кроватью чиркнула спичка. Груня осторожно выползла, поднялась на ноги, взглянула на спящую торжествующим, злобным взглядом, прокралась в соседнюю комнату, затем отперла дверь, уже не заботясь о том, скрипнет она или нет. Шатаясь, побрела она по темному коридору.

Но вдруг у нее все помутилось перед глазами, ей показалось, что под ногами очутился провал, что она быстро, быстро летит в бездонную, черную пропасть.

Она слабо вскрикнула, упала на пол без чувств и осталась неподвижной.



## XXI. У ДЕДУШКИ

Мальчишки были вне себя от восторга, что ночуют в Горбатовском у дедушки.

По отъезде старших они с Рибо отправились в назначенную для них комнату, где застали Степана, который показал им отличные удочки и все приспособления для завтрашнего ужина рыбы. Он сказал им, что отправится с ними сам и покажет лучшие места.

Но как ни интересовали Володю и удочки и Степан, которого он очень полюбил за его интересные рассказы про Сибирь, он сказал Рибо, что ему нужно еще увидеть дедушку перед сном, и побежал в дедушкин кабинет, где надеялся его застать.

Дорогой он побранил себя за то, что чуть было не забыл среди оживления и веселости этого дня обещания, данного им Груне. Конечно, он мог бы и завтра поговорить с дедушкой, но теперь, раз он вспомнил, ему хотелось как можно скорее узнать, что скажет дедушка, захочет ли он помочь Груне.

Он застал Бориса Сергеевича в кабинете. При входе его тот пошел к нему навстречу и ласково положил руку ему на голову.

— Что ты, Володя, мы ведь уже простились... или забыл здесь у меня что-нибудь?

Володя покраснел, немного смутился, но тотчас же оправился.

— Нет, дедушка, я ничего не забыл здесь, а только очень мне нужно поговорить с вами... я вам не мешаю?

Он заглянул ему в глаза.

— Поговорить? О чем же это, дружок? — сказал изумленно Борис Сергеевич. — Ну, походи сюда, садись, говори, в чем дело?

Володя, сначала запинаясь, но затем разгораясь все более и более, рассказал дедушке все, что знал про Груню; а знал он про нее столько же, сколько и она сама знала, потому что знал по ее рассказам.

Борис Сергеевич слушал внимательно, с большим интересом. Его заняла и таинственная история Груни, которую он хорошо понял, несмотря на наивность рассказа ребенка. Ему нравились горячность Володи и доброта его сердца. А главное — невольно вспомнилось ему его собственное детство, нашествие французов, пожар Москвы и его

приключения среди разграбленного, сожженного города, встреча с маленькой девочкой, которую он спас и которая впоследствии, через многие годы, стала его женою. Он будто видел повторение себя в этом маленьком рассказчике и глядел на него с большой любовью и нежностью. Наконец его захватило за живое положение бедной девочки, несправедливость и жестокость Катерины Михайловны.

«Боже мой, — думал он, — какой пример она подает детям!..»

Но в то же время ему стало неловко и тяжело слышать это обвинение бабушки из уст маленького внука.

— А ты разве не просил за нее бабушку? — сказал он.

— Нет.

— Отчего же?

Володя пожал плечами.

— Бабушка меня не любит, — убежденно ответил он, — и если бы стал просить ее за Груню, так ей стало бы еще хуже, а мне не позволили бы больше с Груней видаться.

— А Наташе... маме ты ничего не говорил?

— Я хотел ей сказать еще вчера вечером, но она весь вечер была больна, лежала... сегодня утром тоже мне никак не удалось. И потом... я так уже и решил, и даже Груне сказал, что самое лучшее рассказать все вам, дедушка!

— Почему же мне?

— Да оттого что... оттого, что вас уже непременно послушают и вам поверят. Возьмите Груню к себе, ей будет здесь хорошо у вас! Я и Степана попрошу, чтобы он не позволял никому обижать ее, — он добрый...

— Хорошо, дружок, — сказал, подумавши, Борис Сергеевич, — будь спокоен, я сделаю все, что можно, и думаю, что эта бедная девочка не будет больше наказана понапрасну. Успокойся, я не забуду.

Володя кинулся на шею дедушке и горячо поцеловал его. А затем простился и побежал в свою спальню.

Ему было теперь совсем хорошо, и он спешил, боясь как бы не упустить Степана. Может быть, он там уже что-нибудь интересное рассказывает.

Он не ошибся. Степан рассказывал Грише про медвежью охоту в Сибири. Володя заставил начать сначала, и так прошел еще час в интересных рассказах.

Наконец Степан остановился.

— А теперь, деточки, будет! — сказал он. — Сразу всего не перескажешь, давно спать пора, не то вас и не добудишься... А рыбку удить надо пораньше, на самой заре, а солнышко нынче рано, рано восходит... Много ли спать-то осталось!.. Я старый человек — мне что, поспал часика три — и будет... а ваш детский сон другой, ваш сон вам росту да силушки придавать должен, так спать нужно побольше... Христос с вами, деточки!..

Он перекрестил их, поцеловал, особенно нежно взглянул на Володю и вышел.

Мальчики разделись, улеглись. Но Володя никак не мог заснуть. Наконец задремал. Тогда стали ему сниться такие яркие сны, и всего было понемногу в этих снах, и все в них было перепутано — и Груня, и Горбатовское, и Сибирь, и медвежья охота, и завтрашняя рыбная ловля...

Вот ему снится, будто он с большим-большим ружьем идет около горбатовского озера и вдруг из-за куста ему навстречу медведь. Он не испугался. Он прицелился из своего ружья — выстрелил и видит, что у него в руках не ружье, а удочка. А медведь идет прямо на него. Он хочет бежать, но не может — ноги не слушаются, будто приросли к месту... А медведь идет и рычит. Вот он уже около него... Хватил его лапой... повалил... налег на него и душит...

Володя вскрикнул и проснулся.

«Что это? Никак пора, никак уже светает? Пожалуй, уже опоздали?»

Вся комната освещена бледным, красноватым светом. Они нарочно не спустили занавесок на окнах. И видит Володя из окна — небо красное.

Но солнце не так восходит! Что же это такое? Что-то странное!

Володя вскочил, подбежал к окну.

«Да, небо красное, а на дворе еще совсем темно — ночь. И солнце восходит с другой стороны... Это зарево... Это пожар!.. Но где же горит?»

— Месье Рибо! — крикнул Володя и стал будить француза, а потом Гришу.

Те долго не могли понять, в чем дело. Наконец стали одеваться. Володя был уже готов. Он выбежал из комнаты — в доме все тихо. Но

вот издали раздаются чьи-то шаги. Он кинулся на эти шаги, они направлялись к спальне Бориса Сергеевича.

И он побежал туда же.

В это время Степан будил барина.

— Вставайте, сударь! Делать нечего, не хотел было вас тревожить, да думаю — как бы неладно что не вышло.

— Что такое? — испуганно спрашивал Борис Сергеевич.

— Горит, большущий пожар...

— Где горит? Горбатовское?

— Нет, Господь милостив. А надо так полагать — Знаменская усадьба. Я уж послал верхового на разведку.

Борис Сергеевич мигом вскочил с кровати.

— Эх, да что же ты, Степан! Давно горит?

— Да кто его знает! Сам минут с десять как заметил. Ставни-то закрыты — ну и не видно было сначала... Жарко горит! Коли усадьба — не дай Бог, время-то сухое, а дом старый-престарый. Ох, уж и говорил я — беда этот дом — чистая гнилушка!

— Так вели же ты скорей закладывать коляску да бочки, чтобы мигом...

— Все уже распоряджено, батюшка, извольте вот одеваться.

Борис Сергеевич мигом был готов. В это время вбежал Володя.

— Где пожар? — тревожно спрашивал он. Ему не ответили.

— Дедушка, я с вами!

— Зачем, оставайся, — выговорил Борис Сергеевич, спешно выходя из спальни. — Степан, удержи его!

Но Володю удержать было трудно. Он выскочил вслед за дедушкой, пробрался на крыльцо. А там уже столпился народ. Он прислушался.

«Знаменское».

«Боже мой, горит Знаменское!»

В это время к крыльцу была подана коляска.

— Дедушка, я с вами! Слышите, ведь это у нас горит! У нас!..

Степан схватил его за руку.

— Да куда ты, Володечка, голубчик, останься, ну чего поможешь... Может быть, и не Знаменское. Дедушка съездит, увидит — вернется...

Борис Сергеевич уже садился в коляску.

— Пошел скорее! — крикнул он кучеру.

Володя рванулся из рук Степана и в одно мгновение был в коляске возле дедушки.

Коляска помчалась. И только теперь заметил Борис Сергеевич, что Володя рядом с ним.

— Стой! — закричал он кучеру. — Слезай, Володя, слышишь, я тебе приказываю!

— Дедушка, дорогой, милый! — молил Володя сквозь слезы. — Возьмите меня, ради Бога, я не могу, не могу здесь остаться!.. Все равно... я пешком... я побегу за коляской... я не могу...

— Ну, Господь с тобой, едем!

Он понял Володю и сообразил, что действительно самое лучшее ему теперь не перечить.

Коляска мчалась. В лицо им неслась душистая ночная прохлада. Зарево все краснело. Когда они выехали из леса, им представилось ужасное зрелище — весь Знаменский дом был в пламени. Огромные головни так и летели во все стороны. Володя весь дрожал и то и дело кричал кучеру:

— Пошел... пошел... Господи, что же мы так тихо едем!

Но коляска продолжала мчаться во весь дух. Вот уже слышен гул голосов, уже можно различить движение вокруг пожарища. Навстречу мчится верховой.

— Поворачивай за коляской! — кричит Борис Сергеевич. — Ну, что там? — тревожно спрашивает он.

— Жарко горит — ничего не поделаешь...

— Да живы ли все?

— Кажись, живы, слава Богу, ничего такого не слышно...

И у Бориса Сергеевича и у Володи немного отлегло от сердца.

«Живы! Нет, он сказал: кажись, живы... а вдруг? Господи, когда же они, наконец, приедут?..»

Доехали. Они выскочили из коляски, и старик и мальчик, побежали рядом...

Но куда бежать? Где все?

Народ галдел, бегала прислуга с обезумевшими от ужаса лицами. И ни от кого нельзя было добиться, где господа. Борис Сергеевич, а за ним Володя стали бегать вокруг дома. Раздавался оглушительный треск, валились балки, целыми снопами сыпались искры...

— Папа! Вот он, вот!

Борис Сергеевич остановился и увидел Сергея, который что-то кричал, распоряжался. Они пробрались к нему.

— Папочка! Папа! — кричал Володя.

— Ты как здесь? Зачем? Ах, дядя, это вы? Вот несчастье-то, и ничего не сделаешь... Хоть бы отстоять только амбары... Весь дом пропал!..

— Сейчас будут мои бочки и люди, — сказал Борис Сергеевич. — Да где же все?

— Ах, там, там в саду, в павильоне! Ради Бога, сведите его туда... — он указал на Володю. — Там маман, не знаю, что с нею... Началось у ней в спальне... Мы чуть не задохнулись...

— А где же Николай? — спросил Борис Сергеевич.

— Он, верно, там, с той стороны...

Борис Сергеевич убедился, что делать ему здесь нечего. Он взял за руку Володю и поспешил в сад, к павильону.

В это время заря уже занялась, с каждой минутой становилось светлее и светлее. Они побежали по знакомым дорожкам... И вот они у большого павильона. Они заметили множество наваленных узлов, заметили нескольких ревущих благим матом горничных. Они вбежали в павильон.

Большая круглая зала, где в прежние времена давались иногда летом балы, была в страшном беспорядке. Тут собралось все семейство. На диване лежала Катерина Михайловна и стонала. Рядом с нею сидела Наташа. Потом Мари, дети, обе гувернантки. Дети плакали. Все, очевидно, совсем потеряли голову. Одна только Наташа более всех сохранила присутствие духа.

Она объяснила Борису Сергеевичу, что Катерина Михайловна почти чудом спаслась от верной смерти, так как проснулась она минутой позже — и все было бы кончено.

— Да как же, как же загорелось? — спрашивал Борис Сергеевич.

Катерина Михайловна открыла глаза.

— Ах, это ты, Борис... вот... вот... — Она хотела сказать что-то, но истерически зарыдала.

— Все пропало, все! — безумным голосом прошептала она.

— Маман, милая, успокойтесь! — проговорила Наташа. — Что пропало? Ничего не пропало... вы только очень испугались...

И она давала нюхать ей спирт, примачивала ей голову.

В это время дверь залы отворилась, показалась мужская фигура спиной.

«Что это?.. Несут кого-то?» — мелькнуло в голове Бориса Сергеевича.

Все взгляды устремились к двери.

«Что это, что?»

— Куда бы положить-то лучше? — раздался мужской голос. — Барин оступись, упал да головой, видно, стукнулся... без памяти...

Никто еще не успел пошевелинуться. Но Наташа уже кинулась вперед.

— Николай! — безумно крикнула она.

Поднялась и Мари. Подбежал Борис Сергеевич. Дрожащими руками освободил он от узлов и пододвинул диван. Николая положили — он не шевелился.

Наташа и Мари так и прильнули к нему.

— Господи, да что же с ним? — говорили они обе вместе.

И руки их встречались, встречались их головы, и обе они старались прислушаться к его дыханию...

— Господи, жив ли?

Прошло несколько невыносимых, мучительных секунд. Наконец Николай шевельнулся, открыл глаза, хотел приподняться, но тихо простонал, и голова его снова опустилась на руки Наташи и Мари.

## XXII. ПОЖАР

Итак, Груня отомстила. Бессильная, маленькая девочка, которой всякий помыкал, всякий мог безнаказанно обидеть, на которую важная и злая Катерина Михайловна обращала не больше внимания, как на какое-нибудь насекомое, вдруг оказалась сильнее и могущественнее всех. Захотела — и перепугала почти до смерти весь дом, подняла всех на ноги. Налетела на всех, как гроза, как буря.

Спрятавшись под кроватью заснувшей старухи, разложила она на ковре щепочки точно так, как раскладывала их, когда ее заставляли растапливать печку. Потом осторожно чиркнула спичкой и — кончено! Весь дом в пламени, этот огромный старый дом, в котором так давно жили, росли, старились и умирали люди. В пламени эти богатые барские хоромы, наполненные шелком и бархатом, дорогими вещами, барскими игрушками, привозными куклами и вазами, из которых каждая, как сказала сама Катерина Михайловна, стоит дороже Груни!..

Когда Груня разбила такую игрушку и старая барыня, выходя из себя, прибила ее, так она кричала:

«Негодная, да знаешь ли ты, что эта вещь тысячу рублей стоит, а тебя и за пятьдесят купить можно, да и то никто не захочет дать такие деньги!»

И вот Груня, стоящая менее пятидесяти рублей, захотела — и горит все!

Все эти последние дни, когда в ней назревала злоба и жажда мести, она так и представляла себе эту картину всеобщего разрушения, причиненного ею — и торжествовала и заранее наслаждалась. А теперь что же? Все исполнилось, как она предполагала, а она ничего не видит и не слышит — лежит бесчувственная на пыльном половике коридора...

А огонь между тем делал свое дело. Сначала запахло горелым в спальне Катерины Михайловны, потом из-под кровати показался дым. Он все гуще и гуще. Катерина Михайловна проснулась, втянула в себя воздух, поперхнулась от дыма, вскочила с изумлением и страхом с кровати. И в то же мгновение вырвавшееся сразу пламя лизнуло



простыни, ухватилось за одеяло, только что сброшенное с себя Катериной Михайловной.

Она несколько мгновений стояла неподвижно, широко раскрыв глаза, еще ничего не понимая.

Огонь поднимался выше и выше, охватил всю кровать. Вот он добрался до спущенной штофной занавески балдахина и пополз дальше и выше.

Катерина Михайловна крикнула не своим голосом и кинулась из комнаты. Выбежала она в коридор, как была, босая, в ночной кофте и кричала изо всех сил:

— Люди, люди! Горим! Пожар!

Но все было тихо, никто не слышал, все спали. Она хотела бежать дальше и не могла — ноги подкашивались, голова кружилась, мутилось в глазах. Она невольно присела на пол, но потом собрала все силы, приподнялась и, хватаясь за стену коридора, добралась наконец до двери в комнату Маланья. Попробовала- дверь на запоре изнутри. Она стала стучать и в то же время видела, как из двери в ее комнату, которую она забыла запереть, валил густой дым.

— Маланья! Маланья! — умирающим голосом уже не кричала, а стонала Катерина Михайловна, стуча в дверь.

Наконец дверь отворилась, выглянула Маланья.

— Матушка! Создатели! Что такое? Барыня?

— Горим!.. У меня в спальне! — выговорила Катерина Михайловна.

Маланья хотела было бежать туда, но отшатнулась от густого дыма, наполнившего теперь уже весь коридор и заметалась, бессмысленно повторяя:

— Создатели! Батюшки! Что же теперь?!

Она вернулась в свою комнату, зачем-то стащила с кровати одеяло, потом бросила его и изо всех сил ухватила за небольшой сундучок, стоявший под кроватью. В этом сундучке заключались все ее сокровища. Сундучок был тяжелый, руки ее дрожали; она силилась его вытащить и не могла, и стонала, и причитала. Между тем Катерина Михайловна очнулась.

— Да что ты, мерзавка, — крикнула она, — чего ты возишься! Помоги мне, подыми меня, веди...

Но Маланья не могла оторваться от сундука. Она не видела барыню, не слышала ее слов...

В горевшей спальне что-то с грохотом рухнуло — должно быть, тяжелый балдахин. И в то же время, среди густого дыма, показался зловещий свет разгоравшегося и все захватывавшего огня.

Прошло еще несколько минут пока стали просыпаться в доме, да и то благодаря Груне, которая наконец пришла в себя, вскочила с половика, увидела дым, свет огня, различила как-то странно и жалко прижавшуюся фигуру старой барыни у двери в Маланьину комнату.

«Жива!» — мелькнуло в голове Груни.

Но эта мысль не раздражила ее, напротив — обрадовала, и в ту же минуту страх, ужас и тоска наполнили ее.

— Боже мой, — простонала она, — что же я такое наделала!..

Она кинулась со всех ног из коридора, кинулась по всему дому, крича:

— Вставайте! Вставайте! Пожар! Горим!

Начался страшный переполох: все вскакивали с постелей, в первую минуту ничего не соображая. Затем начинали кое-как одеваться, а то и забывали об одежде, схватывали ненужные вещи, тащили их куда-то, бросали, возвращались.

Одним из первых проснулся Сергей. Он понял, в чем дело, разбудил Наташу.

— Вставай скорее, кажется, у нас в доме пожар — слышишь?

Она очнулась, дрожащей рукой нашла туфли, накинула пеньюар.

Сергей в это время уже отворил окно, выглянул в него и увидел яркое пламя, выбивавшееся из нескольких окон. Но он не потерялся.

— Наташа, надень на себя поскорее еще что-нибудь: свежо... и вот что, слушай: я сейчас выпрыгну в окно и потом спущу тебя, тут невысоко... Дело плохо, дом старей, сгорит... сгорит... Слушай, что у нас тут самое ценное?.. Где твои вещи?

— Здесь, в шкатулке... в бюро... — ответила она, вся дрожа. — Да где же все — проснулись ли? Слышат ли?

— Надо надеяться, что проснулись, — сказал он, отпирая бюро.

Он вынул шкатулку с драгоценностями и выбросил ее в окно в мягкую траву, затем спрыгнул сам.

— Наташа, скорее!.. Вот сюда... становись сюда... ставь ногу мне на плечо... крепче!..

Он подхватил ее и спустил на землю.

— Теперь бери шкатулку и беги в сад... куда? Да в павильон. А я сейчас все узнаю... не беспокойся. Я всех пришлю к тебе.

Но Наташа не могла бежать, когда не знала, что со всеми. Она осталась неподвижной под окном. Она видела, как Сергей снова ловко взобрался в окно.

Между тем в доме уже раздавались голоса, крики, и пламя делало свое дело. Она не могла ждать в этой невыносимой неизвестности, побежала кругом к крыльцу и, наконец, убедилась, что все живы и невредимы. Все были почти раздеты. Мари, дети, Лили, одна только англичанка, несмотря на страх, все же оделась, как на прогулку, прежде чем вышла из своей комнаты.

Катерину Михайловну, закутанную во все, что только попало под руки, понесли в павильон.

Сергей и Николай распоряжались, видя, что женщины только дрожат и не трогаются с места. Они сами провели их всех в павильон и затем бегом вернулись к дому.

Набатный звон гудел с церковной колокольни, из села набегали крестьяне. Не прошло и четверти часа, как весь дом был окружен густой толпой народа, которая галдела и ровно ничего не делала. А торжествующее пламя быстро охватывало все огромное старое здание. Наконец дворовые и крестьяне, по приказу Сергея и Николая, стали выносить из дома все, что можно было вынести. Николай распоряжался со стороны сада, Сергей со стороны двора. Теперь, хотя и появились бочки с водой, но они не могли принести много пользы. Скоро оказалось ясным, что дом отстоять нет никакой возможности и что только надо стараться не дать пламени перекинуться на надворные строения и на амбары.

Вот уже рухнула часть крыши. Николай убедился, что входить в дом теперь опасно, и поэтому приказал всем выбираться и оставить вещи.

Вдруг он расслышал из открытого окна, к которому уже подбиралось пламя, крик, как будто детский голос.

Он вздрогнул.

— Господи, да ведь, кажется, все дети были там!.. Кто же?.. Кто-нибудь из дворовых?..

Он пробрался к окошку. Пламя обступило его, сквозь густой дым ничего не было видно. Но вот крик раздался снова в самом окне:

«Спасите! Спасите!»

Недолго думая, он рванулся, вскочил на фундамент.

— Кто тут? Сюда!..

Это была Груня.

В полном отчаянии от того, что она наделала, она продолжала метаться по дому и ни за что не хотела выходить из него, хоть несколько раз пробежала мимо наружной двери. Потом вдруг она как будто решилась на что-то. Да, она решилась.

«Господи, Господи! — шептала она. — Да как же это так? Что я наделала?! Ну, что же, ничего я виновата... теперь я виновата, пусть и будет наказание... сгорю!.. Сгорю!..»

Остановившись на этой мысли, она только в ней и почерпнула некоторое успокоение от мучительной тоски, всю ее наполнявшей. Она была теперь в комнате Володи и Гриши. Она села на стул у окна, потом встала, подошла к двери, заперла ее изнутри, потом отворила окошко, вышвырнула ключ за окно и опять уселась на стул, закрыла глаза и ждала.

«Ну, вот теперь... — думала она, — ну, вот пусть огонь, пусть муки... виновата... наказана...»

Но когда дым стал наполнять комнату, когда показался огонь из дверной щели, она не выдержала, чувство самосохранения заговорило в ней и она закричала:

«Спасите! Спасите!»

Ее никто не слышал, она, как зверек, заметалась по комнате. Кругом слышался треск, становилось жарко. И вдруг в нескольких шагах от нее рухнула дверь. Огонь ворвался в комнату. Она подбежала к окну и опять закричала:

«Спасите! Спасите!»

Тогда среди дыма разглядела она протянутые к ней руки. Она ухватилась за них. Кто-то потащил ее из окна — это был Николай.

Но в то время, как она всею тяжестью повисла на нем, густой клуб дыма ударил ему прямо в лицо. Он захлебнулся этим дымом, у него помутилось в глазах, он почти потерял сознание и со всего размаху, но не выпуская Груни, соскользнув с довольно высокого

фундамента, ударился головою об лежавшую под окном балку. Груня упала тоже, но совсем не ушиблась. И ее и барина оттащили от окна.

Вокруг Николая столпились.

— Батюшка, да что же это? Никак Богу душу... да нет, не может быть!..

— Ведь об балку головой! — испуганно переговаривались вокруг.

— Да нет, Бог милостив... так только, обеспамятовал... шибко стукнулся... очнется... Понесемте, братцы, в сад, там господа.

Его подняли и понесли.

## XXIII. ПОСЛЕ БЕДЫ

К полудню от старого Знаменского дома остались только развалины. Закопченный каменный фундамент, черные остовы печей, обуглившаяся мебель, куча дубовых балок... И все это дымилось на жарком солнце, и местами, время от времени, вспыхивало и потухало пламя.

Народ не расходился, заливал головни, вытаскивал из-под пепла предметы, которые еще годны были на какое-нибудь употребление.

Горбатовы все еще не выходили из павильона. На заре был отправлен гонец в город за доктором. Доктор приехал, осмотрел Николая, давно уже пришедшего в себя, но чувствовавшего страшную боль в голове. При этом у него была такая слабость во всем теле, что он с трудом мог шевелиться.

Доктор объявил, что произошло сотрясение мозга, но незначительное, и что через несколько дней спокойствия и хорошего ухода больной совсем оправится. На руке оказался сильный ушиб, на голове, на затылке, небольшая рана, которую даже сначала не заметили под густыми волосами. Одним словом, опасности не было, и все легко вздохнули.

Теперь, когда положение Николая выяснилось, мысли всех обратились к пожару. Катерина Михайловна приходила в отчаяние, даже плакала, твердила, что все пропало, что они разорены и что, главным образом, разорена она.

— Ведь все мои сундуки, все что было — пропало... пропало!.. — твердила она.

Ее стали успокаивать, доказывали, что это еще не разорение. Конечно, потери и убытки велики, но ведь это не петербургский дом. Вот если бы, не дай Бог, он сгорел — тогда другое дело.

Она мало-помалу утихла. Она уже успела после своего действительно сильного испуга прийти в себя. Лежа с закрытыми глазами и изображая на своем лице последнюю степень отчаяния, она уже отлично высчитала все убытки и нашла их незначительными. Конечно, ей жаль было, и даже очень, своих сундуков и тряпья, в них заключавшегося, но дело в том, что оставшиеся непроданными ее

фамильные драгоценные вещи были в Петербурге на сохранении в ломбарде. То же сделала со своими бриллиантами и Мари. А Наташина шкатулка была спасена.

Катерина Михайловна даже дошла до мысли, что так как все живы и невредимы и Николай через несколько дней, по словам доктора, поправится, то, пожалуй, и хорошо, что сгорел этот старый дом. Он уже давно начинал ей мозолить глаза особенно при сравнении с горбатовским домом.

Теперь все они переедут в Горбатовское.

Борис Сергеевич уже говорил об этом, да иначе разве и могло быть!.. Там, в Горбатовском, жизнь ничего не будет стоить, и в то же время можно будет пустить пыль в глаза всему уезду, всей губернии.

Ведь все равно для того, чтобы достигнуть предположенной ею цели, чтобы видеть Сергея губернским предводителем дворянства, нужно было затратить очень крупную сумму на перестройку и отделку дома. А суммы этой не было, и дело затягивалось. Теперь все пойдет гораздо легче. Всякий поймет, что выстроить новый дом в Знаменском нельзя в какой-нибудь год.

Она будет показывать всем грандиозные планы этого будущего царственного жилища. А между тем пройдет два, три года, Сергей будет предводителем. Горбатовское снова, если еще и не по закону, то в действительности, превратится в их собственность... Да и чье же оно, как не их? Не возьмет же его с собой старик в могилу?

Она в своих мыслях уже не в первый раз торопилась хоронить Бориса Сергеевича. А о своей смерти никогда не помышляла.

«Одним словом, — закончила она свои мысли, — сгорел дом — туда ему и дорога, и вышло лучше!..»

Но тем не менее она продолжала ныть и толковать о разорении, и при этом жалобно-жалобно поглядывала на Бориса Сергеевича.

— Как же это, однако, могло случиться? — наконец спросил он. — Забыла ты, что ли, потушить свечку, Катрин?

Катерина Михайловна прекратила свои причитания и с изумлением всех оглянула.

«Как же, в самом деле, это случилось?»

Эта мысль до сих пор не пришла ей в голову, да и никому не пришла.

— Непостижимо! Я сама потушила свечу на туалете, и, когда легла спать, то в комнате горела только лампадка перед образами. Я долго не могла заснуть и часто открывала глаза и видела — горит лампадка... Как же это могла загореться кровать?

— Одно можно предположить, — сказал Сергей, — верно, как-нибудь или вы сами, мама, или горничная, которая опрашивала вам постель, нечаянно уронила спичку в простыню и потом вы во сне как-нибудь прижали ее к дереву кровати — и она вспыхнула.

— Этого не может быть, — заметил Борис Сергеевич, — если бы было так, то твоя мать наверно бы сгорела и уж во всяком бы случае проснулась от ожогов...

— Да, конечно, — проговорила Катерина Михайловна. — Нет, загорелось под кроватью, сразу из-под кровати шел дым и оттуда показалось пламя, это я отлично видела.

— Но ведь этого не может быть!

Останавливались на всяких предположениях и никак не могли решить вопроса.

Вдруг в павильон вбежал Володя с расстроенным лицом.

— Что такое? Что еще случилось? — обратились к нему все.

— Мне кажется, Груня сошла с ума! — проговорил он.

— Какая Груня?

— Как какая Груня? Бабушкина Груня, которую дядя Николай из окна вытащил... Я шел сюда от дома, вдруг она бежит... Я просто не узнал ее — такая она страшная... Говорит: «Я знаю, отчего дом сгорел, и хочу всем господам сказать это. А меня, говорит, к господам не пускают». И стала просить меня, чтобы ее пустить. Вот она тут за дверью — можно ей войти?

Но Груня уже не дожидалась, она распахнула дверь и остановилась у порога. Она, действительно, была неузнаваема. Вся растерзанная, с всклокоченными волосами, бледная, почти зеленая какая-то, с горящими глазами.

— Что же ты стала, Грунька? — строго обратилась к ней Катерина Михайловна. — Чего стоишь, дрянь? Благодарю вот барина Николая Владимировича... Спасая тебя, сам чуть не умер... Стоишь ли ты этого, негодница?

Груня, казалось, не слышала ее слов. Она сделала несколько шагов вперед, остановилась и глухим голосом прошептала:



— Я сожгла дом...

— Что? Как? — слышалось со всех сторон.

Все обступили ее. Катерина Михайловна хотела что-то сказать, раскрыла рот, да так и осталась.

— Я сожгла дом! — уже громче повторила Груня.

— Да она, бедняжка, и то сошла с ума, — заметил Борис Сергеевич.

Груня между тем продолжала:

— Видит Бог, я говорю правду — я сожгла дом... сожгла... Теперь убейте меня... убейте!..

Она задрожала всем телом и упала на колени.

Володя кинулся к ней, глядел на нее испуганными глазами. Несколько секунд продолжалось общее молчание, все были поражены. Борис Сергеевич пришел в себя первый. Он подошел к Груне, поднял ее с колен и, держа ее за дрожащую, холодную руку, спросил:

— Если ты сожгла дом, так скажи — как это сделала?..

И она, стуча зубами и останавливаясь, чтобы перевести дыхание, все подробно рассказала.

— Зачем же ты подожгла? — спросил Борис Сергеевич.

— Для того, чтобы сжечь барыню Катерину Михайловну.

Володя громко рыдал, закрыв лицо руками. Невольный ужас изображался на всех лицах. Катерина Михайловна рванулась вперед, взвизгнула — еще один миг и, кажется, она задушила бы своими руками Груню. Но Борис Сергеевич заслонил собою девочку.

— Успокойся, Катрин, успокойся! — проговорил он. — Сядь...

Он почти силою взял ее за руки, подвел к креслу и усадил.

— Что же это такое? — металась она. — Да ведь это дьявол! Каково! Это она лежала под кроватью! Я заснула... она меня, сонную, подожгла!.. Что же это дьявол... да ее казнить... сейчас же на виселицу!.. Свяжите ее скорей... посадите на цепь... Она взбесилась, сейчас начнет на всех кидаться... Вот змееныша пригрела!..

И Катерина Михайловна, представив себе снова уже совсем ясно опасность, которой подвергалась, истерически зарыдала.

Дети подняли громкий плач.

— Боже мой! — проговорила Наташа и закрыла лицо руками.

Мари с изумлением разглядывала Груню. Она теперь только в первый раз обратила на нее внимание; до этого дня она ее не замечала.

Борис Сергеевич и Сергей взяли девочку и увели ее из павильона. Она послушно шла за ними, продолжая дрожать всем телом. Они отвели ее подальше, сели на скамью и, продолжая держать ее за руки, стали расспрашивать.

Но теперь она говорила с трудом, на некоторые вопросы их она просто молчала. Однако все же из немногих слов они поняла, в чем дело.

— Ах, татап! — невольно вырвалось у Сергея.

И весь красный, смущенный, он печально отвернулся в сторону, будто стыдно ему было взглянуть на дядю.

— Но что же нам теперь с нею делать? — наконец проговорил он.

— Я ее возьму, — сказал Борис Сергеевич и прибавил по-французски. — Конечно, на нее нельзя смотреть только как на преступницу. Ты видишь — она уже наказана... Это измученная, больная девочка и прежде всего надо постараться ее вылечить... Я берусь за нее.

— Хорошо, дядя. Конечно... Но татап, ведь она будет требовать...

— Я и это устрою...

Через час все уже уехали в Горбатовское. Николая перевозили всю дорогу шагом в покойном дормезе. За господами потянулось несколько возов с вещами, несколько человек необходимой прислуги.

Знаменское опустело. Народ мало-помалу стал расходиться с пожарища. Но до самой ночи шли стоны и плач в службах, которых, по счастью, не коснулось пламя, куда теперь перебралась вся дворня, обитавшая в большом доме.

Тут же находилась и Маланья. Она лежала, стонала и бредила. Несмотря на все усилия, она так и не вытащила своего сундучка из коморки, и сгорело все ее добро, все деньги, скопленные правдами и неправдами за целую жизнь.

На нее жалко было смотреть. Но никто ее не жалел, и к тому же у всякого была своя потеря.

## XXIV. НА НОВОСЕЛЬЕ

Прошла неделя, и промелькнула она, как сон, так что никто ее не заметил.

А между тем в эту неделю уже совсем установился новый образ жизни, оказавшийся по душе всем, а главным образом хозяину Горбатовского. Теперь уж его не поражала пустынная и печальная тишина огромного дома, ему некуда рваться из этой тишины, вдобавок еще наполненной порою мучительными воспоминаниями. Теперь эти воспоминания отходили, забывались, уступали место шумной действительности.

Все новые обитатели Горбатовского удобно устроились, гораздо удобнее, чем в Знаменском.

Лето было из редких. Погода все время стояла прекрасная, и дети наслаждались в цветниках и парке.

Катерина Михайловна поместилась в своих прежних комнатах, и ей казалось даже, что вернулось прежнее время, а о прежних, давно схороненных людях она не думала и не горевала, она думала только о будущем.

Николай совсем почти поправился. Он уже выходил к обеду и завтраку, гулял в парке. Почти каждый день приезжал кто-нибудь из соседей выразить свое сочувствие и в то же время удовлетворить свое любопытство.

Но стоило пристально взглянуться во всех — и мало-помалу начинало оказываться, что далеко не все довольны и счастливы, что под этим правильным и почти даже гармоничным строем жизни, среди этой широкой семейной обстановки закипают какие-то темные силы, идет какая-то глухая борьба.

Довольных, действительно, оказывалось немного: только Катерина Михайловна, да француз Рибо, очень любивший всякую перемену, да дети, за исключением, однако, Володи. Володю сильно потрясла история с Груней. Он по целым дням думал о «преступнице». Сначала он пришел было в негодование, почувствовал к ней ужас и отвращение. Но затем мало-помалу все понял и простил ее, и стал жалеть.

Борису Сергеевичу по поводу Груни пришлось выдержать неприятное объяснение с Катериной Михайловной, которая настаивала на том, чтобы этого «дьявола» наказать примерным образом и затем отправить в тюрьму. Борис Сергеевич требовал, чтобы дело это было оставлено, и просил Катерину Михайловну продать или подарить ему Груню. Она выходила из себя.

— Как? Оставить безнаказанным этого змееныша? Да что же это такое будет? Ведь все эти хамы (она — бывшая изящная парижанка, еще так недавно думавшая, что совсем разучилась говорить по-русски, теперь как будто даже с особенною любовью употребляла это слово) — все эти хамы нас резать станут... Да что мудреного! И уж особенно если их освободят... тогда нам всем останется только ложиться и умирать... И ты же, Борис, потакаешь! Опомнись, мой друг... какой пример!.. Ведь у тебя у самого тысячи крестьян... Нельзя, нельзя, лучше и не проси меня!..

Но он стоял на своем и так как она находила, что раздражать его опасно, что, напротив, теперь надо всячески потакать ему и с ним ладить, то в конце концов, несмотря на все свое бешенство и кипевшую в ней досаду, подарила ему Груню.

— Что же ты хочешь с нею делать? — спросила только она. — Неужто оставишь на свободе, здесь, в доме?

— Нет, этого я не сделаю, ее здесь никто не увидит.

И Груня будто пропала. Даже Володя, несмотря на все свои просьбы, не мог добиться от дедушки, где она, что случилось с нею? Дедушка сказал ему только, чтобы он был спокоен, что она жива и что он будет о ней всегда заботиться.

Между тем Груня была в Горбатовском. В глубине парка давно уже был построен маленький охотничий домик, и вот там-то теперь жила Груня под присмотром доброй старушки из старых горбатовских дворовых.

Борис Сергеевич почти ежедневно навещал девочку, подолгу беседовал с нею и каждый раз убеждался, что она вовсе не испорчена, а просто измученное и больное создание. Навещал ее и Степан, который хотя на словах и ужасался ее зверскому поступку, но в глубине души видел в нем перст Божий.

«И поделом тебе, — думал он про Катерину Михайловну, — вот только Господь Бог чересчур уже долготерпелив, одним страхом ты

отделалась».

Когда ему приходилось встречаться с Катериной Михайловной, он пристально и многозначительно на нее взглядывал, как бы желая прочесть в душе ее.

«Неужто ты не опаматовалась, сударыня, неужто не увидела перста Божьего, среди огня, в предсмертном дыхании?.. Кто был в огне? Кто был на волоске от смерти? Ты, сударыня, и сынок твой!..» — мысленно говорил ей старик.

Этого сынка, Николая Владимировича, Степан недолюбливал, несмотря даже на то, что Николай был с ним гораздо более внимателен и ласков, чем Сергей. Но если Борис Сергеевич легко освободился от своего предубеждения, то его верный слуга и спутник был на этот счет крепче, упрямее. Да и, наконец, не мог ведь он видеть в Николае то, что с первого же разговора ясно в нем стало Борису Сергеевичу.

Азиатские лекарства, так хорошо подействовавшие на Наташу, давно уже потеряли свою силу, и Борис Сергеевич замечал, что его прелестный друг, как ни храбрится, как ни старается казаться веселой, а в сущности страдает.

«Что же с нею? Нужно узнать, нужно узнать во что бы то ни стало!..» — думал он.

Но это оказывалось трудно. Наташа решительно не посвящала его в свои тайны и уверяла, что нет у нее никакого горя, ничего особенного.

Наконец Борис Сергеевич увидел, что самое лучшее не добиваться, не приставать к ней, оставить ее в покое и только следить. И он следил, и он мало-помалу нападал на причину ее болезни и замечал признаки той же болезни и в Николае.

«Неужели? Нет, нет — этого быть не может!..» — повторял он и старался отогнать от себя смущавшие мысли.

Но каждый новый день наводил его на них снова. Он хорошо помнил ужас, охвативший Наташу, когда Володя прибежал в парк и объявил о приезде Николая. Он с первого же дня заметил, что они стараются избегать друг друга, относятся друг к другу, как враги. Да, легко можно было подумать, что они ненавидят друг друга. А между тем Наташе несколько раз пришлось говорить с дядей о Николае и каждый раз она относилась к нему с горячей похвалою. То же самое делал и Николай в разговорах о ней.

Наконец Борис Сергеевич видел, что случилось с Наташей, когда принесли в павильон Николая, как она ухаживала за ним в первый день до приезда доктора. Она ухаживала внимательнее, нежнее, горячее, чем Мари, — и это бросалось в глаза. А теперь опять они избегают встреч, опять не глядят, не говорят между собою.

Старик, еще так недавно одинокий, непричастный ничьей радости, ничьему горю, теперь всей душой ушел в чужую жизнь. Эта жизнь сулила ему радость, а между тем на первых же порах стала доставлять горе. Но и горе это оживляло его, разогревало его сердце.

Думая теперь исключительно почти о Наташе и Николае, Борис Сергеевич не мог следить за Сергеем и за Мари. Они тоже как будто несколько изменились, Сергей реже исчезал из дому, почти совсем прекратил свои визиты к соседям. Как-то особенно бережно и осторожно смущался и уходил, когда заставал жену в разговоре с Лили. Но вместе с этим он не прекратил своих заигрываний с хорошенькой гувернанткой и иногда по нескольку раз в день ухитрялся с нею встретиться наедине, или в парке, или в какой-нибудь из дальних комнат дома.

Мари как будто вышла из своей апатии, в ней замечались признаки волнения и раздражения. Она была, очевидно, не в ладах с мужем. Она ради новоселья почти каждый день теперь делала ему сцены, даже несмотря на то, что состояние его здоровья требовало спокойствия.

Но дело в том, что она вовсе не сознавала, что лишает его спокойствия и раздражает. Она просто вздумала теперь особенно сентиментальничать, приставать к нему с нежностями и, встречая с его стороны холодность, начинала плакать, упрекать его. Затем в течение целого дня на него сердилась.

Наконец он не выдержал, решительно объявил ей, чтобы она оставила его в покое, что он болен, очень раздражен и что с ее стороны бессовестно мучить его, когда он еще не оправился от своего несчастного падения.

— Господи! Это я тебя мучаю! — воскликнула Мари, поднимая глаза кверху и всплеснув руками. — Это называется мучением!..

— Конечно, а то что же?.. Я прошу тебя об одном: оставить меня в покое.

— Да я тебя не трогаю... Нет, ты скажи лучше всю правду, признайся мне, что ты меня разлюбил совсем, что я тебе не нужна...

«Не нужна! — мучительно подумал он. — Ведь все это так давно правда, так давно она должна знать это, что же она только теперь спохватилась!»

— Да я-то, я-то зачем тебе нужен? — печально усмехнувшись, проговорил он. — Тебе нужен хороший обед, спокойный сон, французский роман... Все это у тебя есть — чего же тебе еще? Я уже давно примирился с мыслью, что между нами нет ничего общего. Что же теперь с тобою делается? Зачем ты поднимаешь старую пыль?!

— Пыль! — повторила она. — Какие у тебя все слова!.. Я знаю, ты меня считаешь глупой, но ведь люди бывают разные, и я не виновата, что не создана по твоей мерке. Ты неблагодарен, Николай, ты никогда не умел понять меня, никогда не мог оценить моей любви... Я люблю тебя, как умею... Я всегда тебе была хорошей женою... может быть, я и была перед тобою в чем-нибудь виновата, раздражала, любила тебя не так, как ты хотел... Но ведь и ты никогда не умел за меня взяться... Ну что ж, научи меня, как тебя любить, чтобы ты был доволен!..

— Этому не научишь, — мрачно проговорил он, — и главное, зачем же теперь? Ведь мы были спокойны, ведь каждый жил по-своему — что же это на тебя нашло?

— Нашло!

Она печально взглянула на него, вынула платок и вытерла глаза, на которые набегали слезы. Он вышел от нее, полный тоски и раздражения.

«Что же, наконец, с нею? — думал он. — И именно теперь, теперь! Что ж, может быть, она и права, может быть, она искренно говорит, что меня любит... только по-своему... и я ничего не понимаю в этой любви... и она не нужна мне, такая любовь!..»

«А было ведь время, — вспоминалось ему, — когда я Бог знает что дал бы, чтоб только услышать от нее те слова, которые она теперь говорила... Но она тогда молчала, она тогда не требовала, чтобы я учил ее любить меня. Я тогда сам пробовал учить ее, и она отказывалась от этого ученья...»

Он думал так и в то же время какой-то другой внутренний голос поднимался в нем и говорил ему: «Но ведь она твоя жена, она имеет на

тебя права — вернись к ней, успокой ее, приласкай, взглядишь в ее сердце, может быть, и найдешь там что-нибудь для себя... вернись!»

И он почти бессознательно к ней вернулся. Он отворил дверь и увидел Мари на том же месте, где ее и оставил, на широкой низенькой кушетке. Но он оставил ее взволнованной и плачущей. А теперь, через несколько минут, она спокойно лежала с закрытыми глазами.

Он подошел, прошептал:

— Мари!

Она ничего не ответила. Он прислушался — она мерно, спокойно дышала, она сладко спала.

Он улыбнулся, взглянул на нее холодным, почти злым взглядом и снова вышел из комнаты.



## XXV. КОНДРАТ КУЗЬМИЧ

Кроме забот и тревог, вызванных новой жизнью, в которую погрузился Борис Сергеевич, у него были и иные заботы. Теперь он уже разобрался в своих делах, выяснил себе свое огромное и сложное хозяйство, убедился в том, что в течение долгих лет его изгнания его буквально грабили со всех сторон. Но, несмотря на это, состояние его, увеличенное состоянием его жены, которое она наследовала от княгини Маратовой, было громадно. В его руках, кроме обширных поместий в различных местах России, находились и большие деньги. Эти деньги были помещены в ломбард, проценты никогда не трогались, и теперь капиталы удвоились.

Борис Сергеевич наконец видел возможность немедленного осуществления своей давнишней мечты — отпустить на волю несколько тысяч крестьянских душ, щедро наделить их землею, устроить их быт. Это была задача, которой он решился посвятить остаток своей жизни. Теперь все было готово, ему нужно было только съездить в Москву, в крайнем случае в Петербург.

Кроме того, у него была еще и иная цель поездки в Москву.

Дело в том, что его покойный брат Владимир, отправляясь в кампанию, где и был убит, и предчувствуя свою смерть, которой он желал, за которую шел, после долгих лет молчания написал брату в Сибирь письмо.

Это письмо снова соединило братьев, разъединенных, казалось, навеки. В нем Владимир таким тоном, какого никогда от него не слышал Борис, просил прощения у брата.

Он писал:

«Мою вину перед тобою искупить невозможно, но насколько человек мог искупить ее — я ее искупил. Я знаю, что мы никогда не встретимся с тобою, я уверен, что меня скоро не будет, это мои последние слова к тебе, и ты должен им верить. Знай, Борис, что всю жизнь, с тех пор как мы расстались, я почти ни на минуту не мог забыть, всегда было предо мною твое лицо, и в нем я читал упрек, молчаливый и страшный. Я всю жизнь боролся с тобою и не мог побороть тебя. И вот, наконец, ты меня совсем осилил.

У меня не было после нашей разлуки ни минуты счастья, да уж что говорить о счастье, — не было спокойствия, вся жизнь прошла тягостью. Если бы ты знал, как я ненавижу себя, как я презираю себя, как мне тошно жить... и я не могу больше, и я иду в поход для того, чтобы умереть, после такой жизни нужно хоть умереть честно. Прости меня, брат! Ты не мог измениться, ты все тот же, и я знаю, что ты простишь меня.

Но я обращаюсь к тебе еще и с другою, предсмертной просьбой. Давно, еще тогда, когда ты был за границей, почти одновременно с моим Сергеем у меня родился другой сын. Теперь после долгих лет, вспоминая всю жизнь, я могу сказать, что если любил какую-нибудь женщину, то единственно мать этого ребенка, хотя она и не отличалась ни особенной красотой, ни умом, ни блеском. Она не была из нашего общества, она была простая девушка, ее звали Александрой Николаевной Степановой, сын мой был назван Петром...

Узнав истину, то есть что я женился и скрыл от нее это, наконец, вероятно, поняв меня и убедясь, что я не стою ее любви (видишь, как я могу говорить теперь), Саша исчезла из Петербурга. Я долгие годы искал ее и не мог найти — не знаю, жива ли она, жив ли ребенок. Не сомневаюсь, что ты рано или поздно, быть может, даже очень скоро вернешься в Россию, прошу тебя, брат, постарайся отыскать ее и постарайся быть полезным этому мальчику. Может быть, ты будешь счастливее меня в твоих поисках — вот моя просьба...»

И Борис Сергеевич, конечно, исполнил обе просьбы брата. Он простил его, примирился с его памятью и первым же делом, по приезде своем в Россию, начал поиски.

Он еще в Сибири знал об одном дельце, жившем в Москве. И, остановясь в Москве, проездом в Горбатовское, отыскал его.

Делец этот был некто Кондрат Кузьмич Прыгунов. Он происходил из когда-то богатого, но затем обедневшего купеческого рода, учился сначала дома, на медные деньги, затем почувствовал, как сам говорил всегда, «омерзение к коммерции и влечение к наукам». Он стал прилежно заниматься этими науками с помощью знакомого букиниста. Затем, через того же букиниста, он познакомился с одним из профессоров Московского университета и понравился ему. Профессор обласкал мрачно глядевшего, неказистого, но, очевидно, способного

мальчика, занялся им, и кончилось тем, что Кондрат Прыгунов поступил в число студентов университета и окончил курс.

Впрочем, ожидания профессора не сбылись — он воображал, что из Кондрата выйдет ученый, который впоследствии и сам займет университетскую кафедру — ничего такого не случилось. Несмотря на любовь к наукам и большое прилежание, Кондрат не был рожден ученым. Сдав свои выпускные экзамены, он пришел к тому убеждению, что учился довольно и что пора начать жить с помощью полученного образования.

Он поступил на службу в Сенат и сделался там одним из самых ревностных чиновников. Но протекции у него никакой не было, из себя он не был, как уже сказано, казист, вид имел угрюмый, к начальству подлаживаться не умел, а потому по службе далеко не пошел. Его знали как работника, наваливали на него всегда множество дел. Он исполнял возложенные на него поручения аккуратно, работал целый день. До тонкости изучил он весь служебный механизм, все производство дел, почти наизусть знал каждую статью закона.

Он видел, как его младшие товарищи, несравненно менее его знавшие, хуже подготовленные, смотревшие на службу не как на цель, а как на средство, пользовавшиеся каждым случаем, чтобы полениться, все же отлично устраивались. Они получали награды, повышения, шли далеко по службе, а он оставался все на одном и том же месте.

Когда он заикался о том, что пора бы и его повысить, начальство каждый раз начинало с ним любезничать, давало ему или маленькую прибавочку к жалованью, или маленькую денежную награду, прося потерпеть. И он успокаивался, продолжал ждать и ничего не мог дожидаться.

Дело в том, что он нужен был на месте, которое занимал. Начальство отлично знало, что останется без него как без рук.

— Да и чего вам, почтеннейший Кондрат Кузьмич, — говорили ему, — от добра добра не ищут... Вам тепло, хорошо, а вы все недовольны!

Тепло!

Вот в этом-то и была трагическая сторона жизни Кондрата Кузьмича Прыгунова. Место, занимаемое им, было незначительно, и содержание получал он небольшое, но это место считалось «теплым».

Предместник Прыгунова всю жизнь не сходил с этого места и, выйдя с него в отставку, купил в Москве несколько домов, купил изрядную подмосковную и зажил большим баринном.

И начальство, и товарищи Кондрата Кузьмича были убеждены, что и он следует по стопам своего предместника, что у него уже сколочены большие деньги. И если он в них не признается, если он имеет вид бедняка и рассчитывает гроши, то это одно с его стороны притворство и скряжничество. Через его руки проходят большие дела и много-много кое-чего пристаёт к рукам — иначе быть не может...

Репутация человека, сидящего на «теплом» месте и хорошо греющегося, с каждым годом все более и более упрочивалась за Кондратом Кузьмичем, и вместе с тем упрочивалось и всеобщее убеждение в том, что он скряга, что он хитрец и комедиант...

В первые же годы своей службы Кондрат Кузьмич женился, взял за женою маленькие деньги, построил на них домик возле Зачатьевского монастыря и стал ежегодно приживать детей. Случалось, он приходил на службу озабоченный и то у одного, то у другого товарища просил займы деньги. Просил он небольшие суммы и всегда, в день получения жалованья, аккуратно расплачивался. Ему давали, но давали со смехом, с шутками, и на этом-то обстоятельстве главным образом зиждилась его репутация хитреца и комедианта.

— А Кондрат-то наш опять очки втирает, — говорили сенатские чиновники, — опять двадцатью пятью рублями побирается!.. Вот чудак! И кого это он провести думает, будто неизвестно, что на прошлой неделе у него Ивановское дело в руках было... Так тут не двадцатью пятью рублями пахнет, тут он не одну тысячу, небось, в ломбард свез... И уж скряга же, прости Господи! Хоть бы раз после хорошего дельца позвал товарищей да угостил как следует... Жила-человек, кремень!..

И Кондрат Кузьмич должен был нести свою установившуюся репутацию, должен был выслушивать намеки от товарищей и начальства, да не только намеки, а просто самые откровенные уверения в том, что он берет большие взятки, что у него денег куры не клюют.

И он выслушивал, он даже не пробовал разуверять, потому что знал, что это бесполезно. Он ни разу не запачкал руки своей взяткой! Если он хлопотал о каком-нибудь деле, то единственно по убеждению

в том, что дело это чистое. Если ошибался в этом, то ошибался искренно — его самого подводили.

Когда ему предлагали взятку, он усовещевал предлагавшего ее. Но случалось и так: предлагавший взятку решительно не мог поверить чистоте чиновничьей совести и приходил к убеждению, что, верно, предложил мало, что чиновник хотел большего. И вот, обдумав все, он возвращался и предлагал это большее.

Тогда Кондрат Кузьмич выходил из себя.

— Да что же это, в самом деле, такое! — кричал он.

Ему хотелось доказать этому неверящему в его совесть человеку, что стыдно так обижать. Он принимался горячо за его дело, сидел над ним, хлопотал, иной раз ночей не спал. Дело устраивалось, истец оставался в изумлении, но никогда не приходило ему в голову рассказать о том, что вот-де он на какого честного чиновника напал.

Напротив, когда знакомые говорили ему:

— А небось, много вы потратили на ваше дело, небось, «крапивное семя» (т. е. чиновники) повысосали у вас из кармана?

Он обыкновенно отвечал:

— Да, таки повысосали!

Если же, несмотря на все желание, Кондрат Кузьмич не мог «провести» дела, или если не решался на это, убедясь в неправоте его, тогда истец объявлял, что вот, дескать, провалилось дело — и все по вине этого ненасытного Прыгунова.

— Давал, мол, я ему, много давал, да все ему мало, аспиду, большего захотелось!..

Или:

— Противная сторона упредила: высыпала этому Прыгунову — он их и вытянул...

Так и жил Кондрат Кузьмич взяточником по всей Москве.

«Что ж, такова, видно, моя судьба, — думал он, — крест это, посланный мне Богом, и должен я нести его».

И Кондрат Кузьмич нес этот крест на широкой своей спине и смирялся духом под этой тяжестью. С каждым годом становился он все набожнее и набожнее, в свободное от служебных занятий время читал душеспасительные книги, не пропускал почти ни одной службы в своей приходской церкви, раньше всех приходил, позже всех уходил. Его можно было видеть всегда на одном и том же месте, возле клироса,

где он подпевал дьячку и певчим. Наконец он сделался как бы неизбежной принадлежностью церкви, получил в ней значение, выбран был, по всеобщему желанию прихожан, церковным старостой. И эта обязанность стала его главным удовольствием.

Прослужил Кондрат Кузьмич в сенате более двадцати пяти лет и так-таки не добился повышения. Впрочем, он достиг чина коллежского советника, имел Анну на шее и «за двадцатипятилетнюю беспорочную службу» начальство, убежденное, что он великий взяточник, украсило его Владимиром четвертой степени.

К этому времени открывалась служебная вакансия, которую по всем правам, должен был наконец занять Кондрат Кузьмич. В последний раз решился он о себе напомнить и снова, как и всегда, его просьба осталась без последствий. На открывавшееся место назначили молодого, ничем не зарекомендовавшего себя. Но за этого молодого человека просило влиятельное лицо, которому отказать было невозможно.

Кондрата Кузьмича стали опять обнадеживать тем, что вот скоро еще будет вакансия — и уже он наверное тогда ее получит.

Но как ни велико было его терпение — все же этому терпению пришел конец. Он подал в отставку. Начальство изумилось и даже несколько струхнуло. Как оно будет обходиться без Прыгунова? Кем заместить его? Нельзя его выпустить!

Но он уперся на своем: в отставку да в отставку!

— Что ж, видно, разжились, любезнейший? — в сердцах сказали ему.

— Разжился, так точно! — мрачно ответил он.

Делать было нечего — его выпустили с грошовой пенсией.

В первое время сильно тосковал Кондрат Кузьмич по своей службе, с которою свыкся. Но очень-то тосковать было некогда — нужно было содержать семью, нужно было работать.

Работа нашлась: хотя и взяточник, и такой-сякой, но Прыгунов был известен как хороший делец, знаток законов — и к нему стали обращаться со всякими делами, самыми разнообразными по содержанию. Он отлично обделывал эти дела, отлично для тех, кто поручал их ему, но не для себя, так как совсем не умел запрашивать, торговаться, неисправимо верил в людскую честность и очень часто не мог даже добиться и тех небольших денег, какие себе выговаривал. По

окончании дела очень многие оставались его должниками и не платили ему даже процентов...

Борис Сергеевич, получив адрес Прыгунова, отправился к нему сам, без труда нашел он маленький деревянный домик в четыре окошка, серенький, с зелеными ставнями, с покосившимися воротами, стоявшими на запоре. Борис Сергеевич вышел из экипажа, попробовал открыть калитку, но и калитка заперта.

Тогда он разглядел железное кольцо, дернул его — раздался звонок. Никто не показывался. Прошло несколько минут, Борис Сергеевич опять дернул. Наконец за воротами послышался сильнейший собачий лай, затем чьи-то шаги, кто-то подошел изнутри к калитке. Женский голос крикнул:

— Кто тут?

— Господин Прыгунов здесь живет?

— Да вам кого?

— Да его же, господина Прыгунова... он дома?

— Да вы кто же будете?

«Вот наказание!» — подумал Борис Сергеевич.

— Господин Прыгунов дома или нет? — не без раздражения спросил он.

— Дома-то, дома...

— Так отворите...

Наконец калитка отворилась, и в ней показалась довольно грязного и придурковатого вида служанка. Увидя господский экипаж и седого барина, она несколько переменяла тон и проговорила:

— Пожалуйста! Я вот сбегаю, скажу Кондрату Кузьмичу, они в садике.

Она пропустила Бориса Сергеевича и заперла за ним калитку, а сама, подобрав подол, побежала.

Мигом на Бориса Сергеевича с лаем накинулись несколько собак, из которых одна не особенно ласково глядела. Но он не смутился — и не с такими собачками ему приходилось встречаться в Сибири! Он пристально-пристально поглядел в глаза собакам, и они мигом притихли. Две стали сейчас же к нему ласкаться, а третья поджала хвост и с тихим рычаньем спряталась в конуру, находившуюся тут же, у ворот.

Борис Сергеевич огляделся. Он был среди маленького дворика, почти заросшего травой. Слева от него было крылечко, ведущее в дом, справа сарай, из которого вдруг донеслось мычанье коровы. Между сараем и домом шел заборчик садика. На дворе бродили куры.

Скоро вернулась служанка и сказала:

— Пожалуйста в гостиную, Кондрат Кузьмич сейчас будут.

Борис Сергеевич поднялся по скрипящим ступенькам крылечка. Служанка отперла дверь — он очутился в маленькой и низенькой передней, все украшение которой состояло из большого ларя. Затем перед ним отворилась дверь, и он вступил в залыцу. На него пахло спертым воздухом. Несмотря на май месяц, окна были закрыты. По стенам стояли старые плетеные стулья, на окнах горшки с цветами. Низенькое фортепьяно красного дерева, этажерка с нотами. В правом углу висела огромная икона под стеклом, в серебряной ризе, с зажженной лампадой.

— В гостиную пожалуйста! — повторила служанка.

Борис Сергеевич прошел в следующую комнату. Та же незатейливая, бедная обстановка. Маленькая комната в два окошка, на окнах кисейные занавески, старое зеркало с вычурным подзеркальником, на нем дешевенькие часы, два букетика искусственных цветов в вазочках. Посреди комнаты, на крашеном вылощенном полу рукодельный коврик. Диван с жестким сиденьем, несколько кресел, стеклянный шкаф с чашечками, серебряным молочником и фарфоровыми куколками. На темных дешевых обоях две-три старые гравюры — вот и все.

Из соседней комнаты выглянула худенькая, с острым носом, бледным морщинистым лицом и умильно сжатыми губами женщина. Борис Сергеевич хотел было поклониться ей, но она уже исчезла.

Он сел в кресло и ждал.

Ждать пришлось недолго, в гостиную вошел хозяин. Теперь Кондрат Кузьмич был уже совсем старик за шестьдесят лет, маленького роста, коренастый, с коротко обстриженной седой головою, с упрямым выпуклым лбом, густыми бровями над маленькими, неопределенного цвета глазами. У него был широкий, как-то четырехугольный нос, выдающийся подбородок. На гладком выбритом, лоснящемся лице две-три бородавки. Одним словом, он был



некр>а>сив, и если в юности казался букой, то теперь уже совсем имел вид неприветл>и>вого и злого старика.>

На нем был надет длиннополый потертый сюртук, его толстые щеки подпирал высочайший туго накрахмаленный воротничок с острыми, выступающими чуть ли не до половины щек углами, одним словом, так называемый «фатермердер». Шея была обмотана длинным черным фуляром, в петличке сюртука красовалась Владимирская ленточка.

Кондрат Кузьмич вошел в гостиную спокойным шагом, крепко ступая своими короткими ногами, с изумлением взглянул на незнакомого гостя, вставшего ему навстречу, и проговорил несколько глухим голосом:

— По какому делу пожаловали, сударь? Чем могу служить? Прошу — присядьте...

Он указал на кресло, сам сел в другое, вынул из кармана большую круглую табакерку, открыл ее, привычным движением всадил в обе ноздри щепотку табаку. Затем вытерся клетчатым фуляровым платком и склонил голову, выставив вперед правое ухо, на левое он плохо слышал.

Борис Сергеевич назвал себя. Прыгунов поднял голову, зорко взглянул на гостя своими маленькими глазками и сказал:

— Радуюсь чести видеть вас, сударь, довольно наслышан... И еще батюшку вашего покойного и матушку в молодости видать приходилось... Только не знал я, что вы в Москве жительствоете, не знал я этого.

И он запнулся.

— Я из Сибири, — сказал Борис Сергеевич, — только что приехал...

— Так-с, так-с! — проговорил Прыгунов. — Чем могу служить?

— Мне о вас много говорили... Мне бы хотелось попросить вашего совета и указаний по поводу одного, как вам сказать, одного очень деликатного дела...

Кондрат Кузьмич опять выставил вперед правое ухо.

— Рекомендоваться и восхвалять себя не стану, — сказал он, — всякие дела перебивали у меня в руках. Изложите мне ваше дело, государь мой, если я могу что — возьмусь, ежели нет, так прямо и

заявлю вам... И во всяком разе, что бы вы ни изволили мне сообщить, смею вас уверить — это останется между нами.

Он поднялся с кресла, запер обе двери в гостиную, снова набил себе нос табаком, уселся и проговорил:

— Извольте излагать дело — я слушаю...

Борис Сергеевич изложил ему дело. Выслушав все, Прыгунов задумался.

— Да-с, государь мой, с первого-то раза трудненько кажется, никаких нитей, не за что уцепиться... Надо будет подумать.

— Да вы свободны, Кондрат Кузьмич? — спросил Борис Сергеевич.

— Свободен, свободен...

— Я оттого спрашиваю, что полагаю — прежде всего, если вы только возьметесь за это дело, вам придется съездить в Петербург...

— Не знаю, быть может, подумаю, подумаю и ответ вам дам.

— Когда же? Я должен спешить в деревню...

— Да и поезжайте с Богом. Вот я запишу адрес и затем письменно буду сноситься с вами. Столько лет лежало дело, так спешить-то куда?

— Значит, вы беретесь?

— Еще не знаю, соображу, подумаю... Отчего не попробовать!

Попробовать можно, только выйдет ли толк...

— Расходами не стесняйтесь, — сказал Борис Сергеевич.

— Лишнего не истрачу.

— Сколько же вам на первый случай оставить?

Кондрат Кузьмич усмехнулся.

— А я почему знаю, государь мой! Такое дело — может, и копейки не придется истратить, а может, и тысячку, и другую, и третью...

— Ну, так вот возьмите и тысячку, и другую, и третью, — сказал Борис Сергеевич, вынул портфель, отсчитал три тысячи и положил их перед Прыгуновым.

Кондрат Кузьмич встал с кресла, вышел в соседнюю комнату, затем вернулся с чернильницей, гусиным пером и листом бумаги. Он аккуратно пересчитал деньги, написал расписку в их получении и подал ее Борису Сергеевичу.

— Зачем это? — сказал тот.

— А как же-с иначе: получаю деньги — выдаю расписку.

Они обо всем условились, и Борис Сергеевич уехал.

## XXVI. СУПРУГИ

Прыгунов проводил гостя до калитки, возвратился в гостиную и перед столиком, на котором оставил три тысячи, застал маленькую и сухонькую, с длинным острым носом старушку, ту самую, которая выглянула из двери, когда в гостиной сидел Борис Сергеевич. Это была жена Прыгунова, Олимпиада Петровна.

Она с изумлением и в то же время с видимым удовольствием глядела на деньги, осторожно перебирая их своими бледными пальцами.

— Три тысячи? — проговорила она.

— Так точно, Олимпиада Петровна, три тысячи!

— Что же, это твои деньги?

— Нет, не мои...

— Так чего ты их по столам валяешь!..

— А вот сейчас спрячу.

— Что это за старик был у тебя, Кондрат Кузьмич?

— Ну, матушка, тебе это знать совсем лишнее. Был человек по делу — и больше ничего.

Она присела в кресло, взглянула на мужа и покачала головою.

— Да ведь мне что, Кондрат Кузьмич? Очень мне нужно знать, кто у тебя был!.. Кто бы ни был — мне все едино... А вот ты мне скажи: дело-то это, ты взялся за него? Много ли зарабатываешь?

— Не знаю, матушка, много ли, мало ли, ничего еще не знаю... Я не купец, не торговался...

Она опять покачала головою:

— То-то вот, не торговался. А работы небось навалил на себя кучу и будешь ты теперь мыкаться туда-сюда, как гончая какая... Эх, Кондрат Кузьмич, всю-то жизнь свою мыкался ты, мыкался, и ни до чего-то ты на старости лет не домыкался!

— Ну, пошла, — проворчал, махнув рукою, Прыгунов.

И опять вынул он свою круглую табакерку, похлопал ее пальцем и стал набивать себе нос.

А Олимпиада Петровна мерным и грустным голосом продолжала:

— То-то, небось, не нравится, когда правду в глаза говорят. Ну, скажи — неправда разве? Ну, отвечай? До чего ты домыкался?.. Ведь смотри — совсем старик стал, уж глохнуть начинаешь...

Кондрат Кузьмич привскочил с кресла. Жена коснулась самого его больного места. Он тщательно скрывал свою глухоту.

— Ну вот и лжешь! Как глохнуть начинаю? И не думаю... Это ты, матушка, глухая тетеря, зовешь иногда, зовешь — не дозовешься... А я слышу, все слышу!..

Она тихонько усмехнулась.

— Положим даже, что и слышишь, а все же вон у тебя из ушей целые седые кусты выросли, как гриб старый мхом обрастаешь... А дом-то вот совсем покосился. Рамы никуда негодны, от окон дует... Ведь всю зиму-то я зубами мучилась... Давно перестроить надо — ан нечем... Теперь опять вот Сонюшка из института приедет на лето, экипировать ее надобно, что тут подделаю?! Увидала я эти деньги, ну, думаю, слава Богу — разжились... А он: не мои деньги! Да когда же у тебя твои-то будут? Гляди ты на людей, на своих же приятелей, сенатских, — у всех-то палаты, у всех-то жены да дочери нарядные, в своих каретах разъезжают... А мы, почитай, как нищие... Детей народил кучу...

— Матушка, помилосердствуй! Да и где же куча — старших-то всех схоронили, четверо осталось...

— Четверо, — протянула она, — то-то и горе, мелюзга все! Я вот еле ползаю, ты грибом стал — помрем мы с тобой их не пристроивши — что тогда будет?

— А что Бог даст! Я вот тоже сиротой по четырнадцатому году остался, а не пропал, не помер с голоду, вышел в люди...

— Нечего сказать, хорош вышел!

— Да, матушка, вышел, вышел! — начиная сердиться и стучать пальцами по столу, заговорил Кондрат Кузьмич. — А на сенатских ты мне не указывай. Откуда у них палаты, и наряды, и кареты?

— Известно откуда — со службы.

— Со службы! — презрительно протянул Прыгунов. — От взяток, сударыня, Олимпиада Петровна, вот откуда!..

Она подняла на него свои выцветшие, слезящиеся глазки и опять стала качать головою.

— А много ты взял со своей честностью? Кого в ней уверишь? Да про тебя-то небось больше гораздо, чем про них, говорят... И что такое взятки — ведь это не грабеж, не вымогательство... Люди от души предлагают, за дело!

Кондрат Кузьмич вскочил и засеменил на месте ногами, затопал. Лицо его с четырехугольным носом, с бородавками и нависшими бровями все покраснело и стало страшным.

— Не говори ты так, не гневи Бога, постыдись, одумайся!

Но она не испугалась мужниного гнева.

— Да обидно! — вздохнула она. — Пальцем на тебя показывают: взяточник, взяточник — а тут никаким манером концов с концами свести нельзя... А коли уж взяточник, так хотя бы пожить всласть, а то задаром — обидно! И ведь все-то так прямо и говорят: богачи вы, говорят. Иной раз плачешь, плачешь...

— А ты не плачь, умная голова, не плачь — а смейся!.. Богачи так богачи, тем лучше. Вот Соня подрастет, через год-другой замуж ей пора, так хороший жених скорее найдется.

— Жди, как же, так ты кого-нибудь и надуешь! Нет, батюшка, теперь не то, что прежде, теперь каждый начистоту — сначала, мол, покажи денежки, дай их пощупать...

— Эх, да что мне толковать с тобою! — пробурчал Кондрат Кузьмич совсем расстроенный и ушел в свою комнату, в так называемый «кабинет».

Комнатка эта была крошечная, с маленьким письменным столом у единственного окошка, выходявшего в сад, с жестким диваном, двумя креслами и шкафиком, в котором лежали старые книги в кожаных переплетах. Верхние полки были заняты Четие-Минеями, творениями святых отцов, на нижних помещался «Свод законов Российской Империи».

Кондрат Кузьмич сел перед письменным столом, развернул записку, оставленную ему Горбатовым, в которой заключались немногие сведения относительно предложенного ему теперь дела. Он прочел записку и задумался. Мало-помалу в его голове начал складываться план действий. Дело было не новое, в течение жизни ему пришлось уже несколько раз разыскивать пропавших людей, и всегда он успешно достигал цели.

«Бог даст и тут удастся. Дело хорошее, доброе дело! А в Петербург придется съездить! Ну что же, и прокатимся! Шутка сказать: годов двадцать не был в Петербурге! Чай, много перемен! Оно даже и полезно для здоровья, а то уж совсем засиделся в белокаменной, двадцать лет ни с места!»

«В землю врос, мхом обрастаю... гриб!» — вспоминал он слова супруги.

«Ну какой же я гриб?»

Он обернулся к стенке, на которой висело маленькое зеркальце. В этом зеркальце отразилась его круглая, подпираемая фатермердерами голова, вся обросшая седыми, щетиной стоящими волосами, красное лицо, четырехугольный нос, огромные бородавки, несколько торчащие уши с пучками росших из них седых волос. Он сам увидел, что точно, он очень похож на гриб, и с досадой отвернулся от зеркала.

Он отворил маленькое окошко, причем убедился, что рамы, действительно, очень плохи. В комнату ворвался свежий весенний запах.

В садике солнце заливало распустившиеся кусты сирени. Девочка лет десяти и два маленьких мальчика бегали и возились в густой траве. Со двора доносилось квохтанье кур... Вот замычала корова...

И вдруг все эти звуки, и ясный весенний день, и кусты сирени, и детские фигуры в траве показались ему такими отрадными, такими хорошими и веселыми. Он забыл о том, что он «гриб», забыл, что всю жизнь «мыкался» и сгибался под тяжестью ниспосланного ему креста, что он, честный человек, нес незаслуженное клеймо... Забыл все!.. Из глубины его просветленного духа поднялось радостное чувство, и он прошептал:

«Господи, Создатель мой! Благодарю тебя за твои милости!..»

Он снова стал думать о предложенном ему деле. «Бог поможет!» — решил он.

В это время раздался благовест. Кондрат Кузьмич перекрестился, надел мягкую шляпу, взял в руки толстую камышовую палку с костяным набалдашником и отправился в церковь.

В церкви было еще пусто. Только две старушки клали земные поклоны. Кондрат Кузьмич, поставив палку и положив шляпу на определенное место, тихим, почти неслышным шагом прошел к свечному ларю, вынул из кармана ключ, отпер ларь, разложил свечи,

затем отобрал из них несколько и, еще с большей осторожностью и благоговением, прошел с ними к иконостасу.

Привычно вставлял он свечи в паникадила, зажигал их одну за другою, шептал молитвы, крестился перед каждой иконой, низко кланялся, касаясь правой рукой пола. Обойдя таким образом все иконы, Кондрат Кузьмич прошел к алтарю, где уже находился священник.

Он подошел к батюшке под благословение и затем вступил с ним в беседу полупшепотом, объявил ему, что по неотложному делу выедет не то завтра, не то послезавтра в Петербург.

Священник до крайности изумился. Как так, статочное ли это дело? Кондрат Кузьмич — и вдруг в Петербург! Батюшку разбирало любопытство и ужасно хотелось узнать, по какому такому делу церковный староста, двадцать лет не выезжавший из Москвы, вдруг пускается в такое дальнее путешествие.

Но Кондрат Кузьмич молчал, и батюшка с глубоким вздохом отошел от него и стал приготовляться к служению.

После вечерни Прыгунов вернулся домой, пообедал, а затем опять вышел из дому, взял извозчика и поехал на Басманную, в известный всей Москве старинный и громадный, всегда стоявший с запертыми воротами и заколоченными ставнями дом Горбатовых.

Застав Бориса Сергеевича, он объявил ему, что все обдумал и готов взяться за дело и что прежде всего ему, действительно, следует съездить в Петербург.

— Так вы и поезжайте! — сказал Борис Сергеевич.

— Когда же прикажете?

— Когда угодно, по-моему, чем скорее, тем лучше.

— А коли так, то завтра же я и тронусь.

— И будете писать мне в Горбатовское?

— Беспременно и аккуратным образом.

Борис Сергеевич предложил Прыгунову провести с ним вечер, и они побеседовали довольно долго, вспомнили старые годы в Москве, университет, где Прыгунов окончил курс несколько ранее Горбатова, но под руководством тех же профессоров. Затем Борис Сергеевич, которому делец мало-помалу начинал нравиться, совсем разговорился, рассказал кое-что из сибирской жизни.

Наконец был призван Степан. Ему была небезызвестна история покойного Владимира Сергеевича и его Александры Николаевны. Оказалось, что вся тогдашняя горбатовская прислуга в Петербурге доподлинно знала эту историю. Прыгунов заставил Степана вспомнить все, назвать ему имена всех служивших в петербургском доме Горбатовых. Он попросил лист бумаги и карандаш и записывал за Степаном.

— Времени-то вот только больно много прошло! — заметил Степан. — А мы нешто знаем, сибиряки-то, кто из тех людей в живых остался, а кто нет...

Кондрат Кузьмич кивал головою:

— Да уж это понятно — не многих найду, а все же кто-нибудь, пожалуй, и сыщется... Дело такое, что ничем пренебрегать нельзя. Иной раз самое что ни на есть махонькое обстоятельство, по всем видимостям ничего не стоящее, а смотришь — оно-то и оказывается самым важным!..

— Так, батюшка, так, — подтверждал Степан, — это точно! Как знать, где найдешь, где потеряешь?

Совсем уже поздно вернулся домой Кондрат Кузьмич. Это с ним случалось очень редко. Олимпиада Петровна была в большом беспокойстве, так как была в полной уверенности, что ее «гриб» вернется «без задних ног», как она выражалась, то есть пьяный. Он вообще почти никогда не пил, но если случалось ему раза два-три в год не воздержаться, то хмель разбирал его быстро, и во хмелю он делался буйным.

Однако на этот раз, к изумлению Олимпиады Петровны, супруга не привезли, а приехал он сам, вошел твердой походкой, даже извинился, что не предупредил о своем позднем возвращении.

— Случай такой вышел! — сказал он. — А теперь спать, пора спать!..

Он быстро разделся и тотчас же захрапел.

На следующее утро Олимпиаду Петровну ожидало совсем невероятное событие: проснувшись, Кондрат Кузьмич объявил ей, что нынче же уезжает в Петербург.

— Эка спохватился! — сказала она. — Нешто нынче первое апреля? Давно уже май месяц, небось!..



— Ну! Ну! — строго выговорил Кондрат Кузьмич. — Какие тут шутки! Нечего время-то терять, прикажи, матушка, Анисье с чердака чемодан притащить, да отбери мне белье, и я вот, как напьюсь чаю, так сам и уложу чемодан.

Олимпиада Петровна всплеснула руками.

— Матушки-светы, да никак ты и взаправду?

— А то как же?

— В Пе... в Петербург?

— Ну да!

— Кондрат Кузьмич, опомнись, голубчик! Как же это ты... В Петербург? Подумай только!.. Да надолго ли?

— А и сам не знаю...

— И один, один едешь?

— Что ж меня, волки съедят, что ли?!

Олимпиада Петровна совсем растерялась. Она стала выкладывать мужнину белье и платье, ее бледные руки дрожали, а из выцветших глаз капали слезы, и она их тихонько утирала, чтобы никто, а пуще всего «он», не заметил.

Когда все было готово, Кондрат Кузьмич передал жене необходимые распоряжения, оставил ей небольшую сумму денег, троекратно поцеловался с нею, потом благословил детей и велел кликнуть извозчика.

Он облекся в коричневую камлотовую шинель с несколькими мал-мала меньше, нашитыми один на другой, воротниками, нахлобучил свою пуховую шляпу, превратился совсем уже в настоящий «гриб» — и уехал.

## XXVII. ПРЫГУНОВ ДЕЙСТВУЕТ

Довольно долгое время не получал Борис Сергеевич известий от Прыгунова. Но вот наконец в Горбатовское пришло письмо из Петербурга. Кондрат Кузьмич писал:

«Милостивейший Государь мой, Борис Сергеевич! Не извещал Вас по сие время, ибо не о чем было. Первые мои справки и поиски в Петербурге оказались тщетными, и я уже намеревался было покинуть сию столицу, когда случайно попал на человека, осветившего мне предстоящий дальнейший путь. Дело наше, с Божьею помощью, быть может, и будет доведено до благополучного окончания. Завтрашнего числа отъезжаю из Петербурга, так как, по всем приметам, искомые нами субъекты должны находиться в Москве. О дальнейшем не замедлю известить Вас.

А за сим честь имею пребывать, Милостивейший Государь мой, Вашим нижайшим и покорнейшим слугою.  
Кондрат Прыгунов».

Письмо это доставило Борису Сергеевичу немало удовольствия, и он с нетерпением ожидал извещения о последующем. Оно не замедлило получиться, но не заключало в себе никаких объяснений.

Кондрат Кузьмич писал, что ему необходимо лично переговорить со своим доверителем и поэтому он просил позволения приехать в Горбатовское.

Борис Сергеевич даже немного подсадовал. Что за церемонии, мог бы ехать прямо, а то напрасная только проволочка времени!

И написал Прыгунову, прося его не откладывать своей поездки. Рассчитали они со Степаном день и выслали лошадей.

И вот Кондрат Кузьмич в Горбатовском.

Приезд этого таинственного человека, о котором хозяин ничего определенного не сказал домашним, произвел некоторое впечатление. Сергей Владимирович даже обрадовался, как ребенок, увидя вылезавшего из коляски Прыгунова в широкополой шляпе почти такого же фасона, как у факельщиков, в камлотовой шинели с

бесчисленными воротниками. А когда из-под шляпы показались фатермердеры, четырехугольный нос и бородавки, Сергей пришел в чистый восторг.

— Ну уж, дядя, — говорил он и Мари, и Наташе, и Николаю, — нет, да вы подите сюда, взгляните!.. И откуда он только выкопал такое сокровище? Ведь это всю жизнь искать — так не найдешь! Верно, из Сибири, быть может, какой-нибудь лама....

— Ну, на ламу-то он не похож, — заметил Николай, — и не сибиряк — это тоже наверное... Это Москвою пахнет.

— Одним словом, таинственности у нас заводятся! — сказал Сергей и при этом зевнул.

Восторга его как не бывало: изумительный незнакомец прошел в дом, и вот опять стало скучно.

Борис Сергеевич ожидал Прыгунова в своем кабинете. Кондрат Кузьмич вошел, быстрым взглядом оглядел комнату, с видимым удовольствием заметил в правом углу ее образ, набожно перекрестился, а затем стал раскланиваться перед хозяином.

— Садитесь, садитесь, любезнейший Кондрат Кузьмич, — говорил Горбатов, пододвигая ему покойное кресло. — Я думаю, утомились, жарко сегодня?

— Тепленько, государь мой, тепленько! Да я, знаете, люблю такую погоду, — пар костей не ломит, особенно в деревенском чистом воздухе... Ехал: наслаждение просто! Места у вас чудесные. Ну да и палаты! Хорош ваш московский дом, сколько лет проезжал мимо — все на него заглядывался, а уж тут совсем царская резиденция!

— Да, широко! — сказал Борис Сергеевич. — Отец, как женился, так дом этот заново перестроил и всю жизнь, до кончины своей, почти безвыездно здесь прожил с матушкой. Мы родились здесь и выросли. И вот мне Господь привел сюда же вернуться на старость.

— Так-с, так-с! — повторил Прыгунов.

Ему даже как-то неловко становилось среди этой непривычной подавляющей своим величием роскоши. Но он быстро справился с неловкостью, вынул табакерку, нюхнул раз-другой табачку всласть и заговорил:

— По первоначально обратимся к делу, сударь...

— Что же? Есть успех? Узнали вы что-нибудь наверное?

— Да как вам сказать — и да и нет. И много узнал, а коли с другой стороны посмотреть — так и ничего.

— Как так?

— А изволите ли видеть, я в Петербурге всю старую пыль встряхнул, столбом поднял! Как столб-то этот рассеялся, так и очутился передо мною один человек, старичок такой, соседом он был этой самой особы, которую мы ищем, жил с нею по одной лестнице, дверь об дверь. Ну и узнал все по соседству. И братца вашего покойного видал, даже не раз с ним беседовал, так как, по тому же опять соседству, захаживал к этой Александре Николаевне... И ребеночка нянчил, говорит: такой шустрый, славный был мальчишка. Петрушей звали... Все это верно, как по писаному, изложил мне... Что же, спрашиваю, случилось с Александрой Николаевной и Петрушей? «А приехала, говорит, из Москвы дама, раза три всего навестила Александру Николаевну, а затем забрала и ее и Петрушу, и увезла с собою».

— Какая дама?

— Вот и я тоже спрашиваю его — какая дама? «Не молода, говорит, она была, да и не стара... Теперь-то, значит, старуха, коли жива». Что же, сродственница она была Александре Николаевне, что ли? — спрашиваю я. «Нет, не сродственница, только та уж очень ее уважала». А как звали даму-то? «Дай Бог памяти!» — задумался мой старичок, задумался. Я просто ни жив, ни мертв... «Вспомнил, — говорит, — звали ее Капитолиной Ивановной Мироновой». То есть, сказал он мне это, батюшка Борис Сергеевич, как сказал, так вот, кажется, взял бы я его да и зацеловал от радости!

— А что? Разве вы ее знаете?

— Да помилуйте, как не знать! Капитолины-то Ивановны? Она наша прихожанка, почитай наша соседка... И извольте видеть, дело-то какое: в Петербург махнул, пыль столбом поднял, более двух недель попусту возился, а разгадка-то у меня под боком!.. И многие годы каждое воскресенье просвирку после обедни подношу я этой разгадке!

— Ну, так что же, что же ваша Капитолина Ивановна? — в нетерпении спрашивал Борис Сергеевич.

— Само собою, я сейчас в Москву и прямо к ней... Только вот тут-то и осекся. Завел разговор обиняком про Петербург. Рассказываю, говорю, мол, двадцать лет из своего прихода не выезжал, а тут, по

неожиданному делу, в Петербург попал... А вы, мол, Капитолина Ивановна, в Петербурге-то бывали? «Бывала, — говорил, — да давно, давнее вашего, лет более тридцати тому назад ездила». И пустилась в рассказни. Я слушаю да мимо ушей пускаю, а перебить-то ее не смею: старуха она строгая и обидчивая, иной раз не знаешь, как ей и потрафить. Наконец остановилась. А по какому случаю, спрашиваю, вы в Петербург ездили? «По своим делам», — говорит. «А вот что я хотел спросить у вас, матушка Капитолина Ивановна, не знавали ли вы в Петербурге Александры Николаевны Степановой?» Спрашиваю, а сам гляжу, гляжу на нее. Вздогнула моя старуха, покраснела даже. Ну, одним словом, себя кругом мне выдала. «Нет, говорит, Кондрат Кузьмич, не знавала я такую». Не знали? А с кем это вы, сударыня, из Петербурга в Москву тогда поехали, еще мальчик маленький, Петрушей звали, с вами был? Доконал я ее совсем — сидит, молчит, слова прибрать не может, да вдруг как рассердится моя старуха! «Что же это ты, сударь, меня допрашивать пришел, что ли?» И стала она мне отчитывать: «Знала не знала, а говорить с вами об этом не буду, хотите гостем быть — сидите, чайку вот напьемся, а допросов чтобы не было... Да и напрасно... Слова ведь не скажу, не ваше это совсем дело!..» Ну, я ее, само собою, всячески стал урезонивать. Вы, говорю, не обижайтесь, Капитолина Ивановна, я не за худым чем пришел к вам, может, я с собою счастье несую этому мальчику, Петруше-то. «Не нужно, говорит ему вашего счастья... Да и нет его уже на свете, Петруши. Умер он, все умерли!..»

— Умерли! — тоскливо произнес Борис Сергеевич.

— Да-с! Как она сказала мне, что все умерли, так я уж и знал, что если кто и умер, так уж Петруша-то жив, наверное. Только, видите ли, по ее рассуждению ему не надо счастья, которое я с собою принес... Провести тоже меня вздумала Капитолина Ивановна! Так ведь я ее не первый год знаю... Одно слово: ручаюсь вам головой, сударь мой, — жив этот самый Петруша, только я промахнулся, не так к ней подъехал и попортил дело. Мне она теперь ни за что в мире не скажет — такой уж у нее характер... Вот я зачем к вам и предьявляюсь: коли желаете добыть Петрушу, так надо вам со мною в Москву ехать. Чего я не добился — вы, может, добьетесь.

— Хорошо! — сказал Борис Сергеевич. — Я и так в Москву собирался... Написали бы прямо, что надо мне самому ехать — я бы

теперь уже там был... А так мы с вами, Кондрат Кузьмич, только время потеряли!..

— В таком деле, я вам докладывал, неделя-другая — невелика потеря... Уж извините, да и не знал ведь я, что вы в Москву собираетесь...

— Во всяком случае, вы хорошо сделали, что приехали, — поспешно сказал Борис Сергеевич, заметив, что несколько смутил Прыгунова, — вместе отправимся, веселье в дороге будет... Итак, решено, сегодня вы отдохнете здесь у меня, погуляете, а завтра и в путь! Так, что ли? Ладно?

— Да уж на что же ладнее! — отозвался Прыгунов.

Хозяин провел его в назначенную ему комнату, где он умылся и пообчистился, и затем за завтраком представил его домашним.

Сергей не прочь был для общего удовольствия немножко потешиться над этим странным гостем, но Кондрат Кузьмич сразу осадил его своей серьезностью и чувством собственного достоинства. Он нисколько не потерялся в этом обществе и оставался самим собою, то и дело прибегал к своей круглой табакерке, очень спокойно и с тактом поддерживал беседу.

После завтрака Борис Сергеевич пошел показывать ему парк, и к вечеру Прыгунов, очень довольный и Горбатовским, и оказанным ему приемом, говорил, что давно не проводил такого прекрасного дня.

Он говорил правду. Раздеваясь и ложась спать в царской, как он выражался про себя, комнате, он думал:

«Какая благодать-то бывает на свете! Вот как живут люди — рай земной, да и только! Да и люди-то хорошие!..»

Ему нравился и хозяин, и молодые люди, и красивые дамы, и дети милые, нравилась даже и Катерина Михайловна, хотя она во весь день удостоила его всего двумя-тремя фразами.

«Важная и почтенная дама! — думал он про нее. — Счастливые люди — сто лет им жить, так и то умирать не надо — счастливые люди!..»

И очень бы изумился Кондрат Кузьмич, если бы ему сказали, что во всем этом доме самый счастливый человек, пожалуй, он, даже несмотря на тяжелую ношу постыдного и несправедливого обвинения, тяготевшего над ним. У него было спокойно на сердце, в прошедшем он не видел ни мучительных упреков совести, ни сознания

неисправимых ошибок. А будущее являлось тихим бледным закатом будничного, трудового дня...

На следующее утро, ко всеобщему изумлению, Борис Сергеевич уехал с Прыгуновым. Он обещал вернуться недели через две, самое позднее через три. Он уезжал с большой тяжестью на сердце, и, прощаясь с Наташей, шепнул ей:

— Я был бы счастлив, если бы знал, что, вернувшись, найду тебя иной, чем оставляю, такой, какую увидел тебя в первый раз в Знаменском.

Она ничего ему не ответила, только крепко-крепко поцеловала.

В городе они застали Груню, привезенную еще накануне из Горбатовского, и взяли ее с собою. Отныне и она поручена была заботам того же Кондрата Кузьмича.

## XXVIII. НАД БЕЗДНОЙ

По отъезде Бориса Сергеевича почти все в доме заметили большую пустоту и даже испытали тоскливое чувство. Бывают такие люди — они не шумят, не распоряжаются, не вмешиваются во все и во вся, не навязываются своими советами и предложениями; напротив, их почти не видно и не слышно, а между тем они наполняют весь дом своим присутствием. Такие люди приносят с собою что-то тихое, успокаивающее, примиряющее, и особенно, если в доме неладно, они являются благодетелями, в них все бессознательно ищут поддержку и находят ее. И все это делается так, само собою, никто даже не замечает этого, не вдумывается, откуда происходит такое целящее и устрояющее жизненный порядок свойство человека. И когда этот человек далек, когда в нем нет нужды и когда без него идет все гладко, о нем, конечно, забывают, а вспоминая случайно, не ценят того невидимого, но великого добра, которое приносило его присутствие.

К числу подобных людей принадлежал и Борис Сергеевич. Пока он был тут, гроза, собиравшаяся в семье Горбатовых, все еще медлила разразиться — присутствие его отстраняло ее.

Но вот он уехал, и особенно Наташа почувствовала себя одинокой, без поддержки, предоставленной своим собственным силам, которые, она чувствовала, были слабы. С каждой минутой отсутствие дяди тяготило ее больше и больше.

Остальные на следующий же день уже стали не замечать образовавшейся по отъезде хозяина пустоты. Катерина Михайловна даже почувствовала себя гораздо лучше. Теперь она делалась полной хозяйкой, и ей казалось, что уже настало время исполнения ее заветных мечтаний...

Прошло несколько дней. От Бориса Сергеевича уже было получено письмо, заключавшее в себе некоторые распоряжения по дому и извещавшее, что его приезд несколько откладывается, так как ему придется съездить в Петербург. Письмо это было адресовано Сергею, пришло во время завтрака, его читали громко.

— В таком случае, верно, я увижусь с дядей в Петербурге, — сказал Николай.



— Это каким образом? — спросила Катерина Михайловна.

— Я думаю на днях ехать.

— Как! В Петербург? Зачем? — изумились все.

Только Наташа опустила глаза и ничего не сказала.

— Вот фантазия! — даже обиженным тоном произнесла Мари. — Вечно выдумает что-нибудь ни с чем не сообразное.

Николай пожал плечами.

— Отчего же несообразное? Если бы не было нужно, если бы не было дела, так не поехал бы.

— Да какие дела, я наверно знаю, что нет никаких и не может быть!.. Приехал на все лето и вдруг, ни с того ни с сего, уезжает, и, главное, когда же — жара ужасная... Еще вчера я от тетушки получила письмо, пишет, что в Петербурге просто задыхаются.

— А тем не менее я все же поеду, — сказал Николай таким тоном, после которого, как Мари давно уже и хорошо знала, что возражать ему и спорить было бесполезно.

Вдруг Мари как будто сообразила что-то, на апатичном лице ее промелькнуло даже волнение, ее губы нервно дрогнули.

— Впрочем, хорошо, пожалуй, и лучше, что ты едешь... уезжай! — сказала она.

Николай с изумлением взглянул на нее.

— Да, уезжай, — повторила она уже почти шепотом, наклоняясь к нему, — только ведь куда ты от себя не уедешь... куда!..

Он даже вздрогнул.

— Что это значит? — спросил он.

— Ничего, — ответила она и погрузилась в свою обычную неподвижность...

Николай весь день не мог забыть странной фразы жены и невольно смущался ею. Обмануться было нельзя. Это вовсе не было случайной фразой. Мари, очевидно, знала, что такое говорит и зачем говорит — иначе она не сказала бы шепотом... да и лицо у нее было, когда она говорила, совсем особенное — прежде у нее никогда не бывало такого лица! Только в это самое последнее время Николай стал замечать у нее новое и каждый раз смущавшее его выражение. Теперь он невольно сопоставлял и обдумывал поведение Мари с ним с тех пор, как он приехал в Знаменское.

«Она другая, совсем другая!» — решил он.

Он думал, что уже давно изучил ее. Да и изучать-то особенно было нечего. Она уже несколько лет как бы не существовала для него, являлась обычным, неизбежным обстоятельством, против которого возмущаться нельзя, которого отстранить невозможно, как какой-нибудь физический недостаток — сломанную руку или ногу, или потерянный глаз, или горб.

С некоторого времени, однако, ее существование, тут, рядом, возле, с ее правами не только на внешнюю сторону его жизни, но и на частицу внутренней, вдруг стало тяготить его, раздражать. Привычка и равнодушное, спокойное отношение к этому неизбежному злу вдруг каким-то образом порвались. И хотя он продолжал хорошо понимать, что «эта сломанная рука», что этот «горб» неизбежны, но не мог победить в себе тоски, негодования, все чаще и чаще возбуждаемых ими.

Было несколько дней в Знаменском, когда, несмотря на обуревавшие его чувства, ему тоскливо хотелось вернуться к Мари, найти в ней что-нибудь ему нужное, милое и заветное. Он искал, искал в ней всего этого, конечно, не находил и возмущался еще больше, и тосковал еще сильнее, задыхался в ее присутствии.

В самые последние дни, со времени знаменского пожара, в нем появилось относительно Мари еще новое чувство. Он не мог определить его, не знал, как оно называется, знал только одно, что оно растет в нем с каждым днем и начинает его окончательно замучивать. Это чувство был страх.

Да, он теперь боялся Мари, боялся ее прав, о которых она почему-то, что прежде с нею случалось очень редко, стала напоминать ему. Боялся он и еще чего-то, и вот, наконец, после ее фразы, сказанной за завтраком, он понял, чего боялся...

Наступил вечер, все отпили чай в большой столовой. Дети уже ушли спать. Выплывшая из-за деревьев луна озарила широкие цветники перед домом своим матовым светом, положила длинные тени от всех предметов. Вечер был тихий и теплый. Николай хотел было пройти в свою спальню, но вспомнил, что там ведь столкнется с Мари, что там она царит и, может быть, снова встретит его какой-нибудь фразой, каким-нибудь словом, о смысле которых он не посмеет даже и спросить ее...

«Нет, ни за что, ни за что!»

Ему хотелось уйти как можно дальше от этого дома, от этой спальни, от Мари. Ему захотелось всю ночь пробродить в этом теплом полусумраке...

Он вышел в сад и направился к озеру, не замечая тихой неги, окружавшей его, которая, казалось, так и ластилась, так и нашептывала что-то сладкое и заветное... Нет, в нем не было теперь места сладким грезам, каким он, бывало, любил предаваться в такие тихие, летние ночи. В нем клокотала буря, кипело сердце. Он страдал глубоко и не смел даже назвать себе своего страдания. И опять над ним звучали слова Мари:

«Никуда не уедешь от себя, никуда».

«Да, это правда! Правда! Никуда не уедешь!..»

«Но как же она поняла это, и что она поняла? Что? Как? Откуда могла она понять?.. И разве она понять может... и разве ей нужно понимать это!.. Какое ей дело, что я для нее значу?..»

В нем поднималась злоба.

«Да и нечего совсем понимать ей, нечего! Нет... нет!..» — повторял он в тоске и отчаянии.

Но в то же время перед ним мелькнула недавняя картина: он открывает глаза, в первую минуту не понимая, где он и что с ним такое, только голова как бы налита свинцом и страшная слабость во всем теле, а кругом мрак. И вот из этого мрака все яснее и яснее чудное, милое лицо Наташи. Так близко... тут, сейчас!.. В ее глазах он видит, ясно видит, испуг, мученье... любовь!.. А рядом с этим лицом другое... лицо жены... Но она только как будто промелькнула, и он ее не видит. Он продолжает глядеть на Наташу, одна она перед ним, одна в целом мире!..

Да, любовь, любовь! Она не уйдет, не скроется теперь... он все прочел в ее взгляде, все понял!..

Этот миг прошел — он совсем очнулся, приехал доктор и Наташа опять далека, и по-прежнему веет от нее холодом, и по-прежнему она избегает глядеть на него, а если глядит, то уже ничего не говорят ему ее глаза, ее взгляды скользят мимо...

Но ведь это был не сон, не бред — это была она в ту минуту, это она глядела!.. И он знал теперь, знал наверно то, что приводило его в такой ужас, то, что поднимало вместе с тем в груди его неизъяснимое, невыносимое блаженство...

«Скорее отсюда, скорее! — повторил он. — Завтра же уехать, уехать!.. А потом что?.. Как жить? Как жить?..»

Он только чувствовал одно, что нельзя, нельзя жить после этого мига, после этого взгляда.

Он провел холодной, дрожащей рукой по своему разгоряченному лбу и огляделся. Он снова был теперь на дорожке к цветникам, и в двух шагах от него из-за кустов сквозили посеребренные лунным светом белые колонки беседки.

Это была сквозная красивая беседка в греческом стиле. Посередине ее, на высоком мраморном пьедестале, белелась статуя. Давно-давно была построена эта беседка. И многое она видела. В ней часто, рука об руку, сживали в такие же светлые летние вечера любимец императора Павла — Сергей Борисович Горбатов со своей дорогой Татьяной Владимировной. Сживал в ней и старый карлик Моська, рассказывая маленьким мальчикам, Борису и Владимиру, удивительные истории про житье-бытье в Петербурге в царствование императрицы Елизаветы, про ужасы французской революции в Париже, про тихую жизнь гатчинского двора...

И в этой же самой беседке, когда Николая не было еще на свете, раздавались страстные слова и поцелуи его матери, в то время как уже несколько прискучившийся ею ее возлюбленный, граф Щапский, осторожно отстранял ее, боясь, что кто-нибудь их увидит...

Но ничего этого не знал Николай, вряд ли он когда-нибудь и был в этой беседке, разве в первые годы детства, в то время, о котором в нем не сохранилось даже и туманных воспоминаний.

Бессознательно повернул он к беседке, поднялся по ее ступеням — и остановился. Перед ним, на мраморной скамье, озаренной луною, бледная, почти прозрачная, как привидение, в своем белом прозрачном платье, склонив голову, сидела Наташа.

Он отшатнулся, он хотел было идти назад, но ноги его не послушались, будто какая-то сила приковала его к месту... и тихо прошептал он:

— Наташаа

Она подняла голову, едва слышный стон вырвался из груди ее. Но и она не шевельнулась. У него туманилась голова, он ничего не понимал, ничего не соображал, он кинулся к ней, схватил ее руки и упал перед нею на колени.

— Наташа!!! — шептал он, и все его муки, и весь ужас, вся тоска долгих, невыносимых дней слышались в его голосе. — Наташа, что же ты не бежишь от меня?! Зачем не бежишь?.. Ведь ты меня боишься... я тебе страшен... Наташа, беги же, беги!..

Он все крепче сжимал ее руки и глядел на нее с выражением ужаса и обожания. Она не отнимала от него рук своих. Крупные слезы одна за другою скатывались по ее бледным щекам.

— Мне некуда бежать от тебя!.. — наконец прошептали ее помертвелые губы.

Еще один миг — и все закружилось у них перед глазами, и, сами не зная как, они очутились в объятиях друг у друга. Их слезы смешались, смешались их безумные, жаркие поцелуи...

Но это был только миг.

— Боже мой! — крикнула Наташа, отрываясь от него и закрывая лицо руками.

Он поднялся бледный и страшный, глаза его так и горели в полумраке. И превыше всех мук и ужаса, превыше внезапного сознания, что и этот миг прошел и никогда уже не вернется больше, в нем горело и всего его наполняло, потрясая своей могучею силою, то великое, никогда еще неизведанное им блаженство, о котором грезил он всю жизнь, которого тщетно искал, которое стало, наконец, представляться ему несуществующим в земной жизни.

— Прости! — прошептал он, найдя в себе внезапную решимость уйти. — Прости... завтра же я уеду...

Как безумный выбежал он из беседки.

## XXIX. ОТЕЦ

— Загорелось! Вот ведь характер! Выдумает что-нибудь — так вынь да положь! — с большой досадой говорил Сергей, узнав от Мари, что брат уезжает.

— И ведь он сам вчера сказал: «Через несколько дней поеду», а тут вдруг сегодня! И где он теперь?.. Этак нельзя, я пойду, поговорю, он должен остаться, что за вздор такой в самом деле? Где он?

— С утра еще заперся в своем кабинете, — ответила Мари, — да оставь ты его, не трогай, ведь ты знаешь, на него иногда находит такое... вот и теперь нашло... Говоришь с ним, а он даже и не отвечает... Нет, право, пусть уж лучше едет...

— Когда же?

— Велел уложить вещи и приготовить лошадей сейчас после обеда. Ночевать хочет в городе, а завтра чуть свет в дорогу...

Сергей пожал плечами и ушел.

Он сам был в дурном настроении духа. Наташа его напугала. Она почти не спала всю ночь, и он несколько раз, просыпаясь, слышал, что она плачет. Утром она объявила, что больна, и не вышла из спальни. Он сказал ей, что сейчас же сам поедет в город за доктором, но она просила его не делать этого и просила так решительно, что он не смел ослушаться. Он хотел было остаться с нею, но она сказала ему:

— Уходи, уходи, мне ничего не надо, я прошу только оставить меня одну! Все пройдет... пожалуйста, оставь меня... и никому, слышишь ли, не говори, что я нездорова, я выйду к завтраку...

Он невольно задумался. Как ни был он беспечен и легкомыслен, все же перемена, происшедшая в Наташе в последнее время, не могла ускользнуть от него.

Неужели это я наделал своим дурацким признанием?

И, может быть, в первый раз в жизни он раскаивался в том, что сделал.

Ему хотелось забыться, и он решился совершить большую прогулку пешком, до усталости, что часто помогало ему в затруднительные минуты. Он крикнул Гектора, своего любимого сеттера, и вышел с ним из дома.

«Кстати, наведаюсь в Знаменское, — думал он, — посмотрю, что там делается».

Он пошел лесной опушкой, избегая пыльной дороги. У поворота из леса к Знаменскому он издали заметил пыльный городской тарантас, запряженный парой уставших потных лошадей.

«Чудеса! — подумал он, остановясь. — Кому это ехать по знаменской дороге в Горбатовское?»

Он взгляделся, но за пылью ничего не мог разглядеть.

«Э, да черт его возьми! Какое мне дело», — решил он, свистнул Гектора и пошел дальше...

Между тем тарантас приближался к Горбатовскому и уже был в виду самой усадьбы, когда сидевший в нем человек крикнул извозчику:

— Стой!

Лошади остановились. Из тарантаса не без труда вышел щегольски одетый, но как-то по-иностранному, старик и на ломаном русском языке объяснил извозчику, чтобы он подождал его тут в тени у ручья, что самое большее через час он вернется и поедет обратно.

Извозчик почесал в голове и покачал головою.

— Эх, барин, барин, — сказал он, — уж как это мы будем вертаться — я и не знаю! Лошадей больно запарили... Час времени — много ли, не отдохнут в час времени!..

Барин вслушался и сердитым голосом сказал:

— А я ж тебя и нанимал так, чтобы назад до города.

— Да нанимать вы изволили в Знаменское, а не в Горбатовское.

— А ты бы мне сказал, что Знаменское сгорело.

— Чего мне говорить, подряжают в Знаменское — я и везу.

Старик совсем рассердился.

— Кацап, глупый кацап, — крикнул он, — два карбованца прибавлю тебе и ты молчать, жди меня здесь!

Он направился к дому, сильно опираясь на щегольскую трость и несколько волоча правую ногу. Теперь, при ярком солнечном освещении, видно было, что жизнь, да вдобавок еще и не спокойная, а бурная положила свой отпечаток на лицо этого человека. Он не только был стар, но и дрябл, все лицо его было в морщинах, под глазами образовались мешки.

Но все же на этом старом и дряблом лице сохранились еще кое-какие следы прежней красоты. Черные как уголь глаза его еще вспыхивали. Вся его фигура, его обдуманый костюм изобличали в нем человека хорошего общества, и при том, видимо, он до сих пор занимался собою. Он и теперь вдруг остановился, вынул из кармана складной гребешок и бережно расчесал им свои длинные седые усы, потом тонким батистовым платком обмахнул пыль со своего пальто и пошел дальше.

Подойдя почти к самому дому, он стал пристально его оглядывать, потом отошел несколько, видимо, поджидая, не выйдет ли кто-нибудь. Заметив вышедшего и остановившегося у ворот человека, он направился к нему и еще издали замахал ему рукою.

От этого человека он узнал, что Борис Сергеевич «уехамши» (впрочем, он уже и знал это), что барыня Катерина Михайловна дома и сейчас были в саду, а теперь прошли и находятся, надо полагать, на террасе.

— А ты, любезный, обойди да взгляни — если на террасе госпожа... вернись и мне скажи.

И говоря это, он сунул в руку человека целковый. Тот даже не поблагодарил, быстро кинулся исполнять приказание. Вернувшись через минуту, он объявил:

— Так точно, барыня на террасе.

— Одна?

— Одни. Прикажете доложить?

— Нет, не надо. Ведь это так, сюда? Я дорогу знаю!..

Он, действительно, знал дорогу и, насколько позволяла не совсем послушная правая нога, быстро направился к террасе через маленькую калитку. Он взошел по ее ступеням, увидел сидевшую старушку, которая с изумлением на него взглянула. И на его лице тоже промелькнуло нечто вроде изумления. Но он тотчас же овладел собою, снял шляпу, причем показался еще более старым, так как на голове было очень мало волос, и почтительно поклонился.

Катерина Михайловна, продолжая смотреть на него с изумлением, кивнула головою в ответ на его поклон и спросила:

— Что вам угодно?

В ее голосе прозвучала даже робость, почти страх: «Что это такое? Откуда взялся этот старик? И каковы это люди-то! Пускают так



прямо, без доклада!»

— Madame ne reconnaît plus un vieil ami? — сказал старик и, продолжая говорить по-французски, добавил: — Впрочем, немудрено, столько лет!.. От меня ничего не осталось...

Звук этого голоса заставил ее вздрогнуть.

Она вгляделась, побледнела, встала было, на ее лице изобразился ужас. Она сделала движение, как будто хотела уйти, но пошатнулась и села опять в кресло.

— Вы? Вы? Здесь! — шептали ее дрожащие губы. — Зачем?

— А все же узнали! — улыбнулся и сверкнул глазами старик. — Я очень счастлив, а то был уверен, что уж никто меня не узнает!.. Позвольте сесть? Я устал...

Не дожидаясь ответа, он придвинул себе стул и спокойно уселся.

Катерина Михайловна все еще не могла прийти в себя. В появлении этого старика, друга, о котором она не думала, и уже в особенности теперь, было для нее столько ужасного. В ней поднялась тоска, заговорил страх...

«Какое счастье, что нет Бориса! — подумала она. — Но откуда он явился, откуда взялся? Как смел явиться?..»

И тоска и страх, вызванные неожиданностью этого появления, уступили место негодованию. Теперь бледность сменилась на ее лице яркой краской. Мало-помалу она овладела собою и взглянула ему в глаза со всею ненавистью, на какую была способна.

— Граф, — сказала она, — и пренебрежение прозвучало в ее голосе, — вы просто испугали меня, я никого не ждала и не привыкла, что ко мне входят без доклада... но я должна вам сказать, что и теперь... ваш приезд меня изумляет... Я, кажется, не подала вам никакого повода... я считала вас все же благовоспитанным человеком и думала, что мы с вами давно незнакомы и не встретимся больше, а уж особенно — у меня!.. Он нисколько не смутился.

— Ах, как вы нелюбезны! — сказал он.

И снова ей стало тяжело и неловко, и снова ей захотелось уйти, исчезнуть спрятаться от этого человека с его холодной, злой усмешкой на дряблом лице, с его горящими, страшными глазами.

— Нам нечего объясняться! — произнесла она наконец. — Скажите мне только, что привело вас сюда, что вам надо от меня? Наши счета так давно кончены...

Он медленно покачал головой.

— Да, мы давно расстались с вами, — заговорил он, — давно, ведь уж около тридцати лет — целая вечность!.. Мы расстались после ссоры... Вы обвиняли меня, а мне казалось, что главным образом виноват не я, а вы, но ведь... это было так давно!.. Много ли от нас теперь осталось? И вы и я уже не те... Теперь мы можем глядеть на прошлое спокойно, должны забыть все неприятное, что было между нами... Я давно это сделал... Я помню только хорошие минуты, и вот на склоне моей печальной жизни, как говорят поэты, мне хотелось еще повидать вас — и я перед вами, а вы так дурно меня встречаете... да протяните же руку, старый друг! Неужели я ехал столько верст, трясясь в этих ужасных русских тарантасах, чтобы вы меня от себя прогнали...

Но она не давала ему руки. Она презрительно усмехнулась.

— Неужели вы думаете, — сказала она, — что я поверю этому вздору? Разве я вас не знаю!.. Видите — я очень терпелива, но не злоупотребляйте же моим терпением... объясните мне дерзость вашего приезда!

— А!.. Если так! — прошептал он и на мгновение остановился. Лицо его передернуло, он устремил на Катерину Михайловну пристальный, пронизывающий взгляд и добавил: — Если так, я скажу вам истинную причину: я желаю видеть моего сына...

У Катерины Михайловны все закружилось перед глазами. Она едва удержалась от крика, который готов был вырваться из груди ее. Она хотела кинуться на этого старика и задушить его собственными руками.

А он говорил:

— Да, я слишком долго маялся в жизни и вот теперь, на старости лет, остался один, без родных, без друзей... Я испытывал всякие превратности, меня бросало и вниз и вверх... и, наконец, я потерял не только близких людей, но и состояние... И вот я вспомнил, что далеко, в России, у меня есть близкое существо — мой сын... И хотя слишком поздно, быть может, но я почувствовал, что он мне дорог, что я люблю его... Я пустился в путь, приехал сюда, хочу его видеть и увижу... Я знаю, что он здесь.

Она снова была бледна как полотно. Она поняла, что поймана и что не вырвется из накинутых на нее сетей, что этого человека не

образумишь, не разжалобишь, не уговоришь. Она слишком хорошо его знала.

Едва ворочая своим сухим языком и стараясь придать спокойствие голосу, она произнесла:

— Вы понимаете, что это вздор! Какой сын? У вас нет сына! Вы, очевидно, хотите мне мстить, вы желаете неприятностей, скандала в моей семье... Но подумайте: я не беззащитна... нельзя безнаказанно врываться в дом для того, чтобы делать дерзости хозяйке.

— Вы говорите не обдумав! — спокойным тоном ответил старик. — Я именно и не хочу скандала, а вы, кажется, его сами желаете.

— Но он не поверит вам!.. Он, как следует, ответит на обиду, которую вы наносите матери!..

— Вы намереваетесь восстановить сына против отца?..

Она вся дрожала как в лихорадке и будто сквозь туман и мрак слышала страшный голос, говоривший:

— ...но я обдумал все... У меня с собой доказательства того, что он мой сын, ваши письма... он должен будет им поверить!..

«Все кончено!» — с отчаянием подумала она, и новая страшная мысль пришла ей в голову: «А вдруг кто-нибудь их услышит?»

— Ради Бога — тише! — прошептала она.

— Не беспокойтесь!

Он встал, заглянул в дверь, ведущую из террасы в залу, и вернулся на свое место.

— Никого нет — и к тому же я говорю тихо... Вот вы... почти кричите!

— Продайте мне эти проклятые письма! — сказала она. — Вы говорите, что потеряли состояние, вам нужны деньги... Продайте мне письма и уезжайте, оставьте меня в покое... Что все это стоит?

И в то же время она думала:

«А что, если я только этим доведу его до крайности... оскорблю его?.. Но нет, нет... он таков...»

Все же она испугалась слов своих, а между тем эти слова, очевидно, не произвели на него особенного действия, он остался спокоен и, не опуская глаз, тихо выговорил:

— Дорого все это стоит... да я полагаю, вы и не думаете, что я могу дешево продать эти письма и мое молчание... Вы сами поставили

этот вопрос... хорошо — поговорим... Мне надо пятьсот тысяч... Конечно, это немаленькая сумма, но для госпожи Горбатовой она не представит особенного затруднения...

— Пятьсот тысяч! Боже мой, да откуда я возьму эти деньги? Я совсем разорена! Я и подумать не могу о такой сумме!

— Вы разорены?.. Я не знал этого... тем хуже!.. Впрочем, во всяком случае мы можем условиться... Я рассрочу... на первое время вы мне дадите всего пятьдесят тысяч, а затем будете платить проценты.

Она мучительно задумалась. Она соображала.

— Я и пятидесяти тысяч не могу! Все, что у меня есть теперь, это двадцать тысяч... я готова, я дам вам их сейчас... а вы отдайте мне мои письма!..

Он покачал головою.

— Как это ни странно... такая бедность ваша, но я готов поверить вам, что больше двадцати тысяч у вас нет... Хорошо, я возьму их, но писем вам, конечно, не отдам... Я возьму деньги и уеду, а затем, когда вы вернетесь в Петербург, мы с вами сговоримся и тогда увидим... Согласны?..

Она с отвращением, как на страшного и противного гада, на него взглянула, хотела что-то ответить, но в это мгновение в зале послышались шаги, и на террасу вышел Николай.

Он направился было к матери, но заметил незнакомого человека и остановился в изумлении.

Старик встал, окинул Николая быстрым взглядом, поклонился ему и, обращаясь к Катерине Михайловне, сказал:

— Познакомьте нас.

Ее губы зашевелились, но она не произнесла ни звука. Она чувствовала, что вот-вот сейчас не выдержит и упадет. Вся терраса так и ходила, так и вертелась перед ее глазами, в виски стучало, захватывало дыхание.

Она собрала все силы и не своим голосом произнесла:

— Граф Щапский...

А затем, обратись к нему, прибавила:

— Я вернусь, принесу бумаги, о которых мы говорили...

И она вышла в залу, тихо, едва передвигая ноги, держась за мебель, не зная, как дойдет до своих комнат.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## I. СТАРЫЙ КРЕМЕНЬ

Снова коляска Бориса Сергеевича спускается от Пречистенских ворот, но теперь она заворачивает к Зачатьевскому монастырю. Добрые кони мчат прямо по Остоженке, затем сворачивают в один из узких, кривых переулков и останавливаются у дощатого, выкрашенного в дикую краску забора, который сверху весь утыкан, от воров и кошек, длинными острыми гвоздями. За забором густо разрослись кусты акации и сирени, далее поднимаются вершины старых тенистых деревьев. Вот и ворота, вот и домик, небольшой домик с мезонином.

Но и домик, и ворота совсем не таковы, как у Кондрата Кузьмича. Все это старо, но, видно, заботливый хозяйский глаз следит за тем, чтобы скрыть следы этой старости. Ворота носят на себе признаки недавней починки. Дом выкрашен, как и забор сада, в дикенький, приятный для глаза цвет. Стекла окон так и блестят на солнце, ставни ярко-зеленого цвета, так же, как и крыша. На воротах с каждой стороны над двумя калитками, из которых, впрочем, только одна — настоящая калитка, а другая фальшивая, для симметрии, прибиты две желтых доски. На одной рука «живописных дел мастера» изобразила:

«Сей дом принадлежит дворянке Капитолине Ивановне Мироновой Пречистенской части 3-ва кв.»

На другой: «Свободен от постоя».

Борис Сергеевич вышел из коляски и позвонил у калитки. На его звон тотчас отозвался собачий лай.

«Ну, — подумал он, вспомнив свой визит к Прыгунову, — и тут будет та же история!»

Но он ошибся, ему не пришлось долго дожидаться. Калитка отворилась, и выглянувшая из-за нее служанка вовсе не была похожа на придурковатую и грязную прислужницу Прыгуновых, напротив, это была степенного, почти даже важного вида женщина и весьма опрятная.

Она с изумлением взглянула на Горбатова, но когда он спросил, дома ли Капитолина Ивановна, очень любезно объяснила ему, что Капитолина Ивановна дома, что она в саду, в беседке.

— Пожалуйста, сударь, — сказала она, — вот сюда...

Двор был маленький, но чисто выметенный, на нем не расхаживали куры, собака была всего одна, да и то на цепи.

— Вот-с, в калитку, в калитку пожалуйста! — говорила служанка. — Капитолина Ивановна так и наказали: коли кто к ним, так в сад проводи, в беседку... Вот тут... Все прямо, прямо по этой дорожке. Да позвольте, я вперед пройду — упредить их...

— Пожалуйста! — сказал Борис Сергеевич и пропустил служанку, которая быстрым шагом направилась прямо по дорожке.

Он медленно последовал за нею.

«Как здесь хорошо!» — невольно подумал он.

Он только что приехал из Горбатовского, из своего громадного, роскошного дома, из чудного парка, наполненного всеми затеями старого барства, но, несмотря на все это, маленький садик казался ему привлекательным, в нем веяло какой-то особенной тишиною.

Узенькая, усыпанная желтым песком дорожка была чисто-чисто выметена. По обеим сторонам ее шли грядки с цветами, старые кусты акации были тщательно подстрижены. За двумя развесистыми кленами, которыми оканчивалась эта дорожка, виднелся небольшой огород...

Вдруг где-то близко Борис Сергеевич услышал старческий голос, ворчливо говоривший:

— Так что же это ты, мать моя, совсем, что ли, одурела? Неведомо какого человека прямо сюда тащишь!..

Он остановился, хотел было повернуть назад, но это оказалось поздно. Он был перед маленькой деревянной беседкой. В беседке стоял белый некрашенный стол, на нем блюда с вычищенной малиной, банки. Возле беседки помещалась жаровня, и на ней, в ярко вычищенном медном тазу, варилось, покрываясь бурливо поднимающейся пеной, варенье.

Переведя глаза во внутренность беседки, Борис Сергеевич увидел озадаченную фигуру уже знакомой ему служанки, а за нею и Капитолину Ивановну.

Он не мог ошибиться — это была она, по описанию Прыгунова. Маленькая толстая старушка с короткой шеей, с круглой спиной. Она была совсем некрасива, большой неопределенной формы нос, обвисшие и теперь горевшие от жару и раздражения щеки, несколько

ввалившийся, почти беззубый рот, маленькие серые, сохранившие ясность и живость глаза, седоватые брови, выведенные в виде вопросительных знаков, редкие седые волосы, гладко причесанные и напомаженные. На голове чепчик с кружевцами и лиловыми ленточками, коричневое полубатистовое платье с белыми мушками...

Все это мелькнуло перед Борисом Сергеевичем, но он пока, главным образом, заметил только, что в этой простенькой и некрасивой толстой старушке есть нечто особенное, чего ему нечасто приходилось встречать в людях. Она взглянула на него, и под ее взглядом он как-то невольно смутился, будто спросил себя: «То ли он делает, что нужно?» А она между тем уже к нему обратилась:

— Прошу извинить, — сказала она, однако, ничуть не смущаясь, — незнакомых людей у меня не бывает... Эта женщина не догадалась просить вас в дом... С кем имею удовольствие говорить?

Борис Сергеевич себя назвал.

Старушка из красной сделалась багровой, сердитый огонек блеснул в ее глазах. Но это было только мгновение. Она тотчас же оправилась и, горделиво поклонившись гостю, проговорила:

— Здесь вам будет совсем неудобно, прошу за мною в дом.

— Машка! — прибавила она, обращаясь к девочке. — Смотри ты у меня, не упусти варенье! Да и ты тут оставайся, Лукерья...

— Слушаю-с! — не без робости ответила провинившаяся женщина.

Капитолина Ивановна важно, хотя и с маленькой перевалкой, пошла вперед, указывая гостю дорогу. Вот они поднялись по ступенькам маленького балкончика и вошли в залу. Это была светлая просторная комната, вся белая — и обои белые, и пол белый, некрашенный, гладкий, блестящий, как слоновая кость, и старая мебель в белых чехлах, даже зеркало занавешено от мух белой кисеей. Только и было цветного во всей комнате, что у каждого окошка деревянные покрашенные в зеленый цвет горки с горшками цветов.

Капитолина Ивановна несколько мрачно указала гостю на диван.

— Сядьте сюда, здесь вам будет удобнее.

А сама придвинула себе кресло, уселась и смотрела на Бориса Сергеевича пристальным взглядом. Ему решительно становилось неловко под этим взглядом.



«Пренеприятная старуха», — невольно подумал он. Но опять-таки было в ней что-то такое, что его заинтересовало.

— Теперь прошу вас объяснить мне, какое дело могло-привести вас ко мне? Зачем я вам понадобилась?

Ее взгляд сделался совсем строгим, и вопросительные знаки, т. е. брови, сдвинулись, образуя на лбу бесчисленные морщины.

— Если вы вспомните ваш последний разговор с Кондратом Кузьмичем Прыгуновым, то поймете, по какому случаю я решился беспокоить вас, Капитолина Ивановна.

Капитолина Ивановна из багровой сделалась совсем синей, так что становилось за нее почти страшно. Она пожевала губами и кинула теперь уже откровенно сердитый взгляд на гостя.

— Так-с, — произнесла она, — понимаю, понимаю теперь все. Но если это вы послали ко мне Прыгунова, то, полагаю я, вам известно и то, что я ему ответила?

— Известно...

— Так чего же вам еще от меня угодно?

— Вы сказали, что все умерли.

— Да-с!

— В таком случае, не будете ли так добры подробно объяснить мне, как они умерли.

— А зачем бы это знать вам, сударь? Только буду просить я вас, батюшка, не ведите вы со мною политику... Я, признаться сказать, терпеть этого не могу!..

— И я тоже этого терпеть не могу, — сказал вслед за нею Борис Сергеевич, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

Она как-то поежилась и кашлянула. Дело в том, что этот неожиданный гость помимо ее воли начинал производить на нее хорошее впечатление.

«Какое у него прекрасное и благородное лицо!» — подумала она про себя, но тотчас же и постаралась снова стать сердитой.

А Борис Сергеевич продолжал:

— Я прямо и откровенно скажу вам все, так будет гораздо лучше, или вот что — прочту я вам несколько строк одного письма.

Он вынул находившееся при нем письмо покойного брата и прочел все, что касалось Петруши и его матери.

— Та-а-к! — протянула Капитолина Ивановна, — но только все это напрасно...

— Как напрасно? — изумленно воскликнул Борис Сергеевич. — Мне тяжело осуждать умершего брата да и бесполезно это, он был, конечно, очень виноват, но видите — и сам страдал за свою вину, как это почти всегда бывает в жизни... Он поручил мне, насколько возможно, исправить сделанное им зло... Это предсмертная его просьба и, конечно, я не могу оставить ее без внимания — вы ведь понимаете это!..

— Так-с! — протянула опять Капитолина Ивановна. — Все это прекрасно, и, конечно, ваши действия достойны всякой похвалы — но, видите ли, батюшка, поздно уж очень!.. Как сказала я Прыгунову Кондрату Кузьмичу, так и вам повторяю, нет их на свете — умерли! Что же с этим поделаешь! Кому же вы благодетельствовать-то будете? И что я еще могу сказать вам? Вы узнали, не понимаю каким способом, что мне это дело известно, спрашиваете меня — я не отпираюсь. Да, батюшка, знала я, хорошо знала несчастную, соблазненную вашим покойным братом девушку. Была она дочерью воспитанницы моей матушки. Матушка воспитанницу свою выдала замуж, пристроила за человека хорошего, непьющего, ну, само собой, не за дворянина — купцом он был... Сашеньку я помню совсем маленькой... Жили они сначала в Москве, а затем отец ее получил в наследство лавку в Петербурге — вот и переехали они тогда. Да уж, видно, такова воля Божья — умер он там, а за ним и жена скоро. Осталась Сашенька сироткой, на руках у отцовской родни, да непутевые-то люди оказались, не уберегли ее... Подвернулся ваш братец, важный барин, собою красавец... Ну, как они там все это... вспоминать не хочу!.. Писала мне Сашенька, да долго скрывала от меня, а потом и не выдержала. А у меня к тому времени дело в Петербурге оказалось, я и собралась и поехала. Приехала и вижу: срам и позор! Она, конечно, что же... Девушка простая... (голос Капитолины Ивановны дрогнул). Обидеть ее и не церемониться с нею не грех важному барину! Может, у него и не одна она такая была... За честь должна была считать. Ну, а я-то вот, извините вы меня, за бесчестие почла. Объяснила ей все, послушалась она меня... Да и несчастная больно была... Увезла я ее. С тех пор ведь более тридцати годов прошло! Увезла я ее уж больную, и года не протянула моя

Сашенька — скончалась... А за нею и мальчик... Вот вам и весь мой сказ!..

Борис Сергеевич покачал головою и пристально, будто магнетизируя Капиталину Ивановну, стал смотреть ей в глаза. И чудное дело — не выдержала она его взгляда, неловко ей так под ним стало.

«Да что же он в меня уставился? — сердито думала она. — Чего это в душу-то заглядывает?»

— Нехорошо! — спокойно проговорил Борис Сергеевич. — Нехорошо это — зачем вы меня обманываете? Ведь я знаю, что они живы, а если мать и умерла, так уж ребенок-то жив наверно!

— Знаете?.. Как знаете?.. Откуда? — снова вся вспыхивая, прошептала Капитолина Ивановна. — Кто мог вам выдумать это, когда они умерли...

— Я не знаю вашей цели, — сказал он. — Если вы решились скрывать от меня и молчать — что же я могу с этим сделать! Одно только знайте, я этого дела не оставлю. Люди так не пропадают. Если они действительно умерли, то потрудитесь мне представить тому доказательства.

— Не нахожу нужным даже и этого, батюшка, не нахожу нужным... — несколько раз упорно повторила Капитолина Ивановна, глядя на гостя вызывающим взглядом.

— А впрочем, — прибавила она, — потрудитесь обратиться на Ваганьковское кладбище — там я их схоронила...

«Ну что же ты... Ну чего еще ждать... Ну и уходи...» — думала она.

Он взял шляпу и поднялся с дивана.

— Извините, — сказал он, — я пришел к вам не со злом и не знаю, зачем вам нужно лишать человека того, что, может быть, составит его счастье.

— То же вот самое и делец ваш, Кондрат Кузьмич, мне говорил! — уж совсем насмешливо воскликнула Капитолина Ивановна. — Только мне все невдомек, какое такое счастье вы бы принесли этому незаконнорожденному сыну вашего брата, если бы он и в живых был? Ведь признать его законным, дать ему вашу знаменитую фамилию вы не можете... Что ж! Обогащать его — это вы, что ли, подразумеваете? Так разве в богатстве счастье? Да сами-то вы,

будучи богаты и знатны, испытали вы счастье от богатства и знатности? Если было у вас счастье в жизни, так откуда пришло оно — деньги его дали, что ли? Так-то, государь мой, уж коли на то пошло!.. И она глядела все с той же насмешливой улыбкой.

— Да, вы правы, — откровенно признался он, — но я должен исполнить волю покойного брата, и этот сын его — мне не чужой. Если бы я нашел его, я дал бы ему не одни деньги, я был бы ему родным и близким человеком, и, может быть, это на что-нибудь ему бы и пригодилось.

— У вас есть другие родные... Есть племяннички законные...

Невольно заняло его сердце при этом слове.

— Любите их, этих ваших наследников, любите их и они пусть вас любят. А уж Петрушу бедного оставьте в его могилке...

«Что же это? — думал Борис Серегеевич. — Ошибся, что ли, Прыгунов? Правду она говорит или нет? Есть что-то, есть!.. Крепкая старуха... И ведь справедливо рассуждает... и нечего ей ответить...»

Он раскланялся и вышел. Капитолина Ивановна любезно проводила его и затем, подойдя к окошку, смотрела, как он садился в коляску.

«Что, небось, смутила я тебя? — думала она. — Правда ведь, батюшка, правда!.. Нечего сказать, важны очень! Эх, благодетели... Благодетели!.. Насмехаться над человеком, изуродовать его, жизнь всю его загубить... Уложить в могилу раннюю, а потом, через тридцать-то лет, с благодеяниями! Нечего, батюшка, нечего... Возвращайся ты в твои золотые хоромы несолоно похлебавши, а уж мы тут в бедноте своей останемся, не про нас ваши золотые хоромы... Петруша! На поди, ищи — нет его, умер Петруша!.. Доказательства — добыюсь, говорил — как же, добыешься!.. И Прыгунов тоже, старый подьячий, со мной тягаться вздумал! Ну что же, Кузьмич, потягаемся, потягаемся, умная голова...»

«Однако что же я — пойти скорее посмотреть — не переварила ли Машка варенье!..»

## II. НА ОСТОЖЕНКЕ

Капитолина Ивановна с давних лет была неотъемлемой принадлежностью Остоженки, где ее знали все без исключения, от мала до велика. Когда она выходила из своего домика, летом — в коричневом платье с белыми мушками, черной шелковой мантилье и удивительной шляпе, похожей на будку, а зимою — в широчайшем лисьем салопе и капоте, превращавших ее фигуру в шар, ей приходилось останавливаться почти на каждом шагу.

— Здравствуйте, Капитолина Ивановна!

— Как здоровьице, почтеннейшая Капитолина Ивановна?

— А, Капитолина Ивановна! Только что я подумала, что это вас давно не видно, матушка, — а вы и тут как тут!

Капитолина Ивановна отвечала на все эти приветствия, соблюдая притом различные оттенки. Иногда она улыбалась, останавливалась и вступала с встречным или с встречной в беседу. Иному или иной просто кивала головою и важно проходила дальше. А то случалось и так, что вместо всякого ответа на приветствие, она грозилась пальцем и строго говорила:

— Ну... ну... ну! Нечего лебезить-то да спину гнуть, я тебе не начальство... Что сиротой казанской прикидываешься?.. Знаем мы все ваши проделки!..

Такой строгий реприманд относился обыкновенно к толстому и лоснящемуся от жира хозяину большого магазина, на вывеске которого значилось:

«Торговля чаем, сахаром, колониальными товарами и прочими иностранными винами!»

В ответ на такую строгость почтенный купчина только усмехался, облизывался и, ничуть не смущаясь, продолжал:

— Не зайдете ли, матушка Капитолина Ивановна, медку я вам могу предложить нового получения... Аромат, я вам скажу, деликатес! Одним словом, амбрэ!.. Чаи тоже китайские получены, самые что ни на есть лучшие, особенно могу рекомендовать вам, матушка, «чухунмы затхленькой»... букетец!..

Он складывал свои красные, жирные пальцы вместе, подносил их ко рту и чмокал.

— Ну тебя совсем, с твоим затхленьким букетцем! — сердито произносила Капитолина Ивановна. — То-то вот и есть, что ты, брат, затхленького много держишь у себя!.. В прошлый раз такую икру подсунул, что тошно глядеть было, осрамил совсем...

Купчина тарашил глаза и разводил руками.

— Что вы, матушка, обижаете! Как такое могло стать? Вам да чтобы я дурного товара отпустил!.. Кажись, столько лет угрожать стараюсь...

— Что же я тебе, врать, что ли, буду?..

— Зачем врать, сударыня... А уж и ума не приложу, как такое могло стать... разве вот Прошка как-нибудь невзначай сбился... Так я ему тут же, при вас, сударыня, уши надеру!..

— Ах, ты, иродова твоя совесть! Сбился... уши надеру... то-то вот... одному вот получше товар, другому похуже за ту же цену... Мальчишку надувать учит... уши надеру!.. За что же ты, брюхо, уши драть ему будешь? Тебя вот самого выпороть хорошенько!.. Бога позабыл... одумайся... Ведь ты, что же, не сегодня завтра лопнешь, взгляни на себя... лопнешь, так с собою в могилу, что ли, возьмешь деньжищи? Ведь тут оставишь... А мальчишки твои... протрут им глаза — не путем добытые деньги прахом и пойдут. Так-то, Прохор Петров, подумай-ка на досуге об этом, подумай, не на ветер я говорю же. А, да ну тебя! Что мне тут с тобою... некогда...

И она, важная и строгая, плыла дальше.

Прохор Петров, давно уже выстроивший себе каменные палаты и разъезжавший на рысаках по Петровскому парку с супружницей и дочерью, вовсе не привык к подобным репримандам. Напротив, даже некоторые большие господа к нему относились с любезностью, так как он давал деньги под верное обеспечение и за солидные проценты. Другого он, хорошо знавший себе цену, сумел бы и обрезать, а вот Капитолина Ивановна могла говорить, что ей угодно, и он выслушивал. А когда она уходила, то даже задумывался на мгновение:

«Строгая старуха, строгая!» — повторял он про себя.

Но при этом он не задавал себе вопроса, почему же он так смиряется перед этой строгой старухой, которая не знатна, не богата и не состоит в числе его очень выгодных покупателей. «Что уж с ней

поделаешь, известно, она такая... Ведь это не кто другой сказал, это Капитолина Ивановна...» — и больше ничего.

Дети побаивались Капитолины Ивановны и не в каждую минуту решались к ней обращаться с приветствием. Иной раз какой-нибудь мальчуган в длиннополом, чуть ли не до пяток сюртучище, переделанном из старого отцовского, или девчонка в накинута на голову платке пропищат ей при встрече:

— Мое почтение, Капитолина Ивановна!

А она поведет одним глазом и только промолвит:

— Брысь... Кыш-ш!..

И мальчишка и девчонка тотчас же сокращаются. А другой раз случится и так — улыбнется она и даже остановится.

— Ну, здравствуй, здравствуй! — скажет. — Ишь ведь ты растешь, словно гонит кто тебя кверху! Гляди, меня перерос, а ума-то, чай, ни на волос не прибавилось, шалопайничаешь, по улице таскаешься... Ну чего ты тут торчишь, ступай за буковник, долби, лентяй... На вот... на...

Порывшись в своем кармане, она вытаскивает гривенник, а то так же и двугривенный, и дает его лентяю.

— Купи леденцов, грызи, востри зубы!.. Ну, прочь с дороги...

— А, и ты тут, булка! — прибавляет она, замечая умильно улыбающуюся ей белолицую сдобную дочку булочника, вечно сидящую на завалинке возле булочной.

— В добром ли здоровье, Капитолина Ивановна? — тоненьким, сладким голосом заговаривает сдобная булочница, медленно поднимаясь с завалинки.

— Видишь, чай, здорова! А ты-то вот, мать моя, все ни с места! Распустилась совсем... Гуща ты, гуща! Проснись, матушка, доползи до меня вечерком, ленточки у меня тебе приготовлены — хорошие...

— Покорно благодарим, Капитолина Ивановна!..

Круглые, навывкате глаза девушки начинают сиять.

— Так вечерком, вы говорите?

— Да, вечерком, то-то... гуща...

Капитолина Ивановна делает строгое лицо и идет дальше...

В субботу после всенощной и в воскресенье после обедни к Капитолине Ивановне обыкновенно подходили все важные прихожане, мужчины и дамы, осведомляясь о здоровье. Церковный староста,

Прыгунов, спешил к ней с просфиркой, батюшка из алтаря высылал другую.

Капитолина Ивановна принимала все эти знаки внимания спокойно и с достоинством как должную и привычную дань. Иногда она удостаивала кое-кого приглашения к себе на пирог, и от такой чести никто не отказывался. А если какой-нибудь легкомысленный прихожанин или дама, уже заранее наметившие иное, более интересное времяпровождение, вздумают извиняться, выставляя более или менее серьезные предлоги, Капитолина Ивановна поджимала губы и цедила:

— Очень жаль, очень жаль...

И она долго не забывала такой провинности.

Если какой-нибудь новый человек, случайно попавший в Остоженский район, заинтересовывался Капитолиной Ивановной и желал знать, кто она, и что, и откуда происходит ее исключительное положение и всеобщее к ней почтение, он никак не мог получить удовлетворительного ответа. Вопрос его всех озадачивал.

— Капитолина-то Ивановна? — отвечали ему. — Да ее все знают, она испокон веков тут живет... Строгая старуха, не дай Бог ей на язык попасться!..

— Да кто же она такая — незамужняя... вдова?

— Вдова она, вдова.

— Кто же ее муж был?

Но никто не знал, кто был ее муж, потому что она никогда никому о нем не говорила. Он, очевидно, в ее жизни не сыграл особенной роли, да и умер очень давно, не в Москве, а где-то далеко, на какой-то из окраин России, где он служил. Капитолина Ивановна получала за его службу пенсию — двадцать восемь рублей с копейками в месяц и аккуратно в назначенный срок отправлялась за этой пенсией.

От матери своей, про которую было известно, что звали ее Аграфеной Николаевной, Капитолина Ивановна получила в наследство небольшой капитал, на который в незапамятные времена купила дом, а остальное положила на проценты и жила этим.

Сколько она имела — она тщательно скрывала от всех, на недостаток никогда не жаловалась, а достатка особенно не было видно. Жила она расчетливо, и жизнь ее стоила немного в те блаженные времена, когда на Остоженке все было очень дешево и когда даже



Прохор Петров продавал лучшую паюсную икру по сорока копеек за фунт.

Домик у Капитолины Ивановны был небольшой. Из залы шла гостиная, потом столовая и спальня, через коридор помещалась просторная кухня и из того же коридора вела узенькая лестница в мезонин, где находились две комнаты. Одна из них носила название «девичьей» и в ней помещалась прислуга, девочка Машка да Лукерья-кухарка, она же старшая горничная. Другая комната предназначалась для гостей и испокон веков стояла пустая. Убранство домика было крайне незатейливое, но зато все поражало у Капитолины Ивановны своей чистотой и опрятностью.

Бедная Машка должна была раз по десяти в день обходить все комнаты, навьюченная тряпками, вениками и метелками, и сметать со всего пыль. Но даже и этим не ограничивалась Капитолина Ивановна. Она сама в свободные минуты, «ради моциона», как она говорила, тоже вооружалась тряпкой и метелкой.

Хозяйка Капитолина Ивановна была отличная и гордилась своим искусством. Действительно, когда она в праздничные дни угощала гостей, то угощала их на славу. Ни у кого нельзя было наестся такой кулебяки, отведать таких наливок, такого варенья.

Жизнью своей Капитолина Ивановна, очевидно, была довольна, по крайней мере никогда не скучала и не грустила. Просыпалась она рано — зимой и летом часов в шесть. Проснувшись, любила с четверть часика пролежать на мягких пуховых перинах своей широкой старинной кровати — «передохнуть», как она говорила. Затем она вставала, усердно молилась перед киотом, наполненным старыми почернелыми образами и образками, разными ладанками, шнуточками, свечками и «маслицами», сохранявшимися от многочисленных богомольных поездок, совершенных ею в жизни.

Помолившись, она приступала к своему туалету, то есть к умыванию. Умывание это длилось почти час времени, и воды Капитолина Ивановна изводила столько, что Лукерья и Машка, таскавшие кувшин за кувшином, иной раз просто доходили до отчаяния.

Однако высказать своего отчаяния они не смели строгой барыне, и хотя обе были наемные и вольные и ничем не связаны с Капитолиной Ивановной, но боялись ее до того, что даже и мысль никогда не могла

прийти им в голову покинуть ее и найти себе другое место, где барыня менее заботилась бы о чистоте и была бы не так взыскательна.

Умывшись и одевшись, Капитолина Ивановна выходила в столовую, небольшую комнату с круглым столом посередине, дюжиной соломенных стульев да двумя шкафами с посудой. Она усаживалась к столу, на котором уже кипел самовар и стояла корзинка с мягкими, сдобными булками.

Капитолина Ивановна, как истая москвичка, очень любила чай, горячий, с густыми сметаноподобными сливками, и пила его иногда чашек по восемь — десять. В это время к ней подсаживались два серых толстых кота, давно уже составлявших принадлежность ее дома. Нельзя сказать, чтобы она их особенно любила, но все же чувствовала к ним некоторую симпатию. Они были такие же чистоплотные, как и она, ходили неслышно, не надоедали ей и, при первом же ее нетерпеливом движении, пропадали бесследно. Иногда во время этого утреннего чаепития она останавливала на них свое внимание и молча глядела то на одного, то на другого. И они в свою очередь, пристально и не мигая, глядели ей в глаза своими круглыми желтыми глазами.

— Ну вы, дураки! — вдруг заговаривала Капитолина Ивановна и звала Машку. — Пойди, принеси кошачьи блюдечки!

Машка возвращалась с двумя блюдечками, Капитолина Ивановна наливала в них сливок, разбавляла кипятком и приказывала Машке поставить в угол. Коты мягко спрыгивали со стульев и, подняв хвосты и мурлыча, подбирались к молоку. Но оно было еще горячо — они отскакивали, потом опять приближались, вытягивали морды, нюхали и осторожно пробовали языком.

Капитолина Ивановна внимательно следила за их грациозными движениями, наливала себе новую чашку чая, на этот раз уже без сливок и «вприкуску»...

Отпив чай, Капитолина Ивановна принималась за хозяйские хлопоты — навещала кладовую, потом проводила немало времени на кухне, внимательно разглядывала принесенную Лукерьей с рынка провизию и внушала ей, что и как нужно приготовить. Обедала Капитолина Ивановна обыкновенно в два часа, и только по праздникам, когда у нее бывали гости, после обедни подавался завтрак, а обед готовился к четырем часам.

В дурную погоду Капитолина Ивановна никогда не выходила из дома и, если не было посетителей, очень любила заниматься чтением. Чулок она вязала и вышивала обыкновенно только на людях, во время разговора. Был у нее старый-престарый знакомый, Порфирий Яковлевич, который являлся к ней аккуратно почти каждую неделю и поставлял ей книги. Иностранных языков она не знала, но все, что появлялось в русской литературе, ее интересовало и было ей знакомо. Гоголя она прочла несколько раз с особенным удовольствием и ставила его несравненно выше Пушкина.

— Это вот настоящий сочинитель, — говаривала она, — умрешь с ним со смеху, да и призадумаетесь тоже! В самую суть попадет, насквозь видит... Нет, Пушкин что! Высоко заносится, далеко залетает!.. Хорошо, что и говорить — хорошо, да не для нас, грешных... А этот вот взял, да целиком тебя как есть и выставил... И никуда от него не уйдешь. Нет, не было еще у нас такого сочинителя, да вряд ли будет!..

Впрочем, не без удовольствия читала Капитолина Ивановна и новые книжки журналов: «Современник» и «Отечественные записки». Доставляли ей удовольствие и барон Брамбеус, и Булгарин. Только не любила она тех историй, где много про любовь говорится.

— И все это вздор! — рассуждала она. — Так, блажь на себя люди напускают... и никакой такой любви нету, одна срамота, одна мерзость! Только пусть вот господа сочинители над дураками да над подлецами смеются — их проделки пусть выставляют, всякую вещь своим именем называют, глаза простачкам открывают, тогда это точно настоящая будет словесность, и цена ей будет большая, потом пользу немалую принести может. А «охи» да «ахи», да разные выкрутасы — это не словесность. Расписывает он какую-нибудь вертлявую девчонку и невесть что она у него — ангел во плоти, неземное создание!.. Да где же это он таких неземных созданий нашел?.. Врет, врет... еще какие земные-то все, эти Людмилы!.. Тьфу!.. Срамота — и ничего больше!..

### III. КОЛДУНЯ

Посещавшие дом Капитолины Ивановны делились на два разряда: на гостей и на своих людей. Гостиными считались все светские знакомые, люди с весьма видным положением в московском обществе, богатые и почтенные. По большей части знакомство с такими людьми Капитолина Ивановна завела очень давно, и оно передавалось из поколения в поколение.

Каждому гостю вменялось в первую обязанность помнить день именин и рождения Капитолины Ивановны и в эти дни являться к ней с поздравлениями. Затем время от времени «гости» получали приглашение в праздничные дни на кулебяку или на обед, и тогда в маленьком простеньком домике встречалось избранное московское общество.

Расфранченные дамы и девицы рассаживались на жесткой серой мебели, украшенные служебными знаками отличия кавалеры величинные разговоры, и каждый и каждая зорко следили за собою, чтобы не сделать и не сказать чего-нибудь неугодного хозяйке. Пуще всего все остерегались своего родного языка, то есть французского, который Капитолина Ивановна понимала с грехом пополам и на котором никогда не отваживались произнести ни одного слова.

Но у иных из гостей привычка болтать по-французски была так сильна, что время от времени они, забывшись, проговаривались. В таком случае строгий вид Капитолины Ивановны мгновенно их осаживал, по ее любимому выражению. Однако было уже поздно. Капитолина Ивановна обращалась к провинившейся (провинившимися по большей части бывали дамы).

— А позвольте спросить, — говорила она с легкой усмешкой, — секрет это от меня или нет — о чем вы рассказываете? Если не секрет, так прошу уж я вас, матушка, переведите! Интересно бы послушать...

Барыня конфузилась и старалась вывернуться.

— Да что вам это за охота притворяться, почтеннейшая Капитолина Ивановна! Ведь вы отлично по-французски...

— Нет, матушка, как есть ничего не понимаю... Ни слова... Хоть убейте! Что делать — неучена!.. В мое время каждый на своем родном

языке говорил и стыдом того не почитал...

Сконфуженная барыня поспешно переводила свои слова и еще больше начинала следить за собою.

Но такие стеснения и строгости Капитолины Ивановны ничуть не отваживали от нее гостей. Все почему-то было уютно и хорошо в этой необычной обстановке, да и сама Капитолина Ивановна действовала как нечто новое, свежее, оригинальное.

Иной раз она умела, сохраняя самый серьезный вид, рассказать что-нибудь смешное, отпустить острую шпильку насчет какой-нибудь важной барыни или еще более важного господина. Наконец, ведь это была Капитолина Ивановна, та самая Капитолина Ивановна, реприманды и строгости которой выслушивали еще отцы, да, пожалуй, и деды этого собравшегося элегантного общества!

И, разъезжаясь от Капитолины Ивановны, все были в хорошем настроении, на всех лицах была улыбка.

— Пресмешная и преумная старуха!

— Да, только бы ей на язык не попасться — по косточкам разберет, так на смех поднимет, что никуда и не денешься...

— А как она графа-то нынче отделала! И ведь верно, там что ни говорите... И откуда она только все знает... Такие подробности интимные... Сидит в своем переулочке, а ничего-то от нее не скроется...

— Mon Dieu, mais elle est une sorcière, la Капитолина Ивановна! C'est connu depuis longtemps!.. Она взглянет на вас — и все мысли ваши знает — разве вы этого не заметили?! И потом... ворожит на кофе... гадает... Да разве вы не помните, как три года тому назад, когда у Игнатских бриллианты пропали, она им вора открыла и указала, где вещи?..

— Да, да, слышал я что-то такое... Да ведь это вздор, конечно, пустяки...

— Mais non, du tout! Помилуйте, мне это дело отлично известно... Приезжает она к Игнатским... они в отчаянии! Подумайте: бриллиантов-то тысяч на сто, один фермуар Натальи Николаевны что стоит, ведь заглядение...

— Да, да... я знаю...

— Ну, так вот и спрашивает Капитолина Ивановна, что такое? Ей подробно рассказали. Выслушала, помолчала, подумала, пожевала

губами да и говорит: «Дайте-ка мне кофейной гущи, я вам погадаю, может, и вора открою». Подали гущу... Даже рассердилась Наталья Николаевна, сама мне рассказывала: «Такая, говорит, досада, такое горе, а старуха насмешничает, на гуще гадать хочет...»

— Ну и что же?

— А то, что посмотрела наша Капитолина Ивановна в гущу, что там увидела — это уж ее дело, а говорит: «Знаю я вора». И смотрит так строго и серьезно, что Наталье Николаевне пришло на мысль: «А что как она и впрямь знает?..» «Кто же вор? — спрашивает. — Всех людишек обыскали, ничего не нашли. Да и кроме старухи Анфисы...» Знаете ведь, чай, игнатовскую старуху Анфису?

— Ну да, как же не знать! Такая почтенная...

— А вот и говорит Наталья Николаевна: никто, говорит, кроме Анфисы и не входил ко мне в спальню и не знал, где спрятаны были мои вещи, не могу же я на нее подумать? «Боже спаси вас и помилуй! — это Капитолина Ивановна отвечает. — Грех великий такую хорошую женщину к мерзости этой приплетать! Ищите вора дальше... Полно, так ли, что никто в вашу спальню хода не знал да бриллиантов ваших не видывал? — А Фетисов-то на что?..» Наталья Николаевна даже растерялась совсем. «Матушка, — говорит, — да неужто он это сделал? Как на такого человека подумать? Ведь двоюродной племянницы муж, дворянин, в гвардии в Петербурге служил, молодой человек, такой скромный и почтительный... и родство у него хорошее». «Так оно все так, — говорит Капитолина Ивановна, — а вора я вам назвала и где ваши вещи тоже скажу».

Наталья Николаевна ни жива ни мертва: «А вдруг не так оно, и Фетисов ни в чем неповинен?.. Да и срам, ведь родственник!.. И племянницу тоже жалко, а оставить такое дело никак невозможно — шутка сказать: фамильные бриллианты».

Капитолина Ивановна и говорит: «Срам оно, точно срам, да что тут делать! Неужто негодяя, вора покрывать? А про племянницу тоже не говорите: несчастная она женщина, ее от такого мужа спасти надо, дурно он к ней относится, да и к тому же ее обманывает: давно уж мерзавку завел, не то цыганку, не то польку — Бог ее там знает... На Таганке живет в доме купца Парамонова, у нее и бриллианты все ваши, если чего не спустила...»

И так это она убедила Наталью Николаевну, что та тут же велела закладывать и прямо к обер-полицмейстеру. «Велите, — говорит, произвести обыск на Таганке у такой-то женщины». Ну и нашли все бриллианты. Польку эту в Сибирь сослали. Племянница, как вы знаете, и теперь с сынком своим у Игнатских живет. А Фетисова пожалели, ради родных пожалели, притушили дело, только велели ему сгинуть. Он сгинул... Слышно, где-то на Кавказе, что-то там такое, место какое-то получил, не знаю, не у Игнатских же спрашивать — они имени его не могут слышать!..

И не одну такую историю рассказывали про Капитолину Ивановну. Она не только указывала воров и находила пропавшие вещи, но и предугадывала будущее, то есть чем кончится такое-то дело, выйдет ли такая-то за такого замуж... К ее совету не раз прибегали в семейных неурядицах и раздорах, и всегда она разумно разбирала чужое дело, и, следуя ее советам, люди выходили из больших затруднений.

Однако надо полагать, что засаленные карты, которые она раскладывала, и гуща, в которую она глядела, были тут ни при чем. Природа наделила старуху ясным, холодным, не способным ни на какие увлечения рассудком, долгая жизнь и наблюдения над людьми научили ее хорошо понимать людей.

Очень часто, среди более или менее многолюдного общества Капитолина Ивановна вдруг замолкала, начинала жевать губами, а маленькие серые глазки ее так и бегали от одного к другому, внимательно вглядываясь в выражение лиц, в звук голоса. Большие отвисшие ее уши из-под кружевных оборочек чепчика с лиловыми ленточками чутко слушали. И скоро Капитолине Ивановне становилась ясной вся подноготная окружающих ее, их взаимные отношения, их мысли, чувства и планы.

Раскладывая засаленные карты, она мысленно проверяла свои наблюдения, подводила им итоги. У нее выходила целая система, бессознательно, сама собою сложившаяся под влиянием житейского опыта. И очень редко она ошибалась. В таких же делах, как, например, пропажа бриллиантов у Игнатских, на помощь к ее собственным наблюдениям являлись и сведения, получаемые ею одной ей ведомыми путями.

Ведь только благодаря этим сведениям могла она прямо указать — такой-то, мол, вор, и вещи там-то находятся... Подобного решения она никогда бы себе не позволила, не знаю наверно, что не ошибается. А гуща была ей нужна потому, что она любила позабавиться над людьми, «ошарашить» их, «огорошить».



## IV. СВОЙ ЧЕЛОВЕК

«Своих людей» у Капитолины Ивановны было немного, и из них прежде всего следует упомянуть о Порфирии Яковлевиче Стружке.

Порфирий Яковлевич был тот самый свой человек, который приносил Капитолине Ивановне книги, старик лет семидесяти пяти по меньшей мере, огромный, широкоплечий, страшно сухой, с костистым бритым лицом и большой, покрытой шапкой белых, как лунь, но густых и вьющихся волос, головою. Глаза у него были маленькие, темные и очень зоркие. Губы тонкие, так что иной раз их и совсем не было заметно. Нос крючковатый, подбородок острый, выдающийся.

Вообще вид Порфирий Яковлевич имел злой и страшноватый, так что дети его всегда боялись. Одевался он очень бедно и старомодно. Носил вытертый по швам длиннополый сюртук, на котором зачастую недоставало пуговиц, не Бог знает какой чистоты манишку с плохо крахмаленными и отвисающими по обеим сторонам его сухих скулистых щек воротничками. Грубые, часто залатанные сапоги, вытертые и блестящие на коленях брюки довершали его костюм. На голове у него и зимой и летом был один и тот же засаленный картуз, а на плечах зимою — донельзя вытертая енотовая шуба, а летом коротенький плащ на красной подкладке, которая от времени превратилась в бурую.

Единственное, чем любил щегольнуть Порфирий Яковлевич, были разноцветные, затканые всякими узорами, атласные и бархатные жилеты, которых в его гардеробе насчитывалась целая дюжина. Жилеты эти были привезены лет тридцать тому назад из-за границы и выиграны им в карты, о чем он даже любил рассказывать. Конечно, теперь эти удивительные жилеты уже не блестели свежестью, но все же составляли яркую противоположность с остальными статьями туалета.

Поверх жилета Порфирий Яковлевич всегда развешивал толстый бисерный небесного цвета шнурок от часов. Часы у него были большие, серебряные, толстые, в виде луковицы.

Происхождение свое Порфирий Яковлевич объяснял так:

«Дед был крепостным, отец приказным, а мы вот: брат Семен Яковлевич в Саратове из себя барина разыгрывает, а я живу себе да хлеб жую маленьким человеком, никому не мешаю, да и не люблю, чтобы мне мешали...»

Ему, впрочем, никто и не мог мешать. Был он старый холостяк и жил в крошечном домике, где-то у Андроньевского монастыря. Была у него в услужении кривая и глухая старуха, она готовила ему обед и охраняла домик во время его отсутствия. Кажется, никому еще не случилось заглянуть к Порфирию Яковлевичу, хотя не раз находились смельчаки, которые порывались это сделать.

Звонка при домике не полагалось, а стучать можно было хоть целый день без всякого результата. Заслышав стук, Порфирий Яковлевич выглядывал из-за занавесок маленького окошка, убеждался, что это стучит «татарин», то есть незванный гость, отходил от окошка и не подавал никаких признаков жизни.

Если же кому-нибудь случалось явиться во время отсутствия хозяина дома, то последствия были те же — глухая старуха как есть ничего не слышала и не двигалась из своей крошечной закоптелой кухни. Вследствие глухоты этой старухи уже много лет тому назад Порфирий Яковлевич завел двойной ключ от наружной двери и только благодаря этому ключу мог проникать в свое жилище.

Одна Капитолина Ивановна раз как-то, тоже уж очень давно, забралась к своему старому приятелю и была им впущена. Она очутилась в двух маленьких и низеньких комнатах, где никогда, даже в самую жаркую летнюю пору, не выставлялись зимние рамы и где издавна образовалась такая спертая атмосфера, что Капитолина Ивановна, привыкшая к чистому воздуху и до крайности брезгливая, тотчас же почувствовала, что у нее начинает першить в горле.

Она с нескрываемым отвращением оглядывала убранство жилья своего приятеля. Все было пыльно, грязно. В первой комнате стоял дырявый кожаный диван, шатающийся стол когда-то красного дерева, но теперь весь облупленный, испещренный глубокими бороздами от неизвестно с какой целью пробовавших крепость его ножей и покрытый белесоватыми следами горячих чайников и стаканов.

На стенах с обвисшими клочками старых обоев красовались две-три гравюры, содержание которых нельзя было разглядеть — до такой степени они были запылены и засижены мухами. Вдоль одной стены,

почти до самого потолка, шли полки, завешанные выцветшим коленкором. На этих полках в два ряда были расставлены книги. В углу стоял маленький столик и на нем лежал скрипичный футляр.

Капитолина Ивановна заглянула в следующую комнату, увидела еще больше пыли, увидела кровать с грязными подушками и еще более грязным стеганым одеялом, и даже замахала руками.

— Что это, Порфирий Яковлевич, батюшка, как у тебя все скверно! — заметила она. — Вот уж не думала... умный ты человек! Да скажи мне, на милость, умный человек разве так жить может?.. Ведь это мерзость!.. Ведь всякий нищий лучше твоего живет... Вот уж не ожидала!..

Она брезгливо осмотрелась и, подняв свою черную шелковую мантилью, с видимым отвращением присела на кончик подставленного ей хозяином стула.

— Скверно, батюшка, скверно! — проговорила она. — Да и дух какой!..

Порфирий Яковлевич стоял перед нею и только ухмылялся. Губы его совсем пропали, нос почти сходил с подбородком, и злое выражение лица стало еще злее.

— Ну и скверно!.. — наконец выговорил он. — Так ведь я разве звал вас к себе, почтеннейшая Капитолина Ивановна! Ведь не звал... Но раз, сами пожаловали... а два, какой же я умный человек? Я медведь, сами частенько изволили меня так обзывать, вот в берлоге и живу...

— То-то и есть, что во всякой берлоге чище, чем у тебя тут! — заметила Капитолина Ивановна и приподнялась со стула.

Ей решительно было противно сидеть. Она подошла к полкам, осторожно кончиками пальцев отдернула пыльные занавески и стала разглядывать книги.

— Ишь, пыль-то, пыль!.. — шептала она, и опять у нее першило в горле.

— А книг-то у вас много, Порфирий Яковлевич!..

— Много, матушка, много.

— Да и вижу я, есть такие, каких я и не знаю... Что же это ты мне не приносишь, еще в прошлый раз просила я новенького, а вы говорите нет ничего... Как же нет?..

— Да ведь тут все старое, матушка, старое...

— Для кого старое, а для меня новое...

И она, несмотря на пыль и свое отвращение, стала рыться в книгах.

— Чем же вас, сударыня, угощать прикажете? — спросил хозяин. — У меня угощение плохое — чайку вот разве не выпить ли?.. Прикажете, матушка? Моя глухая тетеря мигом самоварчик вздует...

Капитолина Ивановна обернулась и повела глазами на Порфирия Яковлевича.

— Нет, батюшка, я в такой грязи твоей чай пить не стану.

— Ну, как хотите! — тотчас же согласился хозяин. — А все же такую почтенную гостью угостить надо... ведь у меня никто, никто как есть не бывает... Сколько лет нога человеческая сюда не вступала!

Огромный старик вдруг оживился, глаза его блеснули, какая-то неопределенная странная усмешка скривила тонкие губы...

— А вот что разве, — как бы про себя шепнул он и подошел к угольному столику.

Капитолина Ивановна все рылась в книгах. Старик осторожно отпер скрипичный футляр, вынул скрипку и смычок, бережно обтер их клетчатым носовым платком, стал в позу и провел смычком по струнам.

— Это что? — почти даже с испугом вскрикнула Капитолина Ивановна, обернулась да так и застыла от изумления. — Что это, Порфирий Яковлевич, никак ты со скрипичей? В музыканты записался?

Старик между тем подтянул две-три струны, и внезапно пыльная, нищенская, душная комната огласилась медленно полившимися один за другим чудными звуками.

Капитолина Ивановна, позабыв брезгливое чувство и першение в горле, присела на дырявый диван, не спуская глаз с виртуоза.

А он стоял и водил смычком по струнам, и звуки лились, то совсем почти замирая, то поднимаясь густой, полной волною.

Капитолина Ивановна слушала и никак не могла понять, что это такое, что говорят эти звуки. Но они говорили что-то, они назойливо и властно возбуждали все ее внимание, проникали ей до самого сердца.

Наконец мало-помалу все яснее и яснее становилось строгой и холодной старухе, что такое именно говорят эти звуки. Они захватили ее в свою власть и, не боясь холода, веявшего от ее старого и злого

рассудка, не боясь ее острого языка и насмешек, взяли и унесли ее далеко-далеко, в иной мир, о котором она давно уже забыла...

Перед нею расстилались пышные поля, вставали леса и горы, ясна синева небесная, проносились дуновения душистой летней ночи, мигали звезды, плескали волны, и какой-то незнакомый, но сладкий голос шептал тихие слова той самой любви, той самой страсти, над которою так привычно смеялась Капитолина Ивановна.

Но теперь она не смеялась — она умиленно слушала...

И под конец показалось ей, что вернулись старинные годы, те годы, когда она была молода, когда она любила все то, на что теперь не обращала внимания, когда на устах ее еще не было насмешки и когда юный, только что пробуждавшийся разум не учил ее презирать людей и их деяния и искать прежде всего во всем изнанку, темную сторону...

А звуки лились — бархатные, сладкие звуки, и так ясно, на родном языке твердили:

«Не все то правда, что кажется правдой, не все обман, что кажется обманом... и в том, что ты считаешь обманом, есть великая святая правда, какой нет в твоей холодной, злой правде... Страсть — гроза могучая горячей летней ночи... Любовь, любовь — великая вечная сила, любовь ко всему и ко всем — и без нее весь твой разум, весь твой опыт, вся жизнь — только ложь, только обман и преходящее сновидение!..»

Вдруг оборвались и замерли сладкие звуки...

Та же душная, грязная комнатка. Порфирий Яковлевич укладывает скрипку в футляр.

Капитолина Ивановна совсем очнулась и почувствовала, что ее щеки мокры от слез.

— Фу ты, пропасть! Да что же это ты, Порфирий Яковлевич! — крикнула она. — Да как же это ты?! Да ведь вы, батюшка, музыкант, как есть музыкант настоящий!..

Порфирий Яковлевич стоял перед нею с блестящими глазами и ухмылялся. Только теперь его лицо уже не было злым — оно будто совсем преобразилось.

— Да, музыкант, матушка Капитолина Ивановна, — тихо ответил он.

— Так как же это?.. К чему же вы от всех скрываете... и мне ни разу в жизни ни слова?..

— Чего же я стану благовестить-то!.. Музыкант так музыкант, да не ученый, для себя играю, один себя слушаю... Может, вы-то вот первый человек, кто меня слышал... разве соседи, так какие тут соседи, и из-за двойных рам, чай, по ту сторону улицы и не слышно...

— Ну, уж удивил!.. Вот уж удивил!.. — повторяла Капитолина Ивановна. — Спасибо, батюшка, за угощение спасибо... А мне пора и домой, шутка сказать, ведь через всю Москву ехала к тебе, сколько времени ехала, да извозчика сдуру отпустила, тут, чай, и не найти. Ну, спасибо, спасибо... А книжку вот эту я у тебя возьму... Когда же свидимся, Порфирий Яковлевич, подумайте только — третью неделю не навевывались, я и побеспокоилась — не захворал ли...

— Точно что мне понездоровилось, оттого и не был, ломота вдруг в ноге, муравьиным спиртом всю неделю натирал ногу... Ну, теперь прошло... Беспременно, матушка, у вас на этих днях буду.

— То-то же, смотрите...

Старики распрощались, и Капитолина Ивановна, подбираясь и стараясь ни обо что не задеть платьем, выбралась из домика.

Долго у нее в ушах помимо воли звенели чудные звуки.

С этого дня Капитолина Ивановна уже никогда больше не порывалась посещать медведя в его берлоге, о которой вспоминала с отвращением. Но она не раз упрашивала Порфирия Яковлевича принести с собою скрипку и поиграть. И каждый раз он решительно отказывал ей в этом.

— Что угодно, матушка, — говорил он, — что угодно прикажите и исполню, а насчет скрипки — нет! И с чего это я стану с ней тащиться по городу — срам да и только!..

— Да ведь вы так играете, Порфирий Яковлевич, вас заслушаться можно! Вот соберутся у меня уж гости, а вы и сыграете... всем доставите удовольствие, захвалят вас... нарасхват приглашать станут, протрубят на всю Москву про вашу музыку...

Порфирий Яковлевич даже обижался.

— Что же это мне на старости лет тапером, штукме-стером прикажете сделаться?

— Фу, отец мой, какой ты вздор городишь, просто уши вянут!

— Да уж вздор либо нет, а как доселе не играл я на потеху, так и впредь не буду... Очень им нужна моя музыка, гостям-то вашим, да и много они в ней смыслят! Для себя выучился, для себя играю, себя

услаждаю... Человек я маленький, темный, никому я не нужен и никто мне не нужен... Что и вам-то сыграл — так теперь на себя пеняю... сдурил... из одного почтения к вам...

— Знаю я, упругий вы человек, Порфирий Яковлевич... Ну так вот что: коли не хотите при гостях, принесите скрипку, запрем мы окна и двери и мне сыграйте... Хороша ваша музыка, хотелось бы еще послушать.

— Мало ли чего нам хочется!.. Оставьте вы меня с моей скрипкой, — ничего из того не выйдет.

— Тьфу! — с досадой говорила Капитолина Ивановна. — Ишь ведь упругий какой... Ну да если вам, сударь, угодно ломаться, так я на коленках просить вас не стану, Бог с вами совсем и с вашей музыкой... Пойдемте в столовую, попробуйте — у меня нынче настоечка новая готова...

— Вот это дело! — радостно восклицал Порфирий Яковлевич, бывший страстным любителем всяких настоечек и закусок, особенно приготовленных такой искусницей, как Капитолина Ивановна.

Так ей и не удалось уговорить упрямого старика дать ей возможность снова послушать его музыку. Прошел год, другой, третий, и она позабыла про его скрипку. Позабыла про скрипку, а про грязь и нищету его берлоги вспоминала нередко, получая от него для прочтения книги, от которых, как ей казалось, пахло гнилью и плесенью. В таком случае она всегда думала:

«Ведь вот славный человек, серьезный, а какой скряга! Глупость-то какая! Ведь с голоду чуть не умирает, копит деньги, капитал изрядный еще от отца получил, ведь он теперь, пожалуй, удесяттерил его, с родными в ссоре, кому оставит? Как собака излохнет на своих деньгах!.. Помрачение!..»

Но высказывать ему свои мысли, против своего обыкновения, она не решалась, потому что, раз как-то заговорив на эту тему, довела старика до бешенства.

Он, всегда почтительный и даже несколько робкий с нею, тут вдруг так расходился, что стал просто кричать.

— И кто это считал мои деньги?! — захлебываясь и сверкая глазами, повторял он. — Кто считал! Нет у меня денег... нищета... Куска говядины иной раз купить не на что — вот какие мои деньги...

— Врете, батюшка, врете и стыдно это, особенно в ваши годы! — с изумлением глядя на него, промолвила Капитолина Ивановна.

— А коли я вралем у вас стал, — даже как-то взвизгнул старик, — так прощайте, Бог с вами, надоел я вам, вижу!..

Он отвесил низкий поклон Капитолине Ивановне, схватил свой засаленный картуз, дрожащими руками накинул на себя удивительный плащ на красной подкладке и ушел.

Ушел да и не возвращался целых два месяца.

Капитолина Ивановна сначала делала вид, что не замечает его отсутствия, но скоро должна была себе признаться, что скучает по приятелю, и когда он, тоже соскучившись, снова явился, она даже не показала ему вида, встретив его как будто они самым дружеским образом простились только накануне. И никогда она больше не заводила неприятного разговора.

Были ли у Порфирия Яковлевича деньги и сколько, конечно, никто не мог, наверно, этого знать, но он всю жизнь прожил как последний бедняк. Дома питался иногда по целым дням только чаем да тюрькой, а когда чувствовал, что отошал, то шел обедать к Капитолине Ивановне или к кому другому из своих немногочисленных знакомых.

Устали он никогда не знал, не истратил, кажется, за полвека ни копейки на извозчика, измеряя Москву огромными шагами своих длинных ног.

Расстояния для него не существовало. Иногда приходилось ему засидеться у Капитолины Ивановны чуть ли не до полуночи. На дворе лил дождь, ночь — зги не видно, по улицам море разливанное.

— Батюшка, да как же это вы в такую даль к Андроньевскому, в такую темень? — замечала Капитолина Ивановна, подходя к окну и прислушиваясь, как завывает ветер, как бьет в стекла дождь. — Да останьтесь переночевать... наверху в светелке я вам постлать прикажу... Ишь ведь мы засиделись — полночь скоро...

— Ничего, матушка, ничего, не в первый раз, — спокойно отвечал Порфирий Яковлевич, нахлобучивал свой картуз и выбирался на улицу.

И шагал он по лужам как какое-то страшное привидение, пугая запоздалых пешеходов.

Привычка вечно ходить пешком была в нем так велика, что с ним даже случился один маленький анекдот. Был он на свадьбе у знакомых, свадьба была веселая, ужин прекрасный, выпил тоже изрядно



Порфирий Яковлевич и захмелел, да так захмелел, что лыка не вяжет... Что с ним делать? Как в таком виде пустить его к Андроньевскому? Выискалось два добрых человека, знакомых, у которых на всю ночь была нанята четырехместная карета, взялись они доставить домой Порфирия Яковлевича, усадили его в карету, повезли. Едут они, а Порфирий Яковлевич поднимает то одну ногу, то другую и изрядно толкает своих спутников.

— Порфирий Яковлевич, — спрашивают, — что вы такое делаете?

— Как что делаю? — отвечает он, едва ворочая языком.

— Что вы нас толкаете да ногами ворочаете?..

И так он продолжал идти в карете до самого дома...

Любимым развлечением Порфирия Яковлевича, кроме скрипки, которой неведомый виртуоз посвящал иногда часа три-четыре в день, было пребывание у Сухаревой башни в лавчонках букинистов. Он рылся там в книжном хламе и, найдя какую-нибудь книжку, казавшуюся ему интересной, по целым часам торговался, пока ему ее, наконец, не уступали за бесценок, иной раз за три копейки или пятак, чтобы только он отвязался.

«Ведь душу все вымотает — ну его к Богу!» — говорили про него букинисты.

Раз в году Порфирий Яковлевич разрешал себе огромную роскошь — он покупал «новые» книги, то есть скупал прошлогодние журналы. Навьюченный ими и несколько даже сгибаясь под драгоценной ношей, торжественно возвращался он к себе в берлогу и на несколько дней уходил в книги, читал запоем, пока все не прочитывал. А прочтет все — нападет на него грусть, жаль затраченных денег, и он начинает выгадывать, даже чай перестает пить, а если пьет, так без сахара, и ходит обедать к знакомым.

В обществе Порфирий Яковлевич был всегда мрачен, внимательно слушал, но говорил очень мало, а иногда просто ограничивался каким-то мычанием. Несмотря, однако, на его страшный и мрачный вид, на молчание, его присутствием обыкновенно не тяготились. Он умел молчать и стушевываться. Только с одной Капитолиной Ивановной он иной раз разговорится, и не видят они, как проходит время. Но случалось и так: просидит он у нее целый день, и закусит, и выпьет исправно, после обеда сядут они за преферансик, потом поужинают, он

распрощается и зашагает к Андроньевскому. И только после его ухода Капитолина Ивановна спохватится:

«А ведь Порфирий-то Яковлевич нынче как есть ни одного слова не промолвил!»

## V. АННА АЛЕКСЕЕВНА

Между «своими людьми» Капитолины Ивановны по древности и постоянству дружбы второе место принадлежало Анне Алексеевне Крапивинной. На вид Анна Алексеевна представляла из себя полную противоположность Капитолине Ивановне.

Это была старуха высокая, худая, с длинными руками и ногами, с лицом на редкость безобразным и вдобавок еще испещренным следами оспы. Но все же, если пристально взглянуть в это безобразное лицо, оно мало-помалу начинало нравиться, так как в нем было что-то успокаивающее, какая-то почтенность и добродушие.

Анна Алексеевна неизменно носила коричневое шерстяное платье, коротенькую черную тафтяную мантильку, а на голове черный тюлевый чепчик. Она была вдова, тоже почти не помнящая, когда потеряла мужа, на это, впрочем, она даже имела некоторое право, так как покойник не оставил ей как есть ничего на память о себе, ни гроша, и она должна была сама зарабатывать кусок хлеба.

И вот уже несколько десятков лет, как зарабатывала этот кусок хлеба, помогая новорожденным москвичам и москвичкам своего квартала вступать на жизненный путь по всем правилам повивального искусства. А искусство у Анны Алексеевны, как давным-давно уже было решено, оказывалось большое, до того большое, что, несмотря на ее непредставительную и безобразную наружность, ее приглашали не только в богатые купеческие дома, но и к знатным барам.

Правда, с годами ее деятельность стала гораздо ограниченнее. Теперь она была чересчур уже стара, и ее заменяли более молодыми и подвижными «привилегированными» особами. Но она не смущалась этим, так как успела скопить себе маленький запасец на старость. Она ничуть не обижалась, и хотя ее покидали, но она не покидала дома своих прежних пациентов и время от времени навещала их не в качестве официального лица, а как старый друг. Ее принимали, с ней не церемонились, не стеснялись, иногда ее просто не замечали.

Она зачастую приходила с черного хода в какой-нибудь большой богатый дом, тихонько, но спокойно и уверенно пробиралась в излюбленную, привычную для нее комнату, и если не встречала никого

из домашних, то просила лакея или горничную доложить барыне, что вот, мол, пришла Анна Алексеевна.

— Да барыни нет дома, — говорили ей.

— Кто же дома у вас нынче?

— Барышня вот никак дома, только они, видно, заняты.

— И прекрасно, пусть барышня занимается... а я посижу, подожду, может, кто и подъедет...

И усаживалась Анна Алексеевна самым скромным образом где-нибудь в уголку, складывала на груди руки и застывала, в виде какого-то мифического существа, на полчаса, на час, а то хоть и на два.

Если в доме были дети — они непременно заглядывали в комнату, шушукались, изображая на своих лицах смесь любопытства, отвращения и страха — и исчезали. Анна Алексеевна их к себе не подзывала и не старалась вступать с ними в разговор. Она очень хорошо знала, что неблагодарные дети, с которыми она так искусно ладила и управлялась в первые дни их существования, вырастая, начинают ее бояться.

«Ну и Бог с ними, — думала она, — уж коли Господь такой рожей наказал, так тут ничего не поделаешь!.. А что же деточек смущать, если они за бабу-ягу меня принимают... Вырастут — поумнеют... Христос с ними!..»

Анна Алексеевна старалась даже не глядеть на них, будто боялась, что сглазит.

Наконец появлялась барышня.

— Ах, Анна Алексеевна, это вы здесь? А мамыши дома нет... Здравствуйте...

Барышня подавляла в себе некоторую невольную брезгливость к безобразной старухе и протягивала ей руку.

Анна Алексеевна медленно поднималась из своего уголка.

— Знаю-с, — говорила она, — что маменьки дома нет... вот и поджидаю, а вы, милая барышня, меня не стесняйтесь... В добром ли здоровьи все у вас?..

— Благодарю вас, Анна Алексеевна, все здоровы... Дядя Миша из Петербурга приехал... В четверг у нас бал будет...

Барышня, по привычке, объявляла все семейные новости, а Анна Алексеевна ее внимательно слушала и приговаривала:

— Так-с... так-с...

Сообщив новости, барышня забывала о присутствии Анны Алексеевны, уходила, приходила, а то, если ей бывало скучно, в свою очередь начинала расспрашивать Анну Алексеевну, что делается на свете.

Старуха удовлетворяла ее любопытство насколько считала это пригодным.

Наконец возвращалась барыня.

— А, это вы, Анна Алексеевна! Очень рада вас видеть... давно не заглядывали.

— Давненько, матушка, это точно, что давненько — вот и соскучилась... и думаю, дай зайду, погляжу, что там делается, а вас и дома нет... я вот тут и поджидала.

— Хорошо сделали, пойдете ко мне... да оставайтесь у нас обедать.

— Покорно благодарю, матушка, покорно благодарю...

Анна Алексеевна располагалась как дома и после обеда возвращалась к себе, в свои маленькие и чистенькие две комнаты, где на каждом окошке стояло по две клетки с канарейками, убеждаясь, что ее запас сведений о делах житейских значительно прибавился. Она узнала всю подноготную — выдала мало, а получила много.

«Ишь ведь люди-то дурят! — думала она. — Посмотреть со стороны — тишь да гладь да Божья благодать, а копнешь... фу ты, пропасть — сору-то, сору-то сколько!..»

«Зайти разве к Капитолине Ивановне?» — спохватывалась она и поворачивала к старому другу.

Капитолина Ивановна встречала ее, по вечернему времени, в столовой за самоваром.

— А вот и ты, мать моя, пожаловала! — говорила она. — Откуда?

— От Патрикеевых! — протягивала Анна Алексеевна, усаживаясь против хозяйки. — Весь день, почитай, там просидела... обедала...

— Ну, что там у них? Рассказывай! С чем чай пить будем, с медком, что ли? Вот свежий сотовый или варенья не хочешь ли какого?

— С медком, матушка, — варенье я нынче что-то совсем разлюбила... не тянет меня к нему... Дела, дела у Патрикеевых... я вам скажу...

— А что такое?

— Михаила Петровича-то знаете, братец ейный, в Петербурге служит... в камергерском чине?

— Ну как не знать, еще мальчишкой знала... шалберник!..

— Приехал... с женой разводится...

— Что ты, мать моя, полно!..

Капитолина Ивановна несколько оживлялась и, видимо, начинала интересоваться.

— Как разводится? Ведь они всего три года женаты, и она в прошлом году приезжала, видела я ее — такая тихоня... красивая бабенка, и все родные говорили, что с мужем друг на друга не надьшутся.

— Так-с, так-с... ну вот и поди ж ты! То было в прошлом году, а в нынешнем дружка себе завела... Такая история... срам!..

Она подробно передавала историю...

— Кто ж это тебе, сама Патрикеева сказала?

— Сама... сама... Да что еще это... вот Митенька Патрикеевский жениться надумал...

— Ишь вздор! Ведь мальчишке всего года двадцать два...

— То-то и есть...

— Да на ком? Кто же за него, за такого мальчишку, пойдет?!

— Нашлась таковская... вдовица молодая, Надежда Сергеевна Невольская...

— Ах, негодница! — восклицает Капитолина Ивановна. — Ведь она совсем разгульная!.. Ведь уж это я знаю, какие шашни за ней водятся!.. Чего же родители-то смотрят? Неужто так и дают мальчишку на погибель?..

— Старики в горе... сама-то мне рассказывает — плачет... Характер у Митеньки бедовый, на стену лезет... Такая у них кутерьма, что и сказать невозможно.

После двух часов беседы весь запас приобретенных Анной Алексеевной сведений передан Капитолине Ивановне, все решено, выяснено, всему подведены итоги и даны заключения.

Наступает некоторое молчание. Обе старухи сидят друг перед другом, выпивая чуть ли не двенадцатую чашку чаю с медком. Их раскрасневшиеся старые лица серьезны, и они имеют вид важных государственных людей, только что разобравшихся в сложном и запутанном деле.

— Ну, а еще что у тебя новенького, мать моя? — прерывает, наконец, молчание Капитолина Ивановна.

— Да что новенького! Видно, светопреставление скоро — по всем домам такая кутерьма идет, такие чудеса творятся...

— Уж и светопреставление! Видно, у тебя, Анна Алексеевна, от старости память вышибло... припомни-ка! Живем мы с тобою на свете немало времени, и всегда-то, всегда та же кутерьма была... Это вот я зачастую слышу, в прежние времена, мол, лучше было! Да ведь это так, зря люди болтают. Какие времена? Когда лучше было? Может, при царе Горохе, а на нашем веку все то же. Моды вот эти дурацкие меняются, прежнего богатства что-то меньше стало, да вместо золота мишурую теперь пыль в глаза пускать стали — это верно... А каверз всяких по семьям да дурости людской сколько было, столько и осталось... А ты говоришь, светопреставление!..

— Пожалуй, что и так, — соглашается, качая головою, Анна Алексеевна.

— То-то же — так!.. Какие у тебя новости?..

И начинает передавать Анна Алексеевна, что вот, мол, у тех-то дочка на прошлой неделе родилась, девочка здоровая, только на правом плече, на самом что ни на есть видном месте, большущее черное пятно...

— Даже мохнатое, матушка, мохнатое, ровно мышь!.. Мать-то плачет, говорит: вырастет девочка, так кто же с такой мышью замуж возьмет, как ее в люди будет показывать!..

— Вот дура-то, — замечает Капитолина Ивановна, — нашла о чем плакать!

— А у Семеновых, у Ивана Петровича, барышня ихняя, Анетточка, со студентом самурилась, а между тем жених хороший навертывался, богатый...

— И поделом!.. Распустили девку, я давно говорила: добром не кончится! — объявляет Капитолина Ивановна.

К концу вечера Капитолина Ивановна оказывается посвященной в подноготную знакомых и незнакомых. А главное, знает она, что все сообщенное Анной Алексеевной верно и что свои знания и наблюдения Анна Алексеевна никому, кроме нее, не поверяет. Посторонний человек хоть озолоти Анну Алексеевну — ничего от нее

не выведает, слова от нее не добьется. А перед старым другом Капитолиной Ивановной нет у нее сдержки, нет тайн.

Знает еще Капитолина Ивановна, что никто и подозревать не может об этих их беседах за чайком с медком.

И вот объяснение репутации колдуньи, которую приобрела себе Капитолина Ивановна. Верной и неизменной помощницей ее в отгадывании разных запутанных историй и семейных дел всегда оказывалась Анна Алексеевна. Она доставляла ей материал, и из материала этого тонкий ум Капитолины Ивановны выводил сложные построения.



## VI. ТАЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ

На следующее утро после посещения Горбатова Капитолина Ивановна по обычаю проснулась очень рано, по обычаю умывалась более часа и извела несколько ушатов воды. Но за самоварчиком сидела недолго. Даже кошки, несмотря на все свои старания, никак не могли обратить на себя ее милостивого взора, так и отошли от стола несолоно хлебавши, без молока и булки.

Капитолина Ивановна прошла к себе в спальню, отперла шкафчик, вынула из него два листа бумаги и два конверта, старинную стальную чернильницу в виде глобуса, который раскрывался на обе стороны посредством устроенной у верхнего полюса пружинки, несколько гусиных перьев.

Разложила она все это на столике возле окошка, уселась и принялась писать.

Подобное занятие было для нее крайне непривычно и составляло целое событие в ее повседневной жизни. Единственная письменная работа ее была — ежемесячное сведение счетов.

Несмотря на свою любовь к литературе и на множество прочтенных ею книг, Капитолина Ивановна писала довольно странными каракулями и при этом нисколько не стеснялась в орфографии. Она писала так, как говорила, находя это простым и естественным.

Да и перо-то она не держала, как все, а как-то стоймя. И вся ее фигура во время писанья делалась очень странной и комичной. Она выводила буквы не только пером, а бессознательно помогала работе и языком, даже по временам, на каком-нибудь трудном для нее слове, прищелкивала.

На первом листе она вывела:

— «Милостивой государь мой, Порфирий Яковлич. Прашу я вас быть у меня нынче к обеду беспременно, большая да вас есть надобность и при многа обяжите если ждате не заставите. Посылаю нарошно Сидара дело спешное. Пребываю со всем моим к вам доброжелательством Капитолина Миронова».

И тут следовал такой неожиданный и удивительный росчерк, что Капитолина Ивановна даже сама изумилась и несколько времени как бы с недоумением и любопытством разглядывала дело руки своей. Письмо это она сложила аккуратно в конверт и надписала:

«Порфирию Яковлечу».

Затем принялась за другой лист бумаги. Но от непривычной работы рука ее уже утомилась и она совсем почти иероглифически вывела:

«Анна Алексеевна, будь мать моя к обеду нужно». И затем поставила «К.М.» и уже без росчерка.

На конверте совсем ничего не надписала.

Окончив это дело, Капитолина Ивановна отперла шкафчик, поставила в него чернильницу, положила перья, вынула пачку сургуча и огромную печать, на которой был вырезан летящий голубь, довольно похожий на утку и имеющий во рту письмо. Зажгла Капитолина Ивановна свечку, очень искусно запечатала свои письма и поспешила как можно скорее задуть свечу, как как не любила, чтобы свечи горели днем, это было одно из ее немногих, но упорных суеверий.

Выйдя из спальни с письмами, Капитолина Ивановна крикнула:

— Эй, Машка!

Машка тотчас же появилась на зов.

— Кликни Сидора, да чтобы шел скорее!

Сидор был дворник Капитолины Ивановны, крошечный мозглявый старикашка, седой как лунь, которого никогда не бывало ни видно, ни слышно в доме, но который тем не менее уже многие годы и даже, несмотря на свое пристрастие к хмельному, добросовестно исполнял обязанности дворника, плотника, садовника и огородника и поддерживал красоту дома и сада Капитолины Ивановны.

Сидор осторожно вошел в коридор и остановился у двери в столовую. Увидя Капитолину Ивановну, он отвесил ей глубокий поклон и проговорил хриплым голосом:

— Что приказать изволите?

— А вот что, Сидор, слушай ты, возьми вот эти два письма и сбегай... Это вон снеси к Анне Алексеевне, а это, где написано, смотри не перепутай! К Порфирию Яковлевичу... знаешь, у Андроньевского...

Сидор почесал в затылке.

— Сбегать-то к Анне Алексеевне, — сказал он, — это я мигомя, а вот к Порфирию Яковлевичу...

— Знаю я, что не ближний свет, — перебила его Капитолина Ивановна, — ну да сбегай, что тут, коли нужно! Да смотри ты, дорогой в кабак не завертывай...

Она строго погрозила ему пальцем.

— Нужное письмо и непременно мне ответ от него как можно скорее...

— Помилуйте, сударыня, — обиженно отозвался Сидор, — разве я в кабак... статочное ли дело, с барским поручением, да в кабак! А вот я так раздумываю — толк-то будет ли, сударыня? Жилье Порфирия Яковлича мне известно, найти- найду, да, сами изволите знать, не отпирают, не пушают... как бы не случилось того же, что намедни (это намедни было пять лет тому назад), так уж вы, сударыня, на мне не взыскивайте, коли не потрафлю. Ведь стучал я, стучал, кулаки себе отстучал, а так и ушел ни с чем, так вот и думается, не отопрут, что же я поделаю?

Капитолина Ивановна даже рассердилась.

— Вздор, пустое! — сказала она. — Нужно, чтобы он прочел это письмо, и ответ дал. Он до полудня всегда дома, и ты поспеши. Стучи и кричи: «Письмо, мол, от Капитолины Ивановны — отворите!»

Сидор опять почесал в затылке, но уже ничего не возразил. Он взял письма, не особенно дружелюбно посмотрел на них и молча вышел.

Капитолина Ивановна отправилась в сад и занялась варкой варенья. Но и Машка, и Лукерья замечали, что барыне как-то не по себе — рассеянна она, задумывается, сидит — смотрит на таз с вареньем, а губами нет-нет да и зашепчет что-то.

Вот уже полдень, вот уже второй час, а Сидор не возвращается. Капитолина Ивановна то и дело посылает Машку узнать в дворницкую и каждый раз получает ответ, что она пуста.

— Так и есть! Зашел в кабак, нагрузился!.. Вот плюгавый старикашка — и послать-то никуда нельзя... Да еще ну как растерял письма?

— Прикажите, сударыня, ягоды сыпать? — спрашивает Лукерья.

— Э, да чтоб тебя и с ягодами!.. Капитолина Ивановна совсем начинает сердиться.

— Машка, беги, смотри — вернулся ли Сидор?

Машка бежит и тотчас же возвращается.

— Вернулся, сударыня...

— Так что же он не идет?

— Не может...

— Как не может? Отчего не может?

— Стоит и ругается... Я ему говорю, иди, дедушка, барыня зовет! А он мне, не могу, говорит, картуз потерял дорогой, не могу идти к барыне...

— Тьфу ты пропасть, нужен мне его картуз!.. Пьян он?

— Совсем-с, еле на ногах — держится! — не без удовольствия отвечает Машка, предчувствуя интересную сцену.

— Зови его, мерзавца! Тащи его силой, чтобы сейчас был здесь!

Машка исчезает. Проходит несколько минут. Наконец неподалеку от беседки, в которой варится варенье, раздаются голоса — тоненький голосок Машки и хриплое ворчанье Сидора. Вот он появляется, действительно еле держась на ногах, останавливается перед Капитолиной Ивановной и клюет носом.

— Хорош! — презрительно произносит она. — Снес письма?

— Шапку потерял! — отвечает он.

— И поделом тебе, негодный пьянчуга! Что я тебе говорила, чтобы ты не смел в кабак заходить?! «Не зайду с барским поручением». Что же это ты за человек после этого! Никакого стыда в тебе!.. Отвечай, снес письма?

— Шапку потерял! — упорно говорит Сидор, усаживаясь на песок, скрестив ноги, и невинно смотрит на Капитолину Ивановну.

— Уведите его! — приказывает она Лукерье и Машке. Они его не без труда поднимают и тащут от беседки.

Он не упирается и только повторяет:

— Шапку потерял!.. Чер-р-рти!..

Лукерья и Машка, закрываясь рукой, чтобы барыня не заметила, фыркают от сдерживаемого смеха.

Еще с полчаса продолжается волнение Капитолины Ивановны. Она ходит по садовым дорожкам своей медленной, перевалистой походкой, вся красная.

«Растерял письма, негодный пьянчуга! — время от времени повторяет она. — Того и жди растерял!»

Но вот из-за кустов сирени в глубине садика показывается фигура Порфирия Яковлевича. Капитолина Ивановна радостно идет ему навстречу.

— Получил письмо? — издали кричит она ему.

— Как же, матушка, как же, затем и поспешил... Что такое приключилось?

— Ничего не приключилось, здравствуйте... А уж я так боялась, что этот негодный Сидор вам письмо не доставил. Сейчас только вернулся пьян-пьянехонек.

— Это, видно, он на обратном пути. А ко мне пришел трезвый, только крик на всю улицу поднял — я думал уж и невесть что такое у вас. Да что же, матушка, зачем я вам нынче надобен?..

— Ах, отвяжись, отец мой, потерпи малость, что за любопытство!.. Отдохни вот в беседке... там тень — прохладно... А я пойду велю обедом поторопиться... подойдет Анна Алексеевна... Ботвинья у меня нынче, белорыбица такая, пальчики оближешь...

На лице Порфирия Яковлевича изображается удовольствие, и он уходит в беседку, где действительно прохладно, где пахнет горячим вареньем и жужжат осы.

Скоро является Анна Алексеевна, но и ей хозяйка не объясняет причины письменного зова. Скоро она приглашает гостей в столовую, где уже приготовлена закуска и большая миска с зеленью и льдом, да кувшин пенистого душистого кваса для приготовления ботвиньи. Вот Машка вносит блюдо с жирной и белой, как снег, белорыбицей. Порфирий Яковлевич даже облизывается от предвкушаемого удовольствия.

Обед проходит довольно молчаливо, все трое едят с большим аппетитом, изредка затрагивая специальные и тонкие вопросы кулинарного искусства. После обеда подается душистый черный кофе и несколько маленьких граненых графинчиков с наливками.

— Несите-ка вы кофе и наливки в гостиную на круглый стол! — приказывает Капитолина Ивановна Лукерье и Машке. — Там нам будет лучше поговорить о деле... — объясняет она гостям.

Их любопытство, доведенное почти до нуля во время вкусного обеда, внезапно поднимается сразу на тридцать градусов, и им даже

становится жарко от этого любопытства.

«Что за дело такое? Капитолина Ивановна даром не напишет. Сколько уж лет ничего подобного не случилось».

Вот они в гостиной за круглым столом. Капитолина Ивановна запирает двери. Любопытство Порфирия Яковлевича и Анны Алексеевны достигает сорока градусов.

Капитолина Ивановна усаживается в кресло, подвигает к себе чашку кофе, лицо ее принимает особенно серьезное и строгое выражение. Порфирий Яковлевич и Анна Алексеевна так и впиваются в нее глазами.

— Звала я вас нынче, — наконец начинает хозяйка, — по большому делу, хотела посоветоваться с вами, — говорит она вполголоса и с некоторым таинственным оттенком.

— Что такое, матушка, что такое?

— А то, други мои, что старые дела наши, о которых мы так полагали, что они померли и забыты, наружу всплывают. Знаете ли, кто у меня вчерась вот здесь, на этом самом месте сидел?

— Кто такой... кто?

— Горбатов Борис Сергеевич, покойного генерала Горбатова братец, тот самый, который за четырнадцатое декабря в Сибирь сослан был...

Анна Алексеевна всплеснула руками, а Порфирий Яковлевич промычал:

— Вот как!..

— Да, вот как! И как бы вы думали, зачем он ко мне пожаловал?

— Ну, известно зачем! — сказал Порфирий Яковлевич. — Так это тогда он Прыгунова подсылал? Я, признаться сказать, так и думал.

Капитолина Ивановна усмехнулась.

— Большой мудрости не было догадаться! Да-с, пожаловал ко мне сам своею персоною и требует: подавай ему Сашеньку да Петрушку...

— Ну и что же вы?

— Само собою, то же самое — умерли, нет их, похоронены. Так ведь он не верит. Отыщу, говорит, брат, умирая, просил...

Порфирий Яковлевич усмехнулся.

— На смертном одре раскаяние, видно, взяло...

— Видно что так, отец мой, и вот теперь этот самый Борис Сергеевич Горбатов, богач, каких немного в русском царстве, желает

разыскать своего незаконнорожденного племянника и озолотить его.

— Чудны дела твои, Господи! — прошептала Анна Алексеевна.

— Так-с! — протянул Порфирий Яковлевич. — Вот ведь какое дело... Как же вы, почтеннейшая Капитолина Ивановна, думаете, что же теперь?

— Что же теперь? — повторила Капитолина Ивановна. — Умерла наша Сашенька, умер Петруша, похоронили мы их на Ваганьковском, я еще в прошлом месяце к ним на могилки ездила да панихиду служила. И если господину Горбатову так уж надобно, и словам моим он не верит, так мы ему и доказательство смерти представить можем. Ведь так, Порфирий Яковлевич?

— Можно, без сомнения можно, — ответил Порфирий Яковлевич.

— Ну вот на том я вчера и порешила и совсем было успокоилась. А нынче утром, как встала, так и берет меня сомнение. Горбатов-то мне — знаете ли что? — хорошим человеком показался!

— Да, говорят, таков он и есть, слухом земля полнится, — сказал Порфирий Яковлевич.

— Вот то-то оно и есть, не в богатстве счастье, а мог бы быть наш Петруша и богатым, дядя ему большую бы дорогу открыл... Проснулась я — и все раздумываю. Почем знать, может быть, и впрямь от этого доброго дяди было бы Петрушино счастье, думаю... Одно слово — смущение! И так Горбатов дела этого не оставит. Прыгунову не удастся, другого найдет, вверх дном все перевернет, с деньгами, сами знаете, песчинку в море найти можно...

— Ну, нашу-то песчинку как сыскать! — глубокомысленно проговорил Порфирий Яковлевич.

— А ты что же молчишь, мать моя? — обратилась Капитолина Ивановна к Анне Алексеевне.

— Да что же, матушка, смутили вы меня, как есть совсем смутили... Страх берет, ведь и я тут немалую роль сыграла, ведь у меня все в доме было. Вы вот теперь говорите: с деньгами все можно — оно так и есть — верно. А что, коли Горбатов до суда дойдет, ведь этак мы все поплатиться можем вот как!..

— Так ты уж трусишь, Анна Алексеевна?

— Как не труситься, как не труситься!.. Вишь ты, какое дело! Правда-то, говорят, не рано, так поздно всплывает, вот она и всплывает. Ах, матушка, совсем, совсем вы меня смутили...

Анна Алексеевна даже отодвинула от себя рюмочку с наливкой и сидела, хлопая глазами. Порфирий Яковлевич заговорил:

— Пугаться нечего! Как ни повертывай дело, а никаким манером ничего он разузнать не может. Какие там доказательства... Нет, это верно, бояться нечего...

— Конечно, бояться нечего, — сказала Капитолина Ивановна. — А только вот что пришло мне в голову... Говорю я вам — хороший человек Горбатов и простой человек, даром что богач и важный барин. Ни чуточку он не похож на наших князей да графов, совсем простой. Не открыться ли ему, а там пусть как знает?.. Сдается мне, бояться нам его нечего и именно в таком разе нечего бояться, если мы ему начистоту всю правду скажем.

Порфирий Яковлевич и Анна Алексеевна сильно задумались, и несколько минут продолжалось молчание. Затем Порфирий Яковлевич поднял голову и проговорил:

— Может, оно и так, может, вы это и верно рассудили, Капитолина Ивановна. Только по моему разумению, нам с вами дела этого решать никак невозможно, решить это могут только Иван Федорович с Марьей Семеновной.

— Само собою, — сказала Капитолина Ивановна. — Затем я и звала вас, обсудить сначала со всех сторон, а потом и им представить... Их дело... их дело!.. А без вас, не посудив с вами, я к ним идти не хотела. Так, значит, решено?

— Да, да! — подтвердил Порфирий Яковлевич.

— А ты, мать моя, что на это скажешь? — обратилась Капитолина Ивановна к Анне Алексеевне.

— Да что я скажу, что мне тут говорить! Как вы решите — так и будет. А боязно мне... Все через мои руки, все у меня в доме...

— Ну, заладила! Совсем ты, сударыня, от старости поглупела, с тобой, видно, и говорить нечего.

Капитолина Ивановна встала и отперла двери, показывая этим, что заседание окончено.



## VII. СТАРАЯ ИДИЛЛИЯ

В одном из бесчисленных переулков между Пречистенкой и Арбатом, где после пожара двенадцатого года стало строить себе дома московское дворянство, помещался небольшой, но поместительный дом Ивана Федоровича Бородина. Но имея недвижимую собственность в аристократическом квартале, Бородин уже никак не принадлежал, несмотря на свое имя, напомиравшее поле знаменитой битвы, к старому дворянству.

Он был потомственным русским дворянином благодаря своей службе, за которую получил орден, давший ему дворянское звание. Происходил он от зажиточных мещан города Калуги. Показал в детстве большую склонность к чтению и письму, а потому отец его и решил:

«Ну что же, пушай и идет по ученой части! И в этом звании люди не пропадают и хлеб добывают».

Кончил Иван Федорович курс гимназии, поступил в университет, занимался математическими науками и затем как молодой человек, заявивший себя прилежанием и знанием перед московскими профессорами и особенно им рекомендованный, был принят учителем математики в московскую гимназию.

Иван Федорович, человек нрава кроткого и уживчивого, пристрастился к своему занятию и в течение двадцати пяти лет аккуратно каждый день вдальбливал гимназистам разные корни, теоремы, синусы и косинусы. На его глазах созревали поколения московской молодежи, и любил он молодежь от всего сердца. И его любили ученики, только так как он не умел быть строгим и твердости характера никакой не показывал, то любовь их главным образом выражалась в том, что они немилосердно шумели в его классе, не обращая никакого внимания на его замечания, и надували его самым непозволительным образом. Нередко даже они подсмеивались над ним и подшучивали, позволяли себе с ним разные фарсы. Пользуясь его замечательной рассеянностью, они, например, накладывали в карманы его вицмундира апельсиновые корки, старые бутерброды. Он ничего не замечал и все эти запасы приносил домой, к изумлению и ужасу своей

супруги. Случалась несколько раз во время двадцатипятилетнего учительства и такая гадость: скверные мальчишки накладывали ему в карманы сырые яйца, следствием чего было, конечно, то, что бедный Иван Федорович оказывался в самом странном и соблазнительном виде. Но он все терпел и даже не сердился на гадких мальчишек, рассуждая так, что они еще дети, глупы, а вырастут — поумнеют и самим стыдно будет вспомнить.

И он был прав. При встречах с ним бывшие ученики никогда его не обходили и кидались к нему как к старому другу. Он каждого узнавал, расспрашивал подробно и зазывал к себе в гости. Таким образом, у него в доме иной раз набиралось немало народу.

Иван Федорович, поступив учителем в гимназию, в то же время давал несколько и частных уроков, а так как он был молодым человеком скромным и пользовался репутацией смиренного, то ему было поручено даже обучать арифметике некоторых московских барышень.

В одну из своих учениц, дочку заезжего пензенского помещика, он вдруг влюбился. Как с ним случилась такая напасть — он и сообразить не мог. До того времени он боялся женщин, старался избегать встреч с ними и разговоров, а когда такое бегство оказывалось невозможным, то конфузился, краснел, не поднимал глаз.

Точно так же он поступал и со своими ученицами, а тут вдруг поднял глаза, да и увидел перед собою юную белокурую головку, нежные розовые щеки, тихую улыбку, выказавшую ряд ровненьких, беленьких зубов.

Непостижимое что-то совершилось с Иваном Федоровичем, не в силах был он оторвать глаз от этого милого личика, сбился, спутался и никак не удавалось ему объяснить барышне именованные числа.

— Иван Федорович, что это вы на меня так странно смотрите? — проговорила барышня, а сама вдруг вспыхнула как маков цвет.

Молодой учитель задрожал всем телом:

— Я ничего-с!.. Я так-с... извините, пожалуйста, Марья Семеновна...

Она засмеялась так звонко и весело и сквозь смех проговорила:

— Чего же вы извиняетесь? Вы меня ничем не обидели...

Но вдруг, прекратив смех и сделавшись очень серьезной, прибавила:

— Так что же такое именованные числа, я все никак понять не могу, повторите, пожалуйста?

Но ничего не вышло из этого урока, барышня так и не узнала, что такое именованные числа.

В следующий раз Иван Федорович пришел такой бледный и грустный и уже не поднимал глаз на Марью Семеновну. Она ждала, ждала и не утерпела, спросила:

— Иван Федорович, отчего вы на меня глядеть не хотите? Вы на меня сердитесь?

Он привскочил на стуле как ужаленный.

— Я - на вас сердиться! Я... помилуйте... да я, Марья Семеновна, я...

Он замолчал. И она ясно увидела, как в его глазах блеснули слезы. Ее доброе, милое личико стало еще добрее и после урока она крепко-крепко сжала руку Ивана Федоровича.

Он выбежал из дома как сумасшедший и часа три бегал по бульварам, сам не понимая, где он, что с ним такое делается и совсем забыл, что он давно уже пропустил час очень выгодного урока.

Трудно было сговориться молодым людям. Иван Федорович даже и мечтать не смел о каких-нибудь серьезных планах. Он жил настоящим. Он был счастлив ее молчаливой улыбкой, пожатием руки.

Она тоже дальше этого не шла. Так продолжалось целую зиму.

Наконец пришло время кончить уроки: Марья Семеновна собиралась с родителями в деревню. Бедный Иван Федорович бродил как помешанный, считал дни.

«Боже мой, ведь завтра последний урок!» — думал он.

Он не спал несколько ночей, совсем отбился от еды и даже похудел, пожелтел. Наступил час последнего урока. Марья Семеновна вышла к нему с покрасневшими глазами, она, очевидно, плакала.

Во время уроков очень часто присутствовала ее мать, добродушнейшая, толстейшая помещица средней руки, обожавшая единственную дочь. Был еще у нее сын-офицер, да тот со своим полком находился где-то в Польше и по целым годам не видался с родителями.

Но на этот раз они оказались одни. Маменька уехала за покупками, за запасами на лето, отец Марьи Семеновны, старый отставной полковник, большой крикун и говорун, вечно ходивший

нараспашку до неприличия, потому что ему всегда было душно, и не выпускавший изо рта длинного чубука, еще за месяц уехал в деревню.

Иван Федорович, молча поздоровавшись с барышней, хотел было уже приступить к уроку и начал было:

— В прошлый раз мы остановились с вами...

Но барышня перебила его.

— Иван Федорович, оставьте это, — сказала она, — поговоримте лучше. Ведь вы знаете — мы уезжаем в деревню и вряд ли вернемся будущей зимой в Москву, так папенька сказал. Значит... значит, мы с вами простимся и, может быть, больше никогда не увидимся...

— Зачем же вы это мне говорите! — вдруг воскликнул Иван Федорович с такою силою, с такою страстью, какой даже в нем предположить было невозможно. — Зачем говорите! Я и так измучился...

— Так вам скучно прощаться со мной? — прошептала она, заглядывая ему в глаза своими нежными, печальными глазами.

— Марья Семеновна, да неужели вы не видите, что я умру, расставшись с вами?

Она вдруг зарыдала. Но это не были слезы горя. Себя не помня, он кинулся к ней, и через миг они были в объятиях друг друга.

В это время раздался звонок. Они очнулись.

— Это маменька вернулась, — сказала Марья Семеновна, — пойдите к ней, поговорите с нею, милый!

Иван Федорович с небес упал на землю.

— Да как же я... как же я посмею?... — шептал он.

— А не посмеете — значит, меня не любите... — быстро проговорила Марья Семеновна и скрылась из комнаты.

Эти последние слова ее мгновенно его наэлектризовали, и когда, переваливаясь и обмахиваясь платком, вошла «маменька», Иван Федорович уже был иным человеком, чем тот, которого все знали.

Он кинулся к «маменьке» и весь красный, с сверкающими глазами, с нервной дрожью в голосе, даже не поздоровавшись, объявил ей, что любит ее дочь и просит ее руки. Маменька остановилась и поглядела на него широко раскрытыми глазами.

— Да что это вы, батюшка, на меня накинулись, будто белены объелись! Да поглядите вы на себя... вы сейчас кусаться станете! Поздоровайтесь хоть сначала...

Она протянула ему руку, которую он поцеловал.

— Ну, а теперь садитесь и будем говорить.

Из этого приема уже можно было видеть, что маменька подготовлена. Марья Семеновна не дремала и, несмотря на всю свою девическую скромность и немудреность, решив, что любит Ивана Федоровича, и отлично зная, что и он ее любит, мало-помалу уговорила-таки маменьку. Сначала старуха и слышать не хотела, объявила даже, что не станет пускать Бородина в дом и прекратит эти глупые уроки.

— Ишь ведь, в тихом-то омуте и впрямь, видно, черти водятся! На вид такой скромный, глаз не подымет... а скажите, пожалуйста, вон куда метнул!.. Да ты, Машенька, рехнулась что ли — подумай только: ты столбовая дворянка и не бесприданница, а он что — учительшка из мещан! Это я доподлинно знаю, мне Капитолина Ивановна сказывала (Капитолина Ивановна, старая знакомая маменьки, и рекомендовала ей Ивана Федоровича). Так разве он тебе пара? Не такого жениха тебе надо!

Но Марья Семеновна стала доказывать самым логичным образом, то есть слезами и поцелуями, что именно такого жениха ей и надо, что ни за кого другого ни за что не пойдет и если ее не выдадут за Ивана Федоровича, то она станет чахнуть и умрет — вот как кузина Наденька, которая в полгода извелась и сошла в могилу оттого, что родители не выдали ее за любимого человека.

Маменька при таком напоминании перепугалась не на шутку.

— Ах беды! И когда же вы это успели? Кажется, с глаз не спускала...

— Что успели, маменька? Ничего мы не успели. Он никогда мне и слова не сказал... такого...

— Так что же это ты, может, он вовсе о тебе не думает?

— Ну, уж я знаю, знаю... он скромный... очень боится...

И каждый день у матери с дочерью были такие разговоры, и кончилось тем, что маменька совсем убедилась, что делать нечего — придется выдать дочку за учителя.

Теперь являлся другой вопрос:

— А об отце-то ты и не подумала. Он не допустит, ни за что не допустит!.. Он свое столбовое дворянство, знаешь, как ценит!

— Ах ты, Боже мой, опять это! Да Иван Федорович... он ученый человек, он служит, он двадцать раз дворянином будет!.. Если вы станете уговаривать папеньку, так он согласится, наверно согласится, ведь он меня любит, не захочет моей смерти.

Маменька подумала, подумала и решила так, что папенька накричит, набурлит, а в конце концов сдастся...

— Так вот вы как, Иван Федорович, — с притворной строгостью сказала маменька Бородину, усаживаясь в кресло и продолжая обмахиваться платком, — арифметике обучали мою дочь, а на уме другое было... Ну, да браниться с вами не буду. А вот что, скажите вы мне, сударь мой, мне это знать нужно, потому тут не во мне дело, а муж как скажет... Слышала я, как будто вы не из дворян!..

Иван Федорович несколько смутился, но тотчас же поднял глаза.

— Да, — сказал он, — отец мой был мещанином, а я как университетский, как кандидат имею личное дворянство.

— Личное! То-то же! Ну а потомственное дворянство вы получить можете?

— По службе могу!..

И он объяснил ей все, что было надо. Она покачала головою.

— Так слушайте меня, Иван Федорович, — решила она, — что с возу упало, то пропало, сдурила моя дочка. Бог с вами, человек вы хороший и, коли любите ее душевно, я вашему счастью мешать не стану.

Иван Федорович схватил руки маменьки и покрыл их восторженными поцелуями.

— Да не торопись ты, отец мой, — отбивалась она, — как муж решит, может, он и слышать про тебя не захочет. Вот мы поедem в деревню и станем его уговаривать, не уговорим — делать нечего, а уговорим — пришлю я тебе письмецо, и приезжай ты к нам в деревню. Ведь у тебя лето свободное?

— Конечно, свободное, конечно, свободное! — повторял Иван Федорович.

Все перед ним было как в тумане.

— А теперь уходи, — говорила между тем маменька, — и ни гу-гу! Никому ни слова, коли ты честный человек, потому что еще неизвестно, как дело обернется. Уезжаем мы послезавтра, утром зайди,

пожалуй, проститься на минуту и смотри — виду не подай. А затем жди от нас вести...

Так все и случилось. Марья Семеновна уехала с маменькой. Иван Федорович остался в Москве в тревоге, в ожидании. Он считал дни, часы и минуты. Прошли две недели, три недели, месяц — он уже стал приходить в отчаяние, но вдруг письмо. Сама Марья Семеновна писала:

«Иван Федорович, голубчик, трудно было, но все же уладилось — папенька согласен, приезжайте».

Небо с овчинку показалось Ивану Федоровичу. Он мигом собрался и помчался в Пензенскую губернию.

## VII. ЖИЛИ-БЫЛИ

Когда Иван Федорович уже на склоне жизни в тихие минуты припоминал это далекое время, каждый раз восторженные слезы навертывались на глаза его и он шептал:

«И за что мне дано было такое счастье? Что я сделал, чтобы заслужить его?»

И, конечно, он не мог понять, до какой степени он стоил своего скромного счастья. Он вот, например, высоко ценил ум своей супруги, но далек был от мысли, что, главным образом она выказала свой ум, выбрав его себе в мужья и настаивая на том, чтобы ей разрешили выйти за него замуж. Лучшего мужа «маменька» и «папенька», конечно, никогда бы не могли найти для своей дочери.

Как был он восторженно влюблен в нее, объясняя ей именованные числа, так точно восторженно оставался влюбленным и до старости. Марья Семеновна была для него олицетворением всех добродетелей, воплощением земной и чуть что не небесной красоты. Что сказала и решила Марья Семеновна — то было для него свято. Все, что исходило от нее, все, что делалось ею, казалось ему произведением высшей мудрости. Никогда между ними не пробежало ни одной черной кошки, в их семейной жизни была такая тишь да гладь, да Божья благодать, что даже строгая Капитолина Ивановна, всегда искавшая и находившая обратную сторону медали, ставила их всем в пример.

— Вот Бородины, — говорила она, — скромные люди, звезд с неба не хватают, пороку не выдумывают, а всем бы нашим умникам да умницам у них поучиться! На загляденье живут! У них в доме и дух-то особенный: войдешь — так словно свежестью какой пахнет, вот как в саду весной...

И этот весенний запах, чувствуемый Капитолиной Ивановной, Бородины сумели сохранить в течение всей своей жизни.

«Папенька» и «маменька» купили молодым просторный, хороший дом, устроили им полную обстановку, так что никого им принять было не зазорно. Поговаривали в первое время о том, что не бросить ли Ивану Федоровичу его учительства и гимназической службы, не найти ли службы повиднее, чтобы выйти скорее в люди. Но Иван Федорович



находил, что он и так уже чересчур «вышел», что дальше и выше идти ему некуда, что при полном его счастье и благополучии питать в себе еще какие-нибудь честолюбивые замыслы — просто грех. Да и, наконец, он любил свое скромное дело, любил скверных шалунов-мальчишек — и продолжал учительствовать. Но все же «папенька» и «маменька», не на шутку терзавшиеся мыслью о «неблагородстве» своего зятя при посредстве добрых знакомых так подействовали на гимназическое начальство, что Иван Федорович в год своей женитьбы был награжден орденом. Этот орден давал ему все права и привилегии потомственного дворянства. Впоследствии это дворянство причинило ему, как увидим, немало тревог...

После трех лет полного благополучия пришло к Бородиным высшее счастье, о котором они мечтали: родился у них ребенок — сынок Миша. Марья Семеновна наглядеться не могла на мальчика. Иван Федорович все свои свободные минуты посвящал ему и при этом выказывал такую нежность, такую почти женскую заботливость и умение обращаться с ребенком, что Капитолина Ивановна, часто их навещавшая, прозвала его «нянькой». Да и мальчик вышел славный, с такими живыми глазами, с курчавыми волосенками, такой беленький, тихий и спокойный...

Ежегодно, когда наступало лето и в гимназии оканчивались экзамены, Бородины уезжали в деревню на vacationное время. «Папенька» и «маменька» всегда настаивали, и особенно с тех пор, как родился Миша, чтобы Марья Семеновна подольше оставалась в деревне, на вольном воздухе, но она и слышать об этом не хотела, она ни на один день не расставалась с мужем.

— Где муж — там и жена! — говорила она. — Как я его одного отпущу в Москву?.. Да он совсем пропадет без меня!

Иван Федорович благодарно взглядывал на нее, и они возвращались всегда вместе, в первой половине августа, к началу его классных занятий.

Только один раз этот установившийся порядок был нарушен. Почти перед самым отъездом в деревню маленький Миша сильно заболел. Двери Бородиных заперлись для всех знакомых за исключением Капитолины Ивановны. Мальчик болел долго, потом было слышно, что он выздоровел. Только в начале июля Иван

Федорович и Марья Семеновна уехали в деревню совсем как-то тихомолком.

К началу гимназических занятий Иван Федорович вернулся один, да такой мрачный, худой и бледный, что знакомые его так и ахнули...

— Батюшка, Иван Федорович, что с вами, ведь вы больны совсем, и как это Марья Семеновна вас отпустила?

— Нет, я здоров! — печально отвечал он.

— Все ли у вас благополучно? Как лето провели?

— Ничего, все благополучно...

И при этих словах голос его дрожал и выражение лица становилось таким жалким, таким безнадежным.

— Ну, а как теперь ваш Миша? Совсем поправился после болезни?

— Поправился, слава Богу... — и Иван Федорович обрывал разговор.

Но все замечали, что он грустит и тоскует, что у Бородиных что-то неладно.

— Да и чего это Марья Семеновна так замешкалась в деревне?

Наконец поздно осенью она приехала с Мишей. Ее нашли еще более изменившейся. Она просто постарела на несколько лет. Знакомые иногда заставляли ее с глазами, видимо, распухшими от слез, но она никому не поверяла причины своей грусти.

— И что у них там такое — одному Богу известно!.. Печальное было, видно, лето... Одному Мише оно принесло пользу — перенесенная им болезнь, видимо, его совсем переродила, просто не узнать стало мальчика... Так вырос, окреп, да и лицо как будто другое — глаза потемнели, одни только волосенки по-прежнему курчавые да мягкие.

Но мальчика редко кто и видел. Марья Семеновна сделалась такая странная, прятала ото всех ребенка, будто боялась, что его сглазят.

Между тем время шло: стали проходить годы, и мало-помалу все, знавшие Бородиных, конечно, забыли о том, что им показалось когда-то странным и непонятным. Марья Семеновна уже не плакала и не грустила, пополнела и поздоровела. Иван Федорович продолжал учительствовать, преклоняться перед женою и баловать сына. Только у него мало-помалу развилась новая страсть, которая не особенно шла к предмету его занятий, т. е. к математике, страсть эта была — ботаника.

Теперь он все свободное время проводил у себя в саду, где настроил тепличек и парников, выращивая удивительные овощи и растения.

Миша рос, развивался, его уже больше ни от кого не прятали и всякий приходивший в дом Бородиных имел полную возможность любоваться живым, красивым мальчиком.

— Какой славный у Бородиных Миша вырастает, — говорили про него, — только вот уж не в мать, не в отца, крупный такой, черноглазый!

Прошло еще несколько лет. Бородины уже не ездили летом в деревню, так как ни «папеньки», ни «маменьки» не было на свете, а деревня принадлежала брату Марьи Семеновны, не знавшемуся с сестрою. После смерти родителей этот брат вышел в отставку, переехал в деревню, обделил сестру при разделе наследства и затем прямо объявил ей, что она унизила себя своим замужеством. Конечно, после этого о родственных отношениях не могло быть и речи. Поволновалась-поволновалась Марья Семеновна, но скоро успокоилась. Брата она почти не знала, так что ссора эта не причинила ей особенного горя. А что обманул он ее и присвоил часть родительского состояния, которая должна была ей достаться, Бог с ним. Жили Бородины, ни в чем не нуждаясь, в своем доме, и был у них припасен небольшой капиталец. Иван Федорович получал достаточно — хватит на их век, да и Мише что-нибудь достанется. А Миша, Бог даст, не пропадет, мальчик умный, способный, в гимназии хорошо учится.

Миша рос и продолжал хорошо учиться. Затем поступил в университет, окончил курс, потом уехал за границу. Родители ни в чем ему не отказывали, а Марья Семеновна аккуратно высылала ему то во Францию, то в Германию, то в Италию все проценты со своего капитала. Что-то уж очень долго Миша пробыл за границей — более двух лет. Наконец вернулся.

После первых радостных дней свидания отец осторожно и боязливо приступил к разговору о предмете, который его, видно, тревожил, — стал спрашивать сына, что же он намерен теперь с собою делать, где и как думает служить?

Красавец Миша приподнял на отца свои черные глаза, которые почти всегда держал полузакрытыми и проговорил:

— А вам, папенька, непременно бы хотелось, чтобы я служил?

— Друг мой, как же иначе! Зачем же ты образование получил, если не для того, чтобы применить его к делу... Вот ты более двух лет провел за границей, я, мой милый, тебя не попрекаю и знаю, что ты недаром прожил это время, ты там окончательно завершил свое образование, ты слушал лекции знаменитых европейских ученых. Все это прекрасно. Ну, а теперь надо начинать иную жизнь.

Михаил Иванович совсем почти закрыл глаза и задумался.

— Хорошо, — проговорил он, — я согласен с вами... буду служить, только где?

Отец оживился.

— А ты полагаешь, мы с матерью об этом не подумали? Слава Богу, не без добрых людей на свете. Вот Петр Петрович Сафонов, чай, помнишь?.. Знаешь, какое место теперь занимает? Ведь он из первых старших учеников моих и меня никогда не забывает... Еще недавно, как получил твое последнее письмо, я говорил с ним о тебе, и он обещал тебя у себя пристроить.

— Что же это — в архивные крысы! — равнодушно произнес Михаил Иванович.

Отец опешил.

— Как это ты так говоришь, в архивные крысы! К чему тут крысы? Для начала службы самое лучшее и при твоём образовании, полагаю я, для тебя подходящее, а дальше от тебя будет зависеть... А ты вдруг... крыса!..

Михаил Иванович улыбнулся.

— Да ведь это я так, папенька, — шутя!.. Мне все равно... Если желаете, я и у Софонова служить буду.

На том они и порешили. Михаил Иванович поступил на службу и остался в родительском доме. Ему был предоставлен весь мезонин, состоящий из трех просторных комнат, где он мог располагать своим временем как угодно, принимать кого ему вздумается, возвращаться домой, никого не стесняя, в какой угодно час ночи, так как и ход в мезонин был отдельный.

## IX. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Теперь со времени возвращения Михаила Ивановича прошло уже несколько лет, и в эти годы в доме Бородиных совершились большие перемены. Но прежде чем говорить об этих переменах, нужно несколько познакомиться с Михаилом Ивановичем.

По мере того как он вырастал, по мнению всех бывавших в доме у Бородиных, он все более и более заслуживал названия «родительского утешения», и поистине мог считаться счастливецом. Мальчик он был очень здоровый, характер имел ровный и спокойный, способности к учению прекрасные. Под родительским кровом не знал он никаких бед и напастей, не изведal даже, что значит строгость. И отец и мать его баловали, окружали постоянной заботливостью, старались стеснять его как можно меньше.

Другой бы на его месте избаловался и сделался непослушным и своевольным, но с ним этого не случилось. Он, по-видимому, очень рано научился ценить доброту своих родителей и никогда не злоупотреблял ею. Вырастал он и развивался самым правильным образом. В гимназии сходилcя с такими же благовоспитанными и скромными мальчиками, каким был сам.

Будучи студентом университета и с удовольствием слушая и записывая профессорские лекции, он, однако, не был из числа тех маменькиных сынков, которые являлись в университет с провожатыми и изображали из себя невинных агнцев. Иной раз случалось, что Михаил Иванович сильно покучивал и шумел в приятельской компании и даже раза два-три во время университетского курса подвергался дисциплинарному наказанию. Но ничего грязного и неблагородного не было в его кутежах и шалостях. Да и, наконец, эти кутежи очень скоро прекращались, не оставляя по себе никаких следов. Однако он вспоминал о них с приятной улыбкой и без упреков совести.

Только к концу университетского курса в его внутреннюю, спокойную и счастливую жизнь стало проникать какое-то недовольство, не то скука, и сам он не заметил, откуда и каким образом появились вдруг эти чувства. Все вокруг него было по-прежнему

складно и ладно, та же мирная и скромная семейная обстановка, те же добрые старики-родители, те же привычные лица, которые он с детства знал и любил, которые и его любили. Но бывало прежде ему было хорошо и уютно в этой обстановке, а теперь нет-нет да и покажется она ему чересчур серенькой и неприглядной. Он стал ко всему относиться критически. Иногда он ловил себя на недовольстве отцом и матерью. Иногда они казались ему не совсем такими, какими бы он хотел их видеть.

Дело было в том, что Михаил Иванович попал не в свое общество: он сдружился с двумя молодыми людьми, принадлежавшими к высшему московскому кругу, и через них попал в знатные и богатые дома. Его принимали в этих домах очень хорошо. Он был такой красивый и приличный молодой человек и, благодаря стараниям и заботам Марии Семеновны, даже очень недурно говорил по-французски, без чего в этих домах обойтись никак было невозможно, не роняя своего достоинства.

И вот внешний блеск роскошной барской жизни, лоск и такт этих неизвестных ему прежде людей произвели на него неотразимое впечатление. Он очень скоро усвоил себе приемы светского молодого человека, привычки, каких у него прежде не было. Он стал франтить и модничать. Он вообще так вдруг изменился, что Капитолина Ивановна, как-то пристально и долго в него вглядевшись, вдруг обратилась к нему с такой фразой:

— Никак это ты, Мишенька, вороной стал в павлиньих перьях! Очнись, батюшка, не пристало тебе франта такого разыгрывать...

Михаил Иванович с изумлением взглянул на старуху.

— Что это вы, Капитолина Ивановна, чем я ворона в павлиньих перьях?

— Да уж не вывертывайся! Насквозь я тебя вижу, попал к богатым да знатым людям — и рехнулся... Не ждала я от тебя такой дурости, почитала тебя умнее... Так-то... Что? Не нравится! — уж не взыщи, ведь я тебя, балбеса, на руках нянчила, нос тебе утирала, так не стану с тобой церемониться... А вот что я тебе скажу — одумайся-ка лучше, да от князей своих да графов подальше, ни к чему путному это тебя не приведет. Знай сверчок свой шесток — в том весь и ум человека, чтобы уметь оставаться на своем месте. А вздумаешь на чужое место садиться — так сгонят, и сраму не оберешься...

Сказала все это Капитолина Ивановна, а потом взяла, повернулась и ушла, так что и ответить ничего не успел ей Михаил Иванович. Да и ответа у него никакого не было. Смутила его и даже как будто несколько испугала старуха, заставила задуматься.

«Как ворона в павлиньих перьях? — думал он. — Как не на своем месте? Там мне хорошо, там мне вольно дышится, там все так светло, изящно, гармонично. И каким образом меня могут прогнать со срамом, когда принимают как друга, когда считают меня равным себе? Да и чем я им не равный?! Что у меня незнатное имя, что я небогат... Но ведь они хорошо понимают, что то и другое не зависит от человека и не может дать ему особенного значения!..»

Однако как он себя ни успокаивал, а слова старухи засели у него в памяти. Он невольно стал внимательно вглядываться в общество, которое считал теперь своим обществом, и очень скоро заметил, что ошибался во многом, что его хотя и принимали любезно, а своим не считали. Случай помог ему скоро окончательно в этом убедиться.

Он увлекся одной молоденькой светской девушкой, которая, по-видимому, выказывала ему большое внимание и всегда очень охотно с ним беседовала и даже танцевала. За этой девушкой светская молодежь очень ухаживала, и она позволяла за собой ухаживать. Поощренный примером приятелей, и Михаил Иванович вздумал показать ей, хотя и в очень осторожной форме, свои нежные чувства. Но тут случилось нечто странное: то, что она принимала от других, гораздо менее его интересных молодых людей, то не только не приняла от него, но обдала его такой холодностью, что он не знал, куда и деваться. Она мгновенно перестала совсем замечать его, и в доме ее родителей так приняли бедного юношу, что он ушел с тем, чтобы больше никогда туда не вернуться, ушел с чувством глубоко оскорбленного самолюбия.

Затем он подслушал несколько фраз, сделал несколько сопоставлений, и оказалось, что Капитолина Ивановна права, что он ворона в павлиньих перьях.

Неизвестно как бы он покончил со своими великосветскими знакомствами, если бы это было в другое время. Но время было для него горячее — последние выпускные экзамены. Он призвал к себе на помощь всю силу воли, принялся за работу, выдержал экзамены прекрасно и поспешил уехать за границу.

Два года, проведенные им в Европе, были для него каким-то долгим сном. Здоровый и энергичный, далекий от какого бы то ни было пресыщения жизнью, он жадно вглядывался во все новое, что ему встречалось. Он изъездил Германию, Францию, Италию, побывал даже в Греции, даже в Константинополе. И, несмотря на то, что Марья Семеновна аккуратно высылала ему деньги, жажда все видеть, все знать и всюду быть оказалась в нем так велика, что для удовлетворения этой жажды ему приходилось иногда просто почти бедствовать.

А яд, который он вкусил уже в обществе, принятом им за свое общество, нет-нет да и начинал действовать. Михаил Иванович уже не считал себя счастливым человеком, ему недоставало многого, в нем не раз поднималось желчное чувство, заговаривала мучительная зависть к людям, которым все доступно и которые иногда вовсе недостойны этого.

«Зачем им все, а мне так мало! Зачем то, что им само дается в руки, не спрашивая, чувствуют ли они в этом потребность, мне, которому все это так нужно, дается с трудом, с лишениями, а многое главное — совсем никогда не может достаться... Зачем эта несправедливость?»

Он старался гнать такие мысли и начинал успокаивать себя, начинал доказывать себе, что глупо и позорно мучиться всем этим, что это самое бесплодное из всех мучений.

А яд все-таки же действовал и портил ему жизнь, развивал в нем болезненное равнодушие.

«Все равно, как ни бейся, а ничего большего не достигнешь — так лучше и не достигать ничего. Пусть так идет себе жизнь, день за днем, серенькая и бледная...»

Тогда ему приходило в голову, что ведь есть люди, которые без всякого оружия в руках берут все. Но он инстинктивно чувствовал, что не принадлежит к таким людям, что без оружия не возьмет многого. Вот если бы судьба дала хоть какое-нибудь оружие — тогда можно было бы побороться...

Вернулся Михаил Иванович в Москву именно в самый разгар этого своего душевного разлада: поэтому-то так равнодушно и отнесся к дальнейшей судьбе своей. Но это была в нем болезнь, это был кризис, после которого, очевидно, началось выздоровление.



Михаил Иванович уже теперь совсем отказался от светского общества, да никто туда и не звал его. Теперь он пуще всего боялся изображать из себя ворону в павлиньих перьях. Он изо всех сил старался вернуться к прежним своим юным впечатлениям и найти удовлетворение среди тихой жизни, бывшей его уделом.

По-видимому, он достиг цели, успокоился, нашел интерес в служебных занятиях, вошел в сношения с людьми скромными, но образованными. Старался подавлять свои мечтания, свое недовольство, старался жить так, как все жили вокруг него. И, наконец, к великой радости отца и матери, он женился на очень милой девушке, еще ребенком бывавшей в доме Бородиных.

Капитолина Ивановна приложила руку и к женитьбе Мишеньки, как когда-то приложила ее к женитьбе Ивана Федоровича и Марьи Семеновны.

Молодой Бородин с женою остались жить в родительском доме, где всем было довольно места. Теперь у него уже был сынок и две дочки. Он хорошо шел по службе, и если бы его спросили, доволен ли он своей жизнью, он искренно бы ответил:

«Доволен, чего же мне еще!»

Правда, остатки попавшего когда-то в него яда изредка пошевеливались, но почти неслышно. Даже Капитолина Ивановна считала Мишеньку совсем здоровым.

## Х. АБРАКАДАБРА

Олимпиада Петровна Прыгунова с некоторого времени находилась в крайнем недоумении и даже беспокойстве. С ее «грибом» творилось что-то странное. Хотя она и уверяла, что он всю жизнь мыкался, но такого мыканья, как теперь, еще никогда не бывало.

Уже не говоря о непостижимой поездке в Петербург и о следовавшей затем в скором времени поездке в Тамбовскую губернию, но и теперь, по возвращении в Москву, мыканья Кондрата Кузьмича усиливались с каждым днем. Его почти никогда не было дома. Он исчезал с утра и возвращался иногда только поздно вечером.

Олимпиада Петровна, издавна привыкшая к скрытности мужа, хорошо знала, что когда он занят чьим-либо делом, то добиться от него объяснений и подробностей дела до окончания — вещь невозможная. Она исподволь научила себя не любопытствовать, однако в настоящем случае, выходявшем из ряда вон ввиду неслыханного мыканья, любопытство ее сильно разбирало, и она не раз подъезжала к мужу окольными путями, стараясь хоть немного объяснить себе, что все это значит. Кондрат Кузьмич сразу проникал в ее хитрость и поводил на нее строгим взглядом:

— Ну... ну-ну! Чего ты!.. Чего понапрасну вертишься, чего тебя разбирает? Что ж ты думаешь, сударыня, я всех твоих подвохов не вижу — думаешь, проболтаюсь... Не жди ты этого!.. И вот что я тебе скажу, матушка: удержи ты свое любопытство бабье, не то совсем изведешься. Взгляни на себя, на что ты стала похожа — кости да кожа! А все отчего? От праздного любопытства!..

— А, да ну тебя совсем! — со вздохом произносила Олимпиада Петровна. — Знаю я, знаю, что ты каменный идол, что об тебя голову расшибешь, а с места не сдвинешь... да и не любопытствую я вовсе — очень мне нужно твои глупые дела знать! Мыкайся, батюшка, коли охота на старости лет быть гончей собакой, а в конце концов тебя же оставят с носом!

Она поджимала губы и уходила с презрительным видом. А любопытство все возрастало и не давало покоя. Она наблюдала и видела решительные чудеса.

Кондрат Кузьмич совсем одурел. Кончилось тем, что он даже стал франтить. Почти ежедневно, выходя из дома, он облакался в новый сюртук, повязывал себе на шею новый галстук, даже завел модную цилиндрическую шляпу и стал надевать перчатки, чего с ним давно не случалось.

«И где это он пропадает?» — безнадежно думала Олимпиада Петровна.

Если бы она могла следить за мужем, то узнала бы, что ее Кондрат Кузьмич сделался светским человеком, стал посещать дома людей, с которыми не видался лет по двадцати. Если бы она могла следить за ним невидимкой, то невольно изумилась бы тому, что с кем бы теперь Кондрат Кузьмич ни говорил и какой бы разговор ни вел, а разговор этот непременно сводился на Капитолину Ивановну Миронову.

Кондрат Кузьмич поднимал старину, но хотя ему и удалось собрать об этой старине кое-какие сведения, все же он был недоволен.

Он почти ежедневно навещал Бориса Сергеевича Горбатова, но каждый раз объявлял ему, что дело идет туго.

— Старая баба такого тумана напустила, — говорил он, — ничего как есть разглядеть невозможно!

Наконец Борис Сергеевич сказал ему, что собственно его дела все в Москве кончены и что если присутствие его не нужно Прыгунову, то он уедет в Петербург.

— И уезжайте, сударь, уезжайте, только понапрасну я вас потревожил... Бедовая эта Мирониха, провела нас да и только... и ведь хожу около клада, а как за него взяться — не умею! Слова такого нужного — «абракадабра» — не нашел!..

— А не ошибаетесь ли вы, Кондрат Кузьмич? — заметил Горбатов. — Может, нам с вами только показалось, что она хитрит и скрывает, может, действительно и мать и ребенок умерли?!

Кондрат Кузьмич даже привскочил с места.

— Помилуйте, — забасил он, — да вы ли это мне, Борис Сергеевич, говорите, и я ли вас слушаю! Не вы ли от нее вернулись при полной уверенности, что она скрывает?

— Да, конечно, она была так смущена и потом некоторые слова ее мне показались, да и теперь кажутся очень загадочными. Но она могла, с ее странным характером, просто хотеть нас одурачить.

— Полноте, полноте! — перебил его Прыгунов. — Одурачивает она нас — это верно, только в ином смысле. Ни разу в жизни не попадалось мне такое дела — путано, перепутано и запутано. Говорю я вам, государь мой, хожу кругом клада... и неужто не найду абракадабры?!

Он встал с кресла и начал ходить по комнате, очевидно, углубляясь в свои мысли и комбинации.

— Да-с, — снова заговорил он, — просто разума можно лишиться на таком деле... Ведь могила-с... памятник: «раба Божья Александра и младенец Петр»... и свидетельство о смерти, и все в порядке... И Капитолина Ивановна приезжает панихиду служить... Ведь сказать все свежнему человеку — рассмеется, прямо за безумца меня почтет... Но вы меня хоть убейте: жив этот самый младенец Петр... Начали мы с вами одно, а выходит другое... Подменили!.. Тут, так сказать, деяние преступное! А, поди, докажи его без какой-нибудь абракадабры... Да и с абракадаброй-то, пожалуй, ровно ничего не докажешь...

Прошло еще дня три-четыре — и Прыгунов снова явился. На этот раз Борис Сергеевич сразу заметил в нем нечто особенное, он был необыкновенно серьезен и важен, и в лице его сказывалась даже какая-то таинственность.

— Я завтра или послезавтра собрался уезжать, — сказал Борис Сергеевич, — но вы, кажется, сегодня имеете что-то новое сообщить мне... В таком случае, если это важно, я еще повременю... С чем же вы, почтеннейший Кондрат Кузьмич?

Прыгунов несколько смутился и как бы опешил.

— Как с чем? — проговорил он. — Почему это вы изволите заключать, что у меня имеется новость?..

— По вашему виду мне показалось... Кондрат Кузьмич махнул рукою.

— Что вид? — не без некоторой меланхолии произнес он. — Вид бывает обманчив, да и вида особого я не имею, ибо к глубочайшему своему прискорбию ни до чего особого еще не дошел... А все же бы я просил вас, государь мой, повременить денька два-три отъездом в Петербург...

— А что?

— Мысль такая новая пришла мне в голову... Повремените, может, дело наше и выгорит... Только как бы это... Как бы?! — Он

приложил палец ко лбу и несколько мгновений обдумывал что-то. — Ну-с, это будет видно! — наконец сказал он. — Не то завтра, не то послезавтра я и мысль мою вам скажу, и решено тогда будет, дурак я или нет. Коли дурак — казните!.. А теперь вот что еще я вспомнил: изволили вы говорить мне о семейном архиве, находящемся тут у вас, в московском доме, так вспомнил я — есть у меня человек знающий, привычный, которому можно будет в ваше отсутствие поручить разборку архива.

— Кто же это?

— А это, видите ли, некий Михаил Иванович Бородин. Он человек образованный и службу свою начал по архивам.

— Позвольте, позвольте, — сказал Горбатов, — мне уже о нем говорили и именно рекомендовали его. Так вы его знаете?

— Как же не знать — с детства знаю.

— Вот и прекрасно!

— Да еще как прекрасно-то, государь мой. Завтрашний день, если позволите, я с ним к вам и приеду.

— Только согласится ли он взять на себя эту работу?

— Согласится! Его хлебом не корми, а дай порыться в старых бумагах — страсть он это любит. Не далее-с как третьего дня я был у него и говорил с ним и о вас, и о вашем архиве.

— Ну и отлично, я буду ждать его и вас завтра все утро. Очень рад буду с ним познакомиться.

Прыгунов стал прощаться.

— Куда же это вы? Посидите, Кондрат Кузьмич, потолкуемте.

— Нет, уже прощения просим, пора мне, пора... Уж до завтра-с. Потерпите немножко, авось поймает мы эту старую лисицу, Капитолину Ивановну...

— Да в чем же, наконец, дело? Теперь и вы принялись за мистификации, — сказал, улыбаясь, Борис Сергеевич.

— Да-с, мистификации, да ждать недолго, потерпите, не спрашивайте, уж будьте милостивы, не спрашивайте... А к тому же и страх берет — как бы мне опять не опростоволоситься... Такое дело... Со всех сторон оглядеть надо...

Он принял еще более таинственный вид, простился с хозяином и в глубокой задумчивости вышел из горбатовского дома.

«Абракадабра! — рассуждал он с собою. — Надо полагать, что точно: абракадабра... А все же опаска не мешает... и после этого свидания, может, и виднее будет...»

На следующее утро, в двенадцатом часу, Кондрат Кузьмич с Михаилом Ивановичем Бородиным велели о себе доложить Горбатову и дожидались его в большой зале. Бородин без всяких затруднений согласился ехать с Прыгуновым и заранее брался разобрать горбатовский архив, в котором, как ему уже давно было известно, находилось немало очень важных исторических материалов и документов. Ему также небезынтересно было познакомиться со старым декабристом. Прохаживаясь теперь по большой зале с Прыгуновым, он с видимым удовольствием разглядывал окружающую его обстановку.

— Если бы знали вы, Кондрат Кузьмич, как я люблю эти старые барские дома, — говорил он. — Каждый раз, как вхожу, испытываю особенное ощущение... Ведь вот этот дом, например, какая прелесть! Взгляните — эта анфилада, эта старинная тяжелая мебель!.. Право, теперь совсем не умеют жить и устраиваться богатые люди. Да, впрочем, пожалуй, и не то — пусть выстроят такой же точно дом и закажут по моделям такую же точно обстановку, — будет совсем не то... Тут старым духом пахнет, тут года оставили свои следы. Знаете, я помню, когда был за границей, вошел раз в Венеции в старый, покинутый палаццо — так, верите ли, целую неделю каждый день ходил туда, оторваться не мог. И странное дело, с детства у меня такая любовь к старинным домам, еще мальчиком был, все мечтал, что вот буду жить в таком доме.

— Так-с, так-с! — повторял Кондрат Кузьмич.

Он был как на иголках, и щеки его то и дело багровели. В это время старый, почтенного вида слуга им доложил, что Борис Сергеевич их «просят».

— Борис Сергеевич, вероятно, в библиотеке? — спросил Прыгунов.

— Никак нет-с, — отвечал слуга, — они в настоящее время не одни, у них гости... Они просят вас пройти в портретную: гости уезжают, и Борис Сергеевич сею же минутою к вам выйдет...

— Где же эта портретная, проведи нас, почтеннейший, — говорил Кондрат Кузьмич. — В портретной этой мне еще ни разу не довелось

быть... Ишь ведь у вас дом-то какой! В нем хоть месяц целый проживи, так и то, того и жди, заблудишься...

— Это точно-с, — сказал слуга, — дом старинный-с, как есть барский, настоящий, прежних времен-с, теперь, я думаю, так уж и не строят, разучились... да и бары! Где ж таких бар по нынешнему времени найти, как вот, для примера, наш покойный барин, Сергей Борисович... Царствие ему небесное!..

— Так, так! — повторял Кондрат Кузьмич, делаясь снова тревожным и машинально следуя за слугою.

— Портретная в таком доме — это обыкновенно самая интересная комната, — заметил Михаил Иванович, внимательно и с видимым удовольствием разглядывавший обстановку каждой комнаты, через которую они проходили. — Такая портретная, ведь это так сказать, живописная история рода... Да и какие удивительные портреты иногда попадаются!..

Слуга, все время шедший с почтительно наклоненной головою, поднял глаза на Михаила Ивановича, еще и еще раз поглядел на него внимательно, даже как бы с замешательством, но потом вдруг проговорил: «Пожалуйста!» — и отпер тяжелые, высокие двери.

Прыгунов и Михаил Иванович очутились в обширной комнате, выходившей окнами в сад, с мягкой бархатной мебелью, широкими низенькими диванами и стенами, почти до потолка увешанными портретами.

У Михаила Ивановича глаза разбежались, но он еще не успел сосредоточить своего внимания на каком-нибудь портрете, как в комнату вошел хозяин.

Михаил Иванович почему-то представлял его себе человеком непременно очень высокого роста, осанистым и важным, а потому не без изумления взглянул на этого маленького, красивого старика с серебряною бородою, с такими ясными глазами и доброй улыбкой.

— Позвольте вам представить... — начал было церемонным тоном Кондрат Кузьмич, но почему-то осекся. Он взглянул на Бориса Сергеевича — и слова замерли у него на губах.

Произошло что-то мгновенное и непостижимое.

Хозяин шел навстречу гостю и уже любезно протягивал ему руку, очевидно, приготовляясь сказать что-то, но вдруг протянутая рука опустилась, и Борис Сергеевич отступил, глядя на Бородину как на

что-то сверхъестественное, как на привидение. Потом взгляд его перешел куда-то в сторону. Михаил Иванович, не успевший еще даже и удивиться — так все это было мгновенно, невольно последовал глазами за этим взглядом — и невольное восклицание изумления и почти ужаса вырвалось из груди его.

Прямо перед ним, на стене, освещенной солнцем и увешанной портретами, выступал большой портрет в широкой золотой раме. На этот портрет, растерянно глядел Борис Сергеевич, на этот портрет взглянул и Бородин — и узнал самого себя.

Сходство было поразительно: те же черты лица, те же волосы, те же полужакрытые глаза... Сходство было до того поразительно, что Михаил Иванович даже не заметил гвардейского мундира первых годов царствования императора Николая.

Он видел только будто свое отражение в зеркале и, мгновенно забыв, где он и с кем, чувствуя только необычайное волнение, непонятный страх, он замирающим голосом произнес:

— Кто это? Чей это портрет?

Но никто не отвечал ему.



## XI. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО РАЗГАДКИ

Несколько минут продолжалось тягостное молчание. Действующие лица этой неожиданной сцены не отдавали себе отчета в проходящих минутах, погруженные в свои быстро менявшиеся ощущения.

Борис Сергеевич, после первого неожиданного потрясения, произведенного замечательным сходством Бородина с покойным Владимиром Горбатовым, убедился, что перед ним не кто иной, как разыскиваемый им племянник, что это и есть та самая «абракадабра», которую так долго искал Прыгунов и которую, наконец, нашел.

«Но как же мог он так... не предупредив... Это невыносимо... это глупо с его стороны!.. Что делать?..»

Он сердито взглянул на Прыгунова, и в то же время этот взгляд требовал помощи...

Но старый делец был растерян и смущен не менее его и представлял из себя жалкую фигуру. Он машинально вынул свою табакерку, но не раскрывал ее и только похлопывал по ней пальцами.

Еще за несколько минут перед тем он внутренне торжествовал. Он был у цели. Природное, развитое практикой чутье указало ему путь и привело именно к тому месту, где должно было заключаться открытие смущавшей его тайны. Он долго ходил кругом да около и убежденный в том, что чутье его не обманывает, действовал со свойственной ему настойчивостью. Капитолина Ивановна оказалась запертою им в магическом кругу, из которого ей нельзя было выбраться. Вся ее прошлая жизнь, все ее отношения и особенности этих отношений стали известны Прыгунову.

Наконец он сказал себе решительно:

«Михаил Иванович Бородин и есть тот самый младенец Петр, коего мы ищем!.. Подменили! Только к чему такое несообразное и противозаконное деяние?»

Однако он не стал на этом останавливаться и разбирать, решив, что впоследствии все и так будет видно. Он пожелал устроить маленький «фортель», по его выражению: свести Бородина с Горбатовым, ничего заранее не объясняя. Молодой человек, наверное,

понравится. А потом: «Как, мол, он показался вам, Борис Сергеевич?» и «Вот, мол, кто это!..» «Прыгунов за дело зря не берется... до конца доводит!..»

«Вот и довел! Нечего сказать — умно! В таких дураках еще не бывал ни разу в жизни... И как было не заглянуть в эту „портретную“, как было не подумать о возможности сходства, когда и по собственным и по чужим наблюдениям знаю, что дети любви весьма в частых случаях бывают поразительно схожи со своими отцами... Бр! Скверно!..»

И он все щелкал пальцами по табакерке и даже не смел глядеть на портрет, а глядел куда-то в угол.

Между тем Борис Сергеевич наконец овладел собою. Он крепко сжал руку Бородин, усадил его, сказал, хоть и не твердым голосом, несколько любезных фраз и попросил извинения за свое замешательство, вызванное поразившим его сходством.

Но Михаил Иванович все же не мог успокоиться! Ему было неловко, как еще никогда в жизни. Его сердце отчего-то болезненно ныло, казалось, будто дышать нечем, хотелось на свежий воздух из этой одуряющей, какой-то заколдованной атмосферы. А глаза так и тянуло к портрету.

— Чей же, чей это портрет? — опять спросил он.

— Моего покойного брата, — отвечал хозяин, — я видел его в последний раз давно, перед моей ссылкой... Он был тогда приблизительно ваших лет... поэтому я так и поражен...

— Я поражен не менее вашего, — прошептал Михаил Иванович, снова впиваясь глазами в портрет, — ведь насколько я тебя знаю — это... это я.

Он даже вздрогнул, потом постарался улыбнуться.

— Извините меня, Борис Сергеевич, мне просто страшно... Знаете, как человеку, который видит своего двойника...

В это время в соседней комнате слышались шаги, и на пороге показалась фигура того самого почтенного слуги, который провожал гостей в портретную.

— Что там такое? — недовольным тоном спросил хозяин.

— Да вот, сударь, — объяснил слуга, — вас спрашивают.

— Кто спрашивает? Я не могу принять, а занят.

— Барыня, старушка, госпожа Миронова, они говорят: нужно вас видеть по важному делу... Говорят, что вам известно...

Имя Мироновой поразило всех как громом, а главное Михаила Ивановича.

«Как? Она!.. Она здесь? Господи, да что же это такое?..»

И ему, как он только что объяснил, стало просто страшно.

Борис Сергеевич тревожно задумался. У него мелькало в голове:

«Что же делать? Нечего! Это судьба!»

— Хорошо, я иду! — сказал он. — Извините!

Он направился к двери.

Но не успел он сделать несколько шагов, как вся багровая, в своей удивительной, похожей на будку шляпе, твердым и решительным шагом в кабинет уже входила Капитолина Ивановна.

Она все знала. Она только на минуту не застала, явившись к Бородиным, Михаила Ивановича и Прыгунова. Ей сказали, что Прыгунов увез Мишеньку к Горбатову. Услышав это, она не говоря ни слова, вышла из дома, села на извозчика и велела везти себя на Басманную.

Капитолина Ивановна торопила извозчика.

— Эй ты, Ванька, мчись во весь дух! Дуй свою клячу! — крикнула она так властно, что извозчик тотчас же стал хлестать лошаденку, которая пустилась вскачь по взрытой, плохо мощеной улице.

Капитолина Ивановна то и дело подскакивала, как резиновый мяч, сидя боком на так называемой «гитаре» — экипаже-инструменте, теперь уже забытом, но тогда бывшем единственным способом передвижения московских обывателей, не державших своих экипажей и лошадей. Только она не обращала на это никакого внимания — ей все казалось, что негодный Ванька нарочно везет ее тихо, а потому она самым усердным образом долбила его в спину ручкой своего зонтика.

— Да пошел же ты скорее!.. Пошел, шельма, пошел!.. — повторяла она.

Ванька молча делал свое дело, то есть погонял и нукал лошаденку, и только по временам передергивал плечами, когда его спине уж чересчур доставалось от зонтика сердитой барыни.

Терпение у него, очевидно, было большое, да и спина крепкая. Но все же на полпути он не выдержал и обернулся.

— Полегче бы, барыня! — добродушно сказал он. — Ведь спина-то у меня своя, не чужая, дырку в ней продолбишь — продолбишь!.. Этак-то долбить не показано!

Капитолина Ивановна рассердилась.

— Скажите, пожалуйста, вот нежности! — крикнула она. — Пошел, езоп!.. Пошел скорее!..

И в своем волнении непричастная к чувству жалости, она продолжала ему тыкать в спину зонтиком. Добродушный Ванька покорился горькой участи и ожесточенно стал погонять лошадь...

Подъехав к дому Горбатова, Капитолина Ивановна кубарем скатилась с «гитары», сунула Ваньке двугривенный и, несмотря на свой несколько странный вид и будкообразную шляпу, произвела на отворившего ей швейцара такое подавляющее впечатление, что он немедленно впустил ее, а старый слуга пошел о ней докладывать. Но она этим не ограничилась. Она храбро последовала за стариком и, таким образом, очутилась в портретной. Она остановилась и тотчас же заметила всеобщее смущение. Потом быстрый взгляд ее зорких глаз упал на освещенный солнцем портрет.

Она торжественно раскланялась и развела руками.

— Добились-таки! — вымолвила она. — Подстроили!..

Кондрат Кузьмич подошел к ней, хотел что-то сказать, но она отстранила его рукой и мрачно ему кинула:

— С вами, батюшка, я и говорить-то не стану! Почитала я вас за хорошего и умного человека, а так люди добрые не делают!..

— Ух, устала я... извините... сяду... — прибавила она, обращаясь к Борису Сергеевичу, и опустилась в кресло.

Михаил Иванович, не спускавший с нее глаз, не проронивший ни одного слова, сделался бледен как полотно.

— Ради Бога, объясните мне, что все это значит? Я в себя прийти не могу... У меня все в голове путается...

Капитолина Ивановна не слышала его слов. Она глядела на портрет и, наконец, как бы самой себе, прошептала:

— Да-с, с этим ничего не поделаешь!..

Кондрат Кузьмич, приходивший все более и более в ужас от дела рук своих, подошел к старухе и шепнул ей:

— Он еще ничего не знает, если находите нужным — попытайтесь скрыть от него истину.

Она опять отмахнулась от него рукой, обдала его презрительным взглядом и громко произнесла:

— Да-с, скроешь... много скроешь? Заварили кашу — надо расхлебывать... Ну что же... я вот пришла... села и сижу, и буду смотреть на вас, умные люди... перехитрили меня... радуйтесь...

Потом она обратилась к Горбатову.

— Уж извините меня, государь мой, — сказала она, — забралась незваной-непрошеной в ваши хоромы.

— Очень жаль, что не забрались раньше, — грустно ответил Борис Сергеевич. — Напрасно вы не хотели быть откровенной со мною, много тяжелого можно было бы избежать...

Капитолина Ивановна стала даже задыхаться от волнения — лицо ее поочередно переменяло все цвета радуги и, наконец, сделалось ярко-фиолетовым.

— Бог мой! — крикнула она. — Да ведь я так и порешила идти к вам и по душе переговорить с вами... все представить на ваше благоусмотрение, так было решено у нас... все решили. А вот он... (она пальцем показала на Прыгунова) — делец-то ваш, умник, обрадовался, что дьявол, прости Господи, помог ему, и поспешил.

Михаил Иванович не мог выдержать более. Мучительная и тоскливая мысль, которая в первую же минуту перед этим страшным портретом неясно и бессознательно охватила его, теперь становилась для него все яснее и яснее. Перед ним из нахлынувшего на него тумана выяснился образ его матери. С тех пор как он ее помнил, образ этой прекрасной, тихой и любящей матери, положившей всю душу в семью — в мужа и сына, был для него чист и безупречен. Ему вспомнились далекие годы детства, когда эта мать сдувала с него всякую пушинку, лелеяла и берегла его, учила, говорила ему глубоким, растроганным голосом те простые, но могучие слова справедливости, любви и веры, которые, быть может, не раз спасали его в трудные минуты. И он только теперь понимал, до какой степени всегда, ни на минуту не переставая, горячо любил он эту мать. Да, всегда ставил ее высоко, высоко над другими женщинами, несмотря на ее простоту и странности, развившиеся в ней от долгой привычки к довольно замкнутой серенькой жизни. И понял он, что оттого ставил ее так высоко, что уважал в ней чистую женщину — образец семейных добродетелей...

И что же теперь? Этот страшный портрет, общее смущение, появление Капитолины Ивановны — в миг один перевернули все — образ матери исказился. Чувство тоски и стыда росло с каждой минутой.

— Капитолина Ивановна! — крикнул он в отчаянии. — Я смутился — это так неожиданно, но я должен покончить с такой слабостью... рано или поздно нужно знать правду... и, может, лучше, что я ее узнаю... Тяжело, но я постараюсь не судить мою мать за ее вину перед мужем... скажите мне все...

Капитолина Ивановна вскочила с кресла, подняла руки и кинулась к Бородину с очевидной целью зажать ему рот. Глаза ее метали искры. Она даже затопала ногами.

— Молчи!.. Нишкни!.. Глупец ты этакой!.. — даже как-то прошипела она. — Молчи, коли ничего не знаешь... Кого это судить? Какую мать? Это Марью Семеновну-то? Да она святая женщина... Она взрастила тебя, лелеяла, ты молиться на нее должен!..

Михаил Иванович схватился рукой на голову. Он ничего не понимал, туман только еще сгустился.

Но Капитолина Ивановна уже заговорила:

— Так они тебе ничего не сказали? Ну, так слушай! — Да и вы слушайте, делец-гробокопатель!.. — метнула она в сторону Прыгунова, начинавшего мало-помалу выходить из своего оцепенения, принимавшего ее нападки с большим смирением и в то же время в глубине души сгоравшего от нетерпения узнать, наконец, все подробности.

Она подробно рассказала историю бедной Сашеньки. Рассказала, как Сашенька с Петрушей привезены были ею в Москву, как она поместила их на первое время у приятельницы своей, Анны Алексеевны, как Сашенька, уже больная в Петербурге, стала мало-помалу чахнуть.

— Была она добрая-предобрая, — говорила Капитолина Ивановна, — и характер имела тихий и робкий. К соблазнителью своему привязалась всей душою, он только и был для нее один на свете, и в слепоте своей почитала она его, противу всех видимостей, за ангела небесного. Долго не доходило до нее никаких слухов... да и как доходить! Что была она и что он! Хоть и в одном городе, а, почитай,

все равно как бы на разных планетах жили... А все ж таки кончилось тем, что узнала она всю правду, узнала...

— Сударыня, зачем эти подробности... ведь и так тяжело... — перебил ее Борис Сергеевич, указывая ей глазами на Бородина, сидевшего, опустив голову и с помертвелым лицом.

Но ее только подзадорило это замечание.

— Не я начала, не я! А теперь уж пусть все знает, все!

Она с ненавистью взглянула на портрет Владимира Горбатова и продолжала:

— Узнала она, что он, собираясь жениться, соблазнил ее, а сам говорил ей, что уже давно женат... Не поверила она такому ему поступку, долго не верила, а когда пришлось поверить, так вся душа ее перевернулась, руки на себя наложить хотела, потом ее и узнать нельзя было... он ей страшен стал... Да, вовремя и подоспела, чтобы от греха уберечь... Об одном только она молила, чтобы я так ее спрятала, чтобы он уж никогда, никогда не мог найти ее, а главное, чтобы не мог найти Петрушу, умирая, о том меня молила!..

Далее рассказала Капитолина Ивановна, как Марья Семеновна Бородина, счастливая жена и мать, приняла в Сашеньке участие, навещала ее, ласкала Петрушу, в котором находила большое сходство со своим Мишенькой. А потом бедная Сашенька умерла. Петруша остался на руках Анны Алексеевны. Заболел Миша Бородин, заболел и умер. И вот пришло ей в голову спасти любимую ею Марью Семеновну от отчаяния, дав ей вместо умершего другого сына, и в то же время исполнить предсмертную мольбу Сашеньки.

— Еще Мишенька был жив, только уж видно было, что не жилец он на свете, как это пришло мне в голову, и чуяла я, что сам Господь меня надоумил. Уж и не помню, что я такое говорила Марье Семеновне... Сперва она, в горе своем да отчаянии, и слушать меня не хотела, а потом вникать стала и осенило ее, а я настаиваю: «В память Мишеньки сделай доброе дело, пригрей неповинного сироту — счастье тебе будет, да и Мишенька, ангелочек на том свете, радоваться станет». Заплакала Марья Семеновна, а то и слез у нее не было, и смастерили мы тихонько, с помощью старой няньки, это дело...

— Позвольте, Капитолина Ивановна, — не выдержав, перебил ее Прыгунов, — ведь это вы преступление совершили! Да и к чему? Ребенка можно было усыновить законным порядком...

— Как же? Можно! Неужто думаете вы — мы это дело не обсудили? Иван-то Семеныч в ту пору потомственное дворянство получил и усыновить ребенка не имел права.

— Дозволяется испрашивать в таких случаях высочайшее соизволение, — заметил Прыгунов.

— И это нам было известно... только, батюшка, барам важным все легко, а мы люди маленькие, и до царя где ж нам было добраться. А стали бы добираться, так и совсем бы ребенка потеряли... мне уж известно было, что его разыскивают... И каждую ночь, верите ли, и я, и Марья Семеновна Сашеньку во сне видели, три ночи подряд, ясно так... приходит и говорит: «Спасите Петрушу, скройте его, скройте!» Ведь с таким делом ни дня мешкать нельзя было — ну и устроили... казалось, все навеки шито и крыто... Да так бы оно и было, коли бы вы не стали его разыскивать... Ну, теперь что же? Теперь судите нас, старых баб, в Сибирь нас, что ли, на каторгу, как по-твоему выходит, законник?

И опять Прыгунов почувствовал на себе тяжелый взгляд старухи и поник головою под этим взглядом. Бородин, бледный как мертвец, подошел к Капитолине Ивановне, и вдруг будто у него подкосились ноги, он упал перед нею, склонил голову к ней на колени, прижался к старой старухе, как бывало в дни детства, и неудержимо зарыдал, он, ни разу не плакавший с детства.

Она положила ему на голову свою морщинистую, старую руку. У нее у самой закапали слезы.

— Молчи, дурачок, не плачь! — шептала она. — Все Бог, все Бог! Чего тебе плакать — перемелется... несчастье-то было давно и давно его нет больше, только вон оно — со стены смотрит!..

Между тем эти прорвавшиеся нервные рыдания облегчили Михаила Ивановича. Он поднялся, проговорил: «Простите» и, ни на кого не глядя, уже хотел выйти из комнаты. Но тут Борис Сергеевич заступил ему дорогу.

— Я не могу так отпустить вас! — сказал он ему своим тихим, проникающим в душу голосом и крепко взял его за обе руки. — Я без вины виноват в горе, которое причинено вам сегодня... Да нет, все это не то... и к чему эти фразы!.. Смотри на меня... смотри...

Михаил Иванович невольно поднял глаза, встретил ясный взгляд старика и расслышал его шепот:



— Ведь я не чужой, и ты не захочешь, чтобы я был чужим тебе, ты вернешься ко мне, успокоившись?

В этих словах было что-то властное, что-то магнетическое. Михаил Иванович невольным порывом приблизился к Горбатову, и они обнялись.

И выходил Бородин из этого дома, несмотря на весь свой туман, несмотря на тоску, все же с сознанием чего-то доброго и хорошего, что смягчало боль его измученного сердца.

## XII. КРОВЬ

В то время как перед портретом Владимира Горбатова происходила тяжелая сцена, необдуманно устроенная Кондратом Кузьмичем Прыгуновым, в доме Бородиных чувствовалась большая тревога.

Вот уже три дня как мирная жизнь стариков Бородиных была нарушена.

Иван Федорович, теперь уже превратившийся совсем в старика, но все еще бодрый и живой, несколько лет тому назад покинув гимназическую службу, исключительно предался своей страсти — огородничеству и садоводству. Он все дни, особенно весной, летом и в начале осени, проводил в своем саду и тепличках, выращивая удивительные цветы и тыквы всевозможных форм и величин. Эти цветы и тыквы были теперь его наилучшими друзьями и излюбленными детищами. Он следил за их ростом, лелеял их и даже беседовал с ними, так что Марья Семеновна не раз упрекала его, что он любит их больше, чем своих домашних.

— Ведь это даже просто грех! — говорила она. — Подумай только...

Он сознавал, как и всегда, что она права, что «это грех», что у него есть внучата, на которых должна быть обращена вся его нежность, все его заботы, но соблазн был превыше всяких рассуждений. Он вставал с мыслью о развивающейся с каждым днем гигантской тюрбанообразной тыкве — и засыпал с этими же мыслями.

Марья Семеновна, уже давным-давно утратившая свою красоту, седенькая, худенькая старушка с добрым и дряблым лицом, почитала себя, может быть, более еще счастливой, чем когда-либо. Она любила Мишенькину жену, в которой видела повторение как бы себя самой, обожала внучат. Весь ее день проходил в заботах об этих внучатах, в тысяче мелочей домашней жизни. Но эти мелочи казались ей самыми важными вопросами, наполняли весь ее внутренний мир.

После деятельно проведенного дня засыпала она с ясным счастливым сознанием исполненного долга и полноты жизни. Случалось ей несколько раз просыпаться ночью, но и в эти минуты,

между двумя снами, она продолжала жить всей той же жизнью, думать о тех же вопросах, тревожиться теми же заботами...

Вот Ваня катался в траве и напорол себе о черепок ногу!.. И мать, и бабушка страшно перепугались. Бедный мальчик в первые минуты при виде хлынувшей из раны крови с перепугу даже не кричал, а просто как-то замер... Сейчас ему приложили паутины, обвязали ногу, к вечеру уже рану затянуло.

И Марья Семеновна среди ночной тишины, среди столько лет привычной обстановки своей незатейливой, но просторной и уютной спальни думает о Ваниной ране, какие могут быть последствия.

«Шрам, наверно, шрам будет на всю жизнь! И откуда взялся такой черепок? Вычищают сад — сама слежу... и надо же было ребенку на этот черепок так напороться!.. И ведь во всем саду, хоть об заклад побиться, нет другого черепака, наверно...»

У Машеньки прорезались последние зубы, тяжело резались, жарок был сильный, теперь здорова...

«Какая она славная девочка, веселая, черноглазая — в отца будет!» — думается счастливой старушке...

«Матушка! Что ж это я? Из ума вон — ведь в будущий вторник Машенькино рождение... надо завтра же непременно в лавки... игрушек купить...»

Бабушка начинает с удовольствием, отгоняющим сон, обдумывать, какие именно игрушки купить внучке...

И как-то вот все шло день за днем, и казалось, конца не будет этой мирной жизни.

А между тем три дня тому назад пришла Капитолина Ивановна и вверх дном повернула всю эту жизнь! Насказала таких ужасов, что и Иван Федорович, и Марья Семеновна просто остолбенели, даже долгое время не хотели верить.

Но не верить было нельзя.

Что же это такое будет?

Судили они и рядили весь вечер, запершись в маленьком кабинете Ивана Федоровича, запершись втроем с Капитолиной Ивановной, благо, дети уже отпили чай и собирались спать, а молодые Бородины были в гостях. Судили, рядили и порешили обратиться к сердцу Бориса Сергеевича Горбатова. Если он добрый человек, то не захочет

их общего несчастья, не станет мучить и портить их мирной семейной жизни.

— А пуще всего упрошу я его, — сказала Капитолина Ивановна, — чтобы он не пытался увидаться с Мишенькой, и уже предчувствую я, что будет с его стороны большая загвоздка! А не след Мишеньке попадать к ним — узнают его по сходству, узнают!.. Ведь вот я еще с утра достала портретик, что после Сашеньки остался — ведь это как на смех, отцы мои, такое сходство!

Она вынула из кармана и положила перед Бородиными тонкой работы медальон с изображением Владимира Горбатова. Они взглянули и вздрогнули — сходство с их Мишенькой было поразительное. Марья Семеновна и Иван Федорович видели этот медальон тогда еще, более тридцати лет тому назад, но уже, конечно, давным-давно забыли его.

Им стало жутко и больно.

Вот он, этот человек, давно умерший... Но он встает из могилы и отнимает у них их сына, их истинного законного сына, которого они получили по великому праву любви и жалости, которого взрастили и взлелеяли, который был утешением и отрадой всей их жизни.

Всплакнула Марья Степановна, да и Иван Федорович сидел совсем нахмуясь, забыв о своих тюльпанах и тыквах.

Решено было, что Капитолина Ивановна отправится к Горбатову на этих же днях, завтра не то послезавтра. Капитолина Ивановна позабыла, несмотря на всю свою мудрость, что теперь дорога каждая минута. Уж очень они были уверены, что все шито да крыто, что не съест старик Прыгунов «абракадабры», а главное, не знали они, что этот Прыгунов, который до сего времени и знаком-то с Бородиными не был и в доме у них не бывал, а теперь в последнее время уже два раза поднимался по лестнице в мезонин к Михаилу Ивановичу.

Михаил Иванович был очень общителен, и если бы догадались спросить его, какой это «старый гриб» был у него два раза, он, конечно, рассказал бы о том, где и каким образом встретился с Прыгуновым, как разговорился с ним, как старик заинтересовал его горбатовским архивом. Но никто его об этом не спрашивал, и, как нарочно, жены его оба раза не было дома, когда приходил Прыгунов.

Прошло два тревожных дня. Иван Федорович бродил как в воду опущенный, машинально, по привычке, обходил свои грядки,

забирался в теплички, но даже почти не замечал, что тюрбанообразная тыква превосходит его ожидания, что темный тюльпан распустился во всей красе.

Марья Семеновна перестала думать о внучатах, и молодая Бородина — Надежда Николаевна сильно изумлялась, глядя на стариков. Надежда Николаевна была веселого нрава, а потому даже и подсмеивалась внутри себя.

«Чудеса творятся! Старики помолодели — опять влюбились друг в друга, весь день не расстаются, прячутся по уголкам, шушукуются... Что бы такое могло это значить? Или сюрприз какой-нибудь особенный готовят Мише, а то и мне, пожалуй!»

Надежда Николаевна решила во что бы то ни стало разгадать эту мистерию и даже рассказала обо всех родительских проделках Михаилу Ивановичу, когда он вернулся домой вечером. Но он был мало заинтересован ее известием, у него на этот раз было свое дело, очевидно, очень его интересовавшее. Он сказал жене, что на следующее утро отправляется с одним человеком к Горбатову, известному, возвращенному из Сибири, декабристу, который в настоящее время находится в Москве в своем старинном доме.

— Зачем же ты к нему поедешь? — спросила жена.

— А затем, мой друг, что он предлагает мне через этого человека, с которым я и поеду, разобрать и привести в порядок его семейный архив. А я, вот видишь ли, уже два года думал и раздумывал, как бы мне познакомиться с этим интересным архивом...

— Ну, это значит — засядешь опять за свои старые бумаги и слова от тебя по целым месяцам не добьешься!

Михаил Иванович улыбнулся.

— Отчего не добьешься? Слова добьешься, а дело будет интересное — вот что! Давно у меня интересного дела не было.

— Ну да... да... Ах ты мой старый крот! — говорила Надежда Николаевна, весело заглядывая в лицо мужа и прижимаясь к нему.

Она ужасно обожала своего красавца Мишу. Она еще не успела остыть среди мелочей и дрызг семейной жизни, тем более что Марья Семеновна постоянно отстраняла ее от этих дрызг и мелочей.

Утром Прыгунов явился рано за Михаилом Ивановичем, и в то время как они еще находились в мезонине, Надежда Николаевна рассказывала старикам Бородиным о том, что она узнала вечером от

мужа. Ее слова произвели такое неожиданное и страшное впечатление, что она совсем растерялась.

Иван Федорович и Марья Степановна буквально заметались и, беспорядочно перебивая друг друга, повторяли:

— Что же делать? Его нельзя пустить! Надо остановить непременно... Надя, друг мой, позови его скорей, скажи что-нибудь...

— Ну скажи, что мне дурно... — наконец надумала Марья Семеновна.

— Да что такое, маменька? Что случилось?..

Марья Семеновна, задыхаясь, едва проговорила:

— Потом узнаешь... зови скорее, зови!..

Надежда Николаевна, ничего не понимая, кинулась в мезонин, но еще по дороге горничная сказала ей, что Михаил Иванович со стариком гостем уехали.

И в то же время у подъезда звонила Капитолина Ивановна. Надежда Николаевна и объявила ей, куда уехал Михаил Иванович.

Капитолина Ивановна повернулась и исчезла. А молодая Бородина только развела руками.

— Час от часу не легче! Да они все просто с ума сошли!

Положение, в котором она застала Ивана Федоровича и Марью Семеновну, заставило ее еще более призадуматься.

— Нет, не сошли с ума, верно, несчастье какое-нибудь! Какое? Что все это значит?

Она пристала к ним, чтобы они ей все объяснили. Но они оба, подавляя свое мучение и волнение, нашли в себе силы отделаться от нее успокоительными фразами.

— Ничего, милочка, ничего, пожалуйста, не тревожься... все обойдется...

— Так, дело одно, которое тебя вовсе не касается...

Иван Федорович просто убежал от нее в свои теплички, заперся там среди тюльпанов и предался тревожным мыслям. Скрылась и Марья Семеновна в свою спальню, на ключ заперла дверь и принялась молиться.

Надежда Николаевна обиделась и не на шутку встревоженная стала дожидаться мужа...

А он возвращаться домой и не торопился. Он пошел пешком. Он чувствовал, что ему нужно пройти до утомления и одуматься,

освежить свою горевшую голову. Он шел медленно всю длинную дорогу от Басманной к Арбату, и его, всегда оживленного, ходившего быстро, часто останавливавшегося по дороге, обращавшего на все внимание, всем интересовавшегося, никто бы не узнал теперь в этом бледном, рассеянном человеке, который шел и не видел окружающего. Он несколько раз на пути своем чуть не попал под лошадей, не слышал, что кричат над самым ухом.

Но все же мало-помалу он начинал овладевать собою, начинал разбираться в нахлынувших на него ощущениях и мыслях.

Что же это такое стряслось над ним сегодня? Горе? Несчастье? Или и нет никакого горя — как уверяла Капитолина Ивановна. Может быть, и нет горя, но вся жизнь, и детство, и юность, и мало-помалу с каждым годом уходящая молодость были сном и обманом. Была семья, был отец и мать, а теперь их нет... нет! Да разве это возможно?.. Ведь ничего не изменилось... все то же самое...

«Конечно... конечно... — твердил он себе. — Они мне те же отец и мать... мои родные... милые...»

Он рассуждал, вдумывался и понимал, что если любил их до сих пор, то теперь должен любить их еще больше за то, что они для него сделали. Все это было так, это было ясно и просто, а между тем тоска продолжала щемить его сердце, и эта тоска шептала:

«Все же ты не их сын, ты им чужой... ты не имеешь на них права! Они не отец тебе, не мать, а благодетели...»

«Благодетели! Они?»

Тут было мучительное, терзавшее его противоречие.

«Да и что же такое я сам! Самозванец!» — печально повторил он.

Перед ним мелькала вся его жизнь, те годы, когда ему так безумно хотелось иметь все, все, что было в руках и во власти других людей, с которыми он когда-то столкнулся, но у него было очень мало, и между этим немногим больше всего, может быть, он дорожил своим простым, но честным именем. А вот и имени этого у него нет. Что осталось? Что дано ему взамен потерянного? Непризнаваемое родство с одной из самых старинных и богатых русских фамилий! Этот красивый седобородый старик, так нежно, так родственно его обнявший, показавшийся ему очень добрым, — его дядя. Этот архив, которым его заманили, — это архив его предков!..

И вдруг в нем сказалось действие старого позабытого яда. Он вспомнил блестящее высшее общество, которым когда-то увлекался и от которого пришлось ему оторваться с трудом с чувством оскорбленного самолюбия. Ему казалось, что он уже и тогда чувствовал свою связь с этим изящным обществом. Вот почему он любил его, вот почему ему всегда так легко дышалось среди широкой жизни, среди роскоши и блеска. Это кровь говорила, кровь неведомого отца, передавшего ему все свои черты!..

Яд поднимался.

«Я Горбатов!» — мысленно повторял он и уходил в глубь веков, в ту глубь, над которой так часто от юности любил задумываться.

Ему припоминалась, как будто сейчас она перед ним была раскрыта, та страница «История Государства Российского», где он в первый раз прочел имя боярина Горбатова...

Перед ним проходили одна за другою яркие сцены...

...Битва с татарами. Русский воевода, закованный в латы, на лихом коне, рубит врагов направо и налево... Редуют толпы степных хищников — православное воинство ликует победу... Вождь опускает свой кровавый меч, уста его шепчут молитву — это Горбатов...

...Низкие расписные своды, восточный блеск и роскошь... грозный царь с измученным и скорбным лицом, с подозрительно бегающими глазами... Кругом любимцы — льстецы, и среди них тучная фигура старого боярина — упрямый лоб, гордый взгляд...

«Мы — сила земли русской, — говорит боярин, — и наше место рядом с тобою в твоём Совете!»

«Вы крамольники... вы злодеи!» — кричит царь.

«Не мы крамольники, а ты сам окружил себя крамолой!..»

«Казнить его!..»

И казнят упрямого боярина, и боярин этот — Горбатов.

Опять другие картины. Опять то боевая схватка, то решение дел государских — и везде и всюду на первом плане Горбатовы...

...Годы ломки и перестройки всего государственного здания... «Брей бороду! Надевай кургузое немецкое платье! Бегай, работать поспевай! В кургузом платье — это сподручнее, в длиннополом кафтане только валяться да брюхо отращивать! Брей бороду, пузан!» — требует властный голос великого работника.



Но пузан-боярин стыдится себя окургузить, стыдится окорнать свою Богом данную красу мужескую — браду, годами посеребренную. Непонятен ему голос державного работника, да и упрямство от отцов наследовано великое...

Уходит бородач в свои родовые вотчины, зарывается там от бела света, чудачит и молится... И опять это Горбатов...

...Но сын бородача, уже в немецком платье, в парике на стриженной голове, работает с немцами...

...Опять другие времена, другие нравы...

Вспоминаются Михаилу Ивановичу рассказы москвичей, его знакомых, о последних Горбатовых... Потом совсем меркнет блеск славного имени, не слышать и не видеть теперь Горбатовых... Один только этот старик, возвращенный из Сибири... Последний...

И вдруг старые грезы снова наплывают со всем своим соблазном.

«Дайте мне средства! — шепчет Михаил Иванович старую фразу, которую так часто повторял он лет десять тому назад. — Дайте какое-нибудь оружие, тогда можно будет показать себя...»

«Да, многое можно сделать, можно поработать для поднятия падающего рода... И снова заблещет старое имя! Я Горбатов!..»

«Пойди, скажи им это! — вдруг шепчет насмешливый голос. — Пойди скажи — и они рассмеются над тобою, втопчут тебя в грязь... И стыд, унесенный тобою когда-то из их общества, покажется тебе ничем в сравнении с этим новым стыдом!.. Незаконный сын Горбатова и петербургской мещанки! Кто же тебя признает? Да и незаконным-то сыном ты не смеешь назваться — у тебя отец и мать! Что же, подводить их под ответственность станешь, добиваясь своего позора?»

Совсем подавленный, совсем разбитый вернулся домой Михаил Иванович.

## XIII. МЕЖ ОГНЕЙ

Он прошел прямо к себе в мезонин и в первой же комнате столкнулся с женой, которая, так ничего не добившись от стариков, в нетерпении и в волнении дожидалась его возвращения. Увидя его бледное, измученное и странное лицо, она совсем уж испугалась. Она кинулась к нему, охватила его шею руками и, сама бледная, прошептала:

— Господи, да что же, наконец, случилось? Что у нас делается... не томи, скажи? Они от меня скрывают, я весь день промучилась здесь, тебя дожидаясь. Что же это? Разорились вы, что ли? Весь капитал пропал?.. Я ума не приложу. Ну... ну, говори скорее!..

Он вздрогнул и невольно от нее отстранился. У него из головы вон вышло, что, вернувшись домой, ему придется отвечать на такие расспросы. Что же он может, что он должен ей ответить? Зачем ей знать — нет, он ничего ей не скажет, ничего ни ей, ни им...

Все это разом мелькнуло у него в голове, и он принял твердую решимость. Он нашел в себе силу внутренне отряхнуться. Он поцеловал жену и улыбнулся.

— Что ты перепугалась? Не разорились мы, и ничего такого нет... Что от тебя скрывают, и откуда ты взяла все это?

— Да не обманывай ты меня, посмотри, какое у тебя лицо. Что с тобою?

Он поднял свои тяжелые, плохо слушавшие его веки и взглянул ей прямо в глаза.

— Ничего со мною... Ты говоришь про мое лицо, может быть, я бледен, я очень устал, я был у Горбатовых... Сговорились мы насчет архива... Вышел я от него, захотелось пройтись — и вот пешком с Басманной... Давно много не ходил, с непривычки просто даже ослабел, голова кружится... Дай-ка мне рюмку вина и объясни, что у нас такое — я ничего не понимаю.

Надежда Николаевна в недоумении глядела на мужа.

«Что же это он, комедию играет? Ведь до сих пор ничего не скрывал и обещал, сколько раз обещал, что никогда не будет иметь от меня тайны... Что же это теперь — или надо ему верить?»

Она рассказала ему о впечатлении, произведенном на стариков его отъездом к Горбатову, о появлении и таинственном исчезновении Капитолины Ивановны.

Он сделал вид, что изумлен и пожал плечами.

— Ну, душа моя, я сам тут ничего не понимаю, и теперь ты уж и меня пугаешь... Если тебе они ничего не объяснили, может быть, объяснят мне — постой, я пойду и спрошу их...

Он пошел вниз, а Надежда Николаевна осталась, все-таки не зная, верить ему или нет.

«Неужели он лжет и притворяется? Зачем, с какой стати, что ему скрывать от меня? Нет, нет, он, должно быть, ничего не знает... он все время был совсем спокоен и вчера вечером, и сегодня...»

А Михаил Иванович, сходя вниз, мучительно думал:

— Что же я скажу им? Как с ними встречусь? Что мне делать?

Но оказалось, что Марьи Семеновны не было дома — она уехала, и он понял, что она уехала к Капитолине Ивановне. Старик был в саду, в тепличке.

Михаил Иванович вышел в сад, к нему кинулись игравшие перед балконом дети. Он машинально поцеловал их и направился к тепличке. Путь был невелик, всего два-три десятка сажень. Но Михаил Иванович шел, едва передвигая ноги, шел как на казнь, так тяжело ему было встретиться с отцом.

Однако эта встреча, во всяком случае, часом раньше или позже, была неизбежна. Он подошел к тепличке, схватился за дверцу, рука его дрожала, сердце замирало. Он согнулся и перешагнул порог. Его охватил горячий влажный воздух, пропитанный испарениями растений.

На низенькой скамеечке, среди цветов и зелени, сидел, весь сгорбившись, Иван Федорович в своем сереньком летнем балахоне. Длинные седые волосы, которые он со времени отставки почему-то перестал стричь и носил по плечам, обрамляли его старческое, гладко выбритое лицо. При виде Михаила Ивановича он задрожал, поднялся со скамейки да так и замер, совсем растерянный и не смея поднять глаз, будто человек, уличенный в преступлении.

Несколько мгновений они молча простояли друг перед другом. Затем Михаил Иванович взял руку старика и прижал ее к губам своим.

Иван Федорович свободной рукой обнял сына и почти громко заплакал.

— Мишенька... голубчик... — только и мог он выговорить сквозь слезы.

И опять молчание, и опять они стоят друг перед другом. Михаил Иванович хотел говорить и не мог. Снова нахлынула на него тоска, что-то как будто путалось и обрывалось в сердце...

Ведь ничего не изменилось, ведь перед ним тот же самый любящий отец, какого знал он всю жизнь. Тот же самый добрый чудак-отец, не дальний умом, не сильный характером, но всегда чуткий сердцем, всегда отлично понимавший все доброе и хорошее. Отец!.. Но ведь это не отец, это чужой человек!..

И чувствовал Михаил Иванович, что уже ничем не выбьет из себя этого мучительного и странного сознания. Что же теперь? Запуталась, запуталась жизнь, нет прежней тишины и не будет. Все, что было просто и естественно, теперь стало ложью, обманом, неестественностью.

Что сказать ему? Ведь он видит и так, что все известно... Объясниться!.. Какие же могут быть объяснения...

Они ничего так и не сказали друг другу.

Иван Федорович робко взглядывал на сына и тотчас же отводил глаза. Но вдруг, будто собравшись с силами и что-то решив, он заговорил:

— А я вот, Мишенька, хотел показать тебе новый цветок кактуса, вчера еще распустился... Вот подойди-ка сюда, посмотри, сколько лет у меня и это в первый раз!..

Михаил Иванович, никогда не интересовавшийся цветами, теперь так и накинулся на этот кактус и стал расспрашивать отца о том, какая это порода, когда и долго ли он цветет, и тому подобное.

Иван Федорович объяснял с оживлением, лихорадочно.

Как бы то ни было, этот цветок кактуса разбил лед. Он был последней соломинкой, за которую они оба ухватились, и соломинка их поддержала.

Выходя из теплички, Михаил Иванович сказал:

— Надя перепугана, требует объяснений... Я ей выдумаю какую-нибудь историю...

Иван Федорович остановился и опять сильно вздрогнул.

— Да... да... Надя... выдумай... выдумай, голубчик, зачем ей... не надо...

Михаил Иванович вернулся к жене все с тем же бледным и странным лицом, но, по-видимому, спокойный.

— Да, — сказал он ей, — они очень встревожены, но совершенно напрасно... Они Бог знает что воображали...

— Что же они могли воображать и при чем тут Горбатов? Зачем они так испугались тому, что ты к нему едешь?

В ответ на это Иван Федорович намекнул на какую-то туманную старую историю, что будто отец Марьи Семеновны знал Горбатова, когда тот еще не был сослан в Сибирь, что у них были какие-то денежные дела, какие-то неоконченные счета, что Марья Семеновна боится, как бы Горбатов не заподозрил ее покойного отца в нечестности. Но у Капитолины Ивановны хранятся письменные и неопровержимые доказательства противного...

— Я все это разберу и выясню дело. Маменька отправилась к Капитолине Ивановне и, конечно, вернется с этими документами...

Надежда Николаевна поверила истории, сплетенной мужем, и успокоилась. Но она удивлялась тому, что за обедом все были молчаливы, что у Марьи Семеновны были заплаканы глаза, а вечером она заперлась в своей спальне с сыном и пробыли они там долго-долго. И у Михаила Ивановича, когда он пришел к жене и собирался спать, были тоже глаза как будто немного красны.

Она только спросила его:

— Что же, ты видел эти бумаги? Они убедительны?

— Да, да, слава Богу! — ответил он. — Я завтра же с ними поеду к Горбатову.

Надежда Николаевна мирно заснула и не знала, что муж ее не сомкнул глаз почти во всю ночь, что он даже несколько раз, вряд ли и сам замечая это, вставал с постели и сидел, понуря голову, очевидно, думая тяжелые и тревожные думы.

Он, как и сказал, отправился на следующий день к Горбатову и, возвратясь, уверил ее, что дело благополучно кончено. Благополучно кончено, а между тем Надежда Николаевна ясно видела, что в доме происходит что-то странное, что и Михаил Иванович, и старики совсем не те, что все они как-то неестественны, как будто играют комедию.

Она продолжала свои наблюдения и, наконец, решила, что муж обманул ее, что от нее скрывают какую-то тайну. Она пристала к Михаилу Ивановичу, пустила в ход все женские уловки, подвергла его испытанию просьб, ласк, слез, негодования и, конечно, кончила тем, что победила.

Он любил свою хорошенькую, влюбленную в него жену, в которой, несмотря на несколько лет семейной жизни, сохранилось еще много детского и наивного. Она родилась в скромной среде московского чиновничества, воспитывалась в институте, рано вышла замуж. Но в ней не было той мелочности, того не изящества, которое Михаил Иванович терпеть не мог в барышнях его круга.

Надежда Николаевна именно была изящна от природы, была добра, и хотя ее образование и умственное развитие сильно хромали, но природный такт был настолько значителен, что никогда она не заставляла краснеть своего мужа ни на людях, ни наедине.

Она не только продолжала оставаться в него влюбленной, но и уважала его, ставила гораздо выше себя, умела вслушиваться в его суждения и запоминать их, заставляла себя интересоваться всем, чем он интересовался, — и достигла этого.

Она мало-помалу становилась его послушной ученицей, в некотором роде как бы его повторением в миниатюре. Он понимал это, чувствовал и был доволен своей Надеждой...

Ему самому, с первого же дня, было тяжело иметь от нее тайну. Да и, наконец, несколько дней, прошедших со времени сцены в горбатовском доме, все же заставили его хладнокровнее взглянуть на дело. Наконец он задал себе вопрос — зачем скрывать от жены? Она слишком добрая и честная женщина, она не выдаст его тайны, не повредит.

Он ей во всем признался.

Надежда Николаевна слушала его, широко раскрыв глаза, и в первую минуту ей показалось даже, что он смеется над нею, рассказывает ей сказку — так все это было невероятно. Но такой сказки он ведь не мог выдумать. Она задумалась и вдруг заплакала.

— Ну вот, ты и плачешь! — сказал он. — Значит, лучше бы я молчал... И о чем ты плачешь?

Она удержала свои слезы, прижалась к нему и прошептала:

— Я плачу потому, что ты не сказал мне сразу и так долго скрывал от меня все это... И потому плачу, что как же не плакать — ведь я понимаю, как тяжело и тебе, и им...

— Но, ради Бога, Надя, ни слова им, пусть они думают, что ты ничего не знаешь...

— Тебе нечего просить меня об этом, конечно, я не скажу им ни слова. Но что же ты теперь будешь делать, Миша?..

Она остановилась и вздрогнула.

Он заметил это и печально улыбнулся.

— Вот видишь, и тебе страшно, — сказал он, — назвала меня Мишей, а я даже и не Миша...

По его лицу скользнуло такое скорбное выражение, что она снова прижалась к нему и стала крепко и горячо целовать его.

— Это пустяки, пустяки! — повторяла она. — Тебе нечего об этом думать, это только странно. И я знаю одно, — прибавила она, — что мы должны любить их еще больше, еще больше ценить их...

— Спасибо тебе за то, что ты так говоришь и думаешь! — произнес Михаил Иванович, обнимая жену.

— Что же ты будешь делать? — повторила она свой вопрос.

— Ничего, — сказал он. — Что же мне делать?

— А твой дядя... Горбатов? Ты теперь каждый день у него бываешь...

— Дядя! — задумчиво произнес Михаил Иванович. — Он, кажется, действительно хочет быть для меня родным... Он хороший человек, я люблю его... Завтра он уезжает, но зовет меня осенью в Петербург...

— Ты поедешь? А как же служба?

— Я еще ничего не знаю, но, может быть, и службу теперешнюю оставлю... Может быть... — он снова задумался, — в нашей жизни будет большая перемена...

— Какая же? Что такое? Ты опять начинаешь скрывать!

— Нет, но подожди, я еще сам ничего не знаю, у меня до сих пор голова как в тумане...

Надежда Николаевна побледнела, какая-то мысль мелькнула в голове ее, и голосом произнесла она:

— Да, да, будут большие перемены, но к лучшему ли, Миша? Мне становится страшно...

Слезы блеснули на ее глазах, не то тоска, не то неопределенное предчувствие сжало ей сердце.

— Перемены!.. — шептала она. — Да зачем они нам, мы жили хорошо, будем ли жить лучше? А вдруг...

Она запнулась.

— Что вдруг? — спросил он, поднимая глаза и видя ее испуганное лицо. — Чего ты еще боишься?

— Я боюсь, что ты меня теперь разлюбишь...

— Побойся Бога! Как тебе не стыдно! — крикнул он, хватая ее руки. — Ведь ты не ребенок, что за безумная мысль! Мне кажется, теперь нам более чем когда-либо нужно быть вместе... теснее...

Эти слова ее успокоили.

— Только смотри, ничего не скрывай от меня... знаешь, хоть у меня и умишко не Бог знает какой, но все же — ум хорошо, а два лучше...

А он что-то скрывал, в его голове роились какие-то новые мысли, новые планы. И Надежда Николаевна каждый день заставляла его задумчивым.

Он решительно изменился, да и все в доме изменились. Старики были скучны и даже как будто сразу постарели. Прежняя тихая и спокойная жизнь с каждым днем невосвратно исчезала.



## XIV. ТЕ ЖЕ ТРЕВОГИ

Борис Сергеевич, засидевшись в Москве, уже давно покончил свои дела и спешил в Петербург.

Он знал, что встретит там Николая, который известил его о своем неожиданном, «по делам», как писал он, отъезде из Горбатовского и о том, что у них в петербургском доме все приготовлено для встречи дорогого гостя.

Получил Борис Сергеевич также два письма от Наташи. Это были большие, в два и три листа, письма, мелко исписанные ее красивым почерком.

Она описывала подробно все внешние происшествия их деревенской жизни во время отсутствия дяди. Описывала, в несколько комическом виде, собиравшихся у них гостей-соседей. Прерывала эти описания какими-то туманными, отвлеченными суждениями, которые всякому показались бы странными. Но Борис Сергеевич ясно понимал все мысли своего нового друга.

Прочитав эти два письма, он увидел всю внутреннюю жизнь Наташи, все ее чувства. Она вскользь упомянула об отъезде Николая, и потом о нем не было ни слова. Но одна эта коротенькая фраза и это молчание рассказывали Борису Сергеевичу все, что произошло там без него, в Горбатовском.

Он печально задумался над этими письмами, и перед ним вставал неотвязно вопрос — что же будет дальше? Чем разрешится эта тяжелая судьба? А ведь она должна же разрешиться. Все это началось не теперь, а готовилось давно, росло невидно и неслышно, бессознательно для них обоих, как и всегда готовится и растет большое горе.

«Судьба! — повторял Борис Сергеевич, — та самая судьба, которая и меня вела всю жизнь и складывала эту жизнь так, а не иначе... Что же будет с ними?»

Он понимал и чувствовал, что гроза разразится скоро и не устоять под этой грозой тем, кого он уже искренно полюбил. Он знает заранее, что близка гибель, что удар неминуемый и жестокий висит над милыми ему существами... Он знает то, чего не знают они, потому

что, верно, им кажется, что многое еще в их власти!.. А в их власти что? Ничего!..

Он все это знает — и нечем ему помочь им. Он видит две разбитые жизни, да и две ли только?!

Вот он живет, наконец, сердцем. Он, так долго бывший одиноким на свете и так тяготившийся своим одиночеством, своим бездействием, живет и действует. У него есть близкие ему люди. Их интересы делаются его интересами — а разве жизнь его стала от этого краше?.. Мелькнуло что-то светлое и угасло.

Он готов им всем отдать остатки своей жизни, отдать все, что только есть у него, но, видно, никому ничего этого не нужно. Он снова ожил только для того, чтобы убедиться, что жизнь — страдание.

Он делает большое дело — освобождает тысячи душ крестьян, заботится о дальнейшем их устройстве. Это дело справедливости, это осуществление старой мечты!..

Но нет-нет да и являются у него смущающие мысли. Вспоминаются ему слова Николая, а затем и верного слуги Степана, который перед отъездом его из Горбатовского, узнав, наконец, о том, что такое задумал барин, покачал головою и промолвил:

— Неладно это, сударь Борис Сергеевич, правое слово, неладно... Вот оно что значит отвычка — небось, кабы мы не прожили всю жизнь в Сибири, так и жалости у вас к вашим людям было бы больше, не стали бы гнать их от себя.

— Что ты такое, бредишь, Степан? Как от себя гнать?..

— А так-таки и гнать! — упрямо повторил Степан. — За вами им хорошо и тепло, как у Господа за пазухой, а отпустите вы их на волю на эту — и неведомо еще, что из этого выйдет! Может, кому и, точно, впрок пойдет, да не многим, а что многие пропадут — это верно...

— Ну, закаркала старая ворона! — промолвил Борис Сергеевич.

— То-то, старая ворона!..

И Степан с ворчанием ушел.

Но как бы то ни было, затеянное дело приближалось к благополучному окончанию.

Уладилось и другое дело, за которым, главным образом, и приехал Борис Сергеевич в Москву — исполнил он завет брата, отыскал нового племянника. Он ознакомился с этим племянником, признал в нем хорошего человека, открыл ему свое сердце, готов был оказать ему

всяческую помощь. Но и тут помощи пока никакой, очевидно, не требовалось: Михаил Иванович в нем не нуждался, и он ясно видел это. Да и Капитолина Ивановна провожала его из Москвы такими словами:

— Ну, что же, государь мой, добились вы своего, так рады, что ли? Может, вы и рады, только взгляните-ка на Мишеньку — просто не узнать его за это время — хмурый, осунулся. А уж со стариками его что делается — смотреть тошно!.. Еще спасибо вам, что не заупрямились — туда не пожаловали... Поглядим, что дальше будет, думается так, что хорошего-то мало. Тихо жили люди, на жизнь не жаловались, а теперь вот из колеи выбиты, совсем выбиты!..

Борис Сергеевич не мог не согласиться, что она, пожалуй, и права. И мог он только успокоить себя тем, что ведь не знал он, как найдет этого племянника, и думал найти его иначе. Он сваливал всю вину на Прыгунова, но от этого ему не становилось легче...

В Петербурге Борис Сергеевич не намерен был засиживаться. Он повидался кое с кем из влиятельных лиц, принявших его с холодной любезностью. Он узнал, что решение его отпустить на волю всех своих крестьян «очень понравилось», ему было даже передано «удовольствие».

Он не узнавал Петербурга и по некоторым сделанным наблюдениям убедился, что Николай был прав.

Николая он застал таким мрачным, таким раздражительным. Не будь первого впечатления, встретить он его таким, каким он был теперь, он бы только укрепился в своих предвзятых мыслях и чувствах. Но он видел Николая другим, отдал ему уже свое сердце и мог теперь только скорбеть.

Николай, действительно, начинал переживать мучительное время, в сравнении с которым годы тоски и недовольства жизнью казались ему почти блаженными годами. Он приехал из Горбатовского совсем как в тумане, но решился бороться с собою и внутренне был возмущен той слабостью, которую в себе чувствовал.

Он хотел забыть, уничтожить в себе все то, что так неожиданно, как ему казалось, выросло, прорвалось наружу и подавил его...

«Когда же это могло случиться?.. И как оно могло случиться?.. И как я смел допустить это?!» — пытался он разбирать себя, и судить, и осуждать, но тут же и чувствовал всю нелепость, всю фальшь таких

суждений и самоосуждений, и чувствовал, что вовсе не «вдруг», а уже давно-давно, с первой встречи, с первой минуты он любил Наташу.

Любил, когда увидел ее как невесту брата, любил, когда глядел, как она обходила вокруг аналая с Сергеем, любил, когда она вошла в их дом и когда он беседовал с нею как с сестрой, и глядел на нее как на сестру...

Любил всегда, всегда, ни на минуту не переставая, любил все больше и больше с каждой минутой, жил ею, думал только о том, как бы ее увидеть, или о том, как бы избежать встречи с нею. И избегая встречи, он в то же время жаждал этой встречи и ждал чутко, всем существом своим, чтобы она первая пришла к нему. Если она приходила — он встречал ее резко, почти враждебно, а сам замирал от блаженства и муки. Если она не приходила — он не выдерживал и сам шел к ней, еще более резкий, еще более враждебный, равно готовый и оскорбить ее, и безумно упасть перед нею на колени.

И все это было так, потому что иначе не могло быть, только все это делалось и росло бессознательно, он жил, и двигался, и действовал, как во сне, а теперь... теперь все вспоминал и понимал...

После этого страшного и блаженного вечера, после встречи в беседке, он бежал, инстинктивно ища спасения в бегстве. Он чувствовал необходимость уйти куда-нибудь, окунуться в тревожную деятельность, которая бы увлекла, помогла забыться.

По возвращении в Петербург он объездил всех бывших в городе и окрестностях знакомых, стал видаться с влиятельными работавшими в то время людьми. Он казался особенно оживленным, говорил много, горячо и увлекательно, развивал свои заветные мысли, которые, как он выразился в своем первом разговоре с дядей, заслужили порицание en haut lieu.

Он уж и прежде, когда хотел того, обращал на себя внимание. Теперь же, в этом исключительном, лихорадочном состоянии духа, он производил почти магнетическое действие, получал решительное влияние. С каждым днем разрастался кружок, невольно признававший его своим центром. Люди одних с ним взглядов, но до последнего времени не решавшиеся высказывать этих взглядов из боязни прослыть отсталыми, из уверенности в своем одиночестве, теперь, найдя в нем поддержку и увидя, что они вовсе не одиноки, заговорили.

Кружок креп и получил влияние. Началась борьба. Новейшие дельцы, жаждавшие увидеть Европу и творить блестящие страницы истории, силились представить кружок Николая чуть что не врагами Отечества и, уж во всяком случае, крепостниками и ретроgrадами. Но настоящие крепостники и ретроgrады, в свою очередь, были недовольны кружком, ибо Николай и его единомышленники были вовсе не за старый строй и порядок. Они находили, что надо работать и строить — только осмотрительно, не наспех, не напоказ Европе, а прочно и своевременно.

Дни Николая проходили быстро в этой закипевшей деятельности. С раннего утра уже можно было видеть экипажи, подъезжавшие к горбатовскому дому. В старой библиотеке то и дело устраивались невзначай как бы даже заседания под председательством молодого хозяина.

Здесь можно было встретить и горячих молодых людей, уже более или менее обративших на себя общее внимание, и престарелых государственных мужей — деятелей прошлого царствования. Но главным образом сюда стремились и легко попадали съехавшиеся в Петербург провинциалы, дворяне-помещики разных губерний, имевшие сказать свое слово, привезшие с собой более или менее значительный запас опытности и наблюдений.

Николай умел сразу разгадывать нового человека, и если он представлял какого-нибудь провинциала своим петербургским влиятельным приятелем, то, наверное, уж этот провинциал оказывался интересным. Многие из заслуженных государственных особ, бывшие до того времени искренно уверенными, что они прекрасно знают и понимают действительное положение России, должны были сознаться, что только тут, в этой старой библиотеке, начинают настоящее знакомство с этим положением.

Здесь шли оживленные, серьезные споры, прочитывались различные записки и заметки. Конечно, не раз увлекались спором, отклонялись от главного предмета, стоявшего на очереди, но Николай всегда умел вовремя позвонить в свой незримый председательский колокольчик, то есть навести спор на надлежащую дорогу. Сам он говорил больше всех, с постоянно возрастающим красноречием, и посетители засиживались в библиотеке, не замечая, как идет время.

Наконец гости разъезжались, и Николая уже дожидался экипаж у подъезда. Он отправлялся куда-нибудь за город, к кому-нибудь на дачу, и всюду приносил с собою свой уверенный тон, свои ясные мысли. Возвращаясь домой вечером, он находил у себя на письменном столе приглашения на следующий день, иной раз быстро карандашом набросанные строчки — известия о том, что получены важные новости. Эти быстро набросанные карандашом строчки были нечто вроде шифрованных депеш — кружок так уже спелся, что люди понимали друг друга в одном слове, в одной букве.

И так шли недели.

Но нередко и в старой библиотеке, и в чьей-нибудь гостиной собеседники Николая взглядывали на него с изумлением, он вдруг среди самого интересного спора останавливался, терялся, замолкал. Его оживленное лицо становилось бледным, блестящие глаза потухали, он начинал отвечать короткими фразами, а иногда даже, очевидно, не слышал того, что ему говорили.

Нередко, возвращаясь домой с островов, из Царского Села или Петергофа, полный только что высказанных мыслей, он чувствовал, как эти мысли обрываются, как всякий интерес к деятельности, в которую он окунулся, пропадает бесследно, и на его место врывается в сердце и в мозг тот мучительный, невыносимый мир мыслей и ощущений, от которого он бежал, с которым боролся и гнал от себя и почти уже думал, что прогнал далеко.

Опять и опять вставали перед ним два женских образа, да два: не одна Наташа, а и Мари. Он начинал теперь все чаще и чаще думать о Мари и тут опять-таки происходило нечто странное и мучительное. Он, сам того не замечая, перестал негодовать на нее, и она уже не казалась ему чужою, как еще недавно. Ему не приходило в голову обвинять ее, а себя оправдывать. Он почувствовал, что она перед ним не виновата, что он не имел никакого права требовать от нее, чтобы она для него переродилась, стала иною, чем создала ее природа. А, главное, главное, какова бы ни была она, он сознал свою нерасторжимую связь с нею, и его всего наполнило чувство жалости к ней, невыносимо мучительное чувство.

Иной раз он бродил по ее пустым комнатам, где все говорило о ней, он взглядывал порою на ее портрет и глядел долго, не отрываясь, будто впервые видел это красивое, спокойное лицо. Ему казалось, что

он читает немой упрек в ее глазах. Тоскливая жалость душила его. Если б Мари очутилась теперь перед ним, он бы бросился к ней на грудь и рыдал бы, рыдал бы...

Но вот будто голос какой-то, где-то там глубоко в сердце, произносил заветное имя: «Наташа!» — и ему становилось просто страшно от огня всего его охватывавшей страсти. Тут уже не было жалости, тут была роковая, неумолимая сила, таившаяся всю жизнь, без исхода, без пищи и теперь порвавшая свои оковы.

Он негодовал на себя, почти презирал себя, кидался к своему рабочему столу, начинал писать, заставлял работать мозг. Но среди работы ему слышался то тихий голос Наташи, то шорох ее платья.

И он безнадежно хватался за свою горящую голову.

Борис Сергеевич видел и понимал борьбу, происходившую в Николае. В своих беседах он не позволил себе ни одного намека и только всячески старался убедить его, что хандрить и тяготиться жизнью в его годы не следует, что в жизни, во всяком случае, много дела, много большой работы, в которой можно забыться и найти успокоение.

— Нет, тяжело жить, дядя! — мрачно отвечал ему Николай. — Конечно, вы правы — есть и дело, есть и работа, и я работаю... Да вы не смотрите на меня, что я такой, — вдруг спохватывался он. — Это я, может быть, клевету и на жизнь, и на себя... характер такой глупый, нервы, что ли... Я с жизнью должен справиться... и справлюсь...

Как-то Борис Сергеевич сказал ему:

— Вот постой, я попытаюсь занять тебя Азией. Теперь некогда, надо спешить в Горбатовское, а вернемся сюда осенью, я тебе сообщу многое такое, что наверно тебя заинтересует... Потерпи до осени.

— Ох, уж эта осень! — невольно выговорил Николай. По лицу его пробежало тоскливое выражение, и он переменял разговор...

В Горбатовском Бориса Сергеевича ждало немного радостей. Наташа была, пожалуй, еще плоше Николая. Она, очевидно, ломала себя всячески, ни на что не жаловалась, казалась спокойной, но побледнела и похудела. И по временам старик замечал такой странный, почти безумный взгляд ее глаз, что ему становилось за нее страшно. С нею он бы заговорил, но она пуще всего боялась этих разговоров и не допускала их.

Сергей теперь иногда по несколько дней не бывал дома. Он уезжал на ярмарку, потом отправлялся на охоту. И Борис Сергеевич не мог не заметить, что только во время его отсутствия Наташа хоть несколько спокойнее дышала.

Мари, по-видимому, была та же. Она, как и всегда, показывалась редко, почти все дни проводила у себя, только Борис Сергеевич заметил, что она часто призывает к себе своего мальчика и подолгу остается с ним, чего прежде не бывало.

Ко всему этому Катерина Михайловна постаралась отравить последние спокойные минуты. Известие о том, что Борис Сергеевич отпускает на волю своих крестьян, поразило ее и довело до бешенства. Она не решалась, конечно, высказать этого бешенства, но настроение ее духа становилось невыносимым. Она придиралась к каждому слову, она преследовала решительно всех.

Атмосфера Горбатовского сделалась совсем душной.

Наконец Борису Сергеевичу был приготовлен последний сюрприз. Как-то поздно вечером, это было уже в августе, ему не спалось, и он вышел в парк. Ночь была тихая и темная, только сквозь чащу деревьев мигали бесчисленные звезды. В аллеях было совсем темно.

Борис Сергеевич набрел на скамью, сел и задумался. Мало-помалу эта ночь — предвестница осени, навеяла на него свою таинственную тишину, подняла в нем то тихое и грустное чувство, которое заставляет человека не то наяву, не то в полусне прислушиваться к дыханию заснувшей природы, слышать в этом дыхании с каждой минутой все яснее и яснее звуки и почти даже понимать смысл и значение их.

Но на этот раз Борису Сергеевичу не удалось побеседовать с природой. Он был освобожден от чар ее новыми, совсем земными звуками. Он слышал шаги, тихие голоса, слышал звук поцелуя.

Мимо него в темной аллее, не замечая его присутствия, медленно проскользнули две тени — и он узнал в них Сергея и хорошенькую Лили...



## XV. МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЮ

Скучно и однообразно прошел конец лета в Горбатовском. Только дети веселились. Да и то не все. Володя часто по целым часам ходил мрачный и задумчивый, скрестив на груди руки и опустив голову. Его бледное, нежное личико выражало большую грусть. Ему казалось с некоторого времени, что все изменилось и стало не таким, каким было прежде. Пожар Знаменского произвел эту перемену, вместе со старым домом сгорела вся прежняя жизнь.

Маленькая преступница Груня не выходила из головы мальчика. Он узнал от бабушки, что она в Москве и поручена добрым людям, что она была больна, но ее вылечили и скоро отдадут учиться в пансион.

«Значит, Груня не будет простой горничной, ею уже никто не посмеет помыкать, бить ее и мучить... Дедушка сказал, что он устроит всю ее жизнь, и, конечно, он хорошо устроит, потому что он такой добрый...»

Только Володе теперь более чем когда-либо недоставало его маленькой приятельницы, ему иногда так хотелось ее увидеть, поговорить с нею, хорошенько расспросить ее, как это могло с ней случиться такое ужасное, как могло прийти ей в голову... Хотелось ему понять все это, да так хотелось, что иной раз, высвободясь из-под надзора и бродя в парке, он начинал громко говорить с Груней и ждал, что она вот-вот появится. Ему казалось иногда, что он уже как будто даже слышит ее голос, чувствует ее присутствие. Миг — и раздвинутся ветки... покажется черноволосая головка...

Но Груня не являлась...

Да и не одна Груня его мучила. Пуще Груни мучила его мама Наташа. Она совсем теперь изменилась — такая же добрая и ласковая, так же крепко целует его, но она, верно, больна. Он хорошо замечал, как она похудела, он инстинктивно следил за нею и видел даже то, чего никто не видел. Он знал, что она часто плачет и скрывает от всех свои слезы. Долго не решался он ее спросить, о чем она плачет, наконец, решился.

Она испугалась, стала уверять его, что совсем здорова, что ей весело — и засмеялась. Но это был такой нехороший смех, и он ему не

поверил.

Он все больше и больше начинал думать о том, что же такое с мамой Наташей? Она, конечно, больна... отчего же никто не замечает ее болезни? Ведь если она больна — ей надо лечиться... доктора ее вылечат, и она будет такая же, как прежде.

Пуще всего его изумляло, как это отец ничего не замечает. Ведь если бы он замечал, он бы встревожился, испугался, он не оставил бы так маму и уж, конечно, был бы всегда с нею. А он теперь все реже и реже дома, уезжает куда-то. Значит, ничего не замечает.

Один раз ему даже пришло в голову пойти и поговорить обо всем этом с отцом, но какое-то самим им неосознанное чувство помешало.

Между тем Володя ошибался. Сергей Владимирович, несмотря на все свое легкомыслие и вечно одолевавшую его скуку, несмотря на постоянные отлучки из дому, с некоторого времени тоже стал замечать большую перемену в Наташе и по временам даже очень тревожился этой переменой. Ему казалось, что перемена эта началась с того злополучного дня, когда он признался ей в одной из своих провинностей.

Он чувствовал себя виноватым, и так как мысль эта была ему тяжела, то он и старался отгонять ее от себя.

И никакие сознания своей виновности, никакие тревоги за Наташу не мешали ему довести распущенность до последней степени. Он продолжал домашнюю интригу с Лили. Его каприз к этой миловидной, жеманной и довольно глупенькой девушке поддерживался двумя обстоятельствами. Хоть он и успел уже, одному ему известными чарами, заполнить ее, как и почти всех женщин, на которых обращал внимание, но она все еще не сдавалась окончательно и ускользала у него из рук в ту минуту, когда он думал, что совсем поймал ее. При этом его извращенное, утомленное воображение, его одуряющая скука требовали новых, сильных ощущений — и он находил эти ощущения в самой дерзости своей интриги, в постоянной возможности попасться и в мысли о том отвратительном положении, в котором он окажется, если попадетсЯ...

Наконец, как-то войдя в спальню, он увидел Наташу такой бледной, с таким грустным и измученным лицом, что остановился как вкопанный. Ему просто стало страшно. Он мигом забыл Лили, как будто ее никогда и не бывало на свете.

Наташа теперь часто сидела одна в спальне, с какой-нибудь книгой, которая, однако, нередко оставалась открытой все на одной и той же странице.

При входе мужа она подняла на него усталые глаза и тотчас же их опустила.

С каждым днем эта общая жизнь, присутствие мужа делались для нее все невыносимее. И она не могла даже решить, что именно ужаснее и мучительнее — тоска ли ее и любовь безумная, любовь к человеку, о котором она не смела думать и о котором тем не менее ежеминутно думала, или близость мужа?

Она теперь дышала свободно только в отсутствие Сергея и радовалась, что эти отсутствия часты, что иной раз по целым дням она его не видит.

Когда он не возвращался ночевать домой, она даже несколько оживлялась. Она рано уходила к себе в спальню, запиралась, и ей казалось, что она одна, одна в целом свете, и что никто и ничто не мешает ей предаваться думам. Но это были почти не думы, это были мучительно сладкие ощущения. Перед нею внезапно и властно вставал образ Николая, ей казалось, что он тут, с нею, что она почти его видит.

Она, как и маленький Володя, начинала громко говорить с ним, и он отвечал ей. И это были длинные, длинные беседы без слов, которых, конечно, не мог бы понять никто, но в которых для нее заключался целый мир...

Однако из этого блаженного волшебного мира ее часто выводил какой-нибудь внешний предмет, попавшийся на глаза, какой-нибудь звук, раздавшийся в ближних комнатах или вне дома. И она словно просыпалась. Милый призрак исчезал, действительность вступала в свои права.

Она старалась рассуждать. Для нее было ясно, что прежняя жизнь, бывшая хотя и не особенно счастливой, но все же нередко дававшая ей довольство — навсегда кончена. Она знала наверное, что в тот страшный час вечером, в беседке, она навсегда простилась с Николаем. Довольно этой преступной слабости, сделавшей то, что вот она так часто теперь сама ненавидит и презирает.

— Нет, ни одного слова теперь такого не будет сказано ею наедине с Николаем, и ведь сам он не захочет ее мучить. Все сказано, все решено, все кончено!..

Но теперь она чувствовала и понимала все яснее с каждым днем, что если и может победить свою слабость, то не может, не смеет, не должна, да, не должна выносить дольше этих неестественных, обманных отношений к мужу. И еще больше, чем за ту минуту в беседе, она презирала себя за то, что до сих пор тянет это невыносимое положение. Уже несколько раз она порывалась начать — и не хватало сил. Она и теперь безнадежно взглянула на него, в то же время проклиная себя и внутренне желая всем существом своим, чтобы он скорее ушел и оставил ее одну.

Но он не уходил. Он, как-то неловко и опустив глаза, присел в кресло перед нею и молчал.

— Что тебе, Сергей? — наконец прошептала она.

— А то, Наташа, что я больше не могу этого видеть!.. — почти крикнул он. — Ты на себя не похожа!.. Ты больна...

Он взял ее руки, но она отстранилась от него и неудержимо зарыдала. Он совсем перепугался.

— Наташа!.. Наташа!.. — шептал он. — Да успокойся же! Господи, что с тобою?! Ах, это я все наделал... Ах, я несчастный...

Он сам готов был плакать.

— Наташа, да не стою я этого — разлюби меня, я не стою...

Он не знал, что говорить. Она вдруг остановила рыдания и с искаженным лицом проговорила:

— Оставь меня... умоляю тебя, оставь меня совсем, совсем...

Она снова зарыдала и, ломая руки, в приливе безнадежности, то хватаясь за него, то отстраняя его, говорила:

— Оставь меня... мы не можем быть вместе... я не могу любить тебя, как жена должна любить мужа...

Он пугался все больше и больше. Ему начинало казаться, что Наташа сходит с ума.

— Успокойся, — твердил он, — ты сама не знаешь, что говоришь... Ради Бога, забудь все и прости меня... Клянусь тебе... никогда больше не будет дурного... Ну хорошо... сделаем вот что: уедем, уедем куда-нибудь вдвоем за границу...

Пытка Наташи росла. Ей надо было сказать ему все, и в то же время она чувствовала, что не в силах сделать этого... Как она скажет? Как произнесет дорогое, страшное имя... Нет, она не может, не может!..

— Отпусти меня... Я уеду к дяде Ивану Петровичу в Москву...  
Отпусти меня! — ухватилась она за мелькнувшую мысль.

— Зачем?.. Ведь я же говорю... уедем за границу...

— Боже мой! — воскликнула она, заломив руки. — Совсем не то... я не могу, отпусти, оставь меня!

Он замолчал, отстранился и взглянул на нее странно блеснувшими глазами.

— Не то!.. Значит... может быть, ты любишь кого-нибудь?

В его голосе что-то как будто оборвалось.

Наташа молчала, опустив голову.

Он глядел на нее сначала с изумлением, он ждал ее ответа. Но она молчит, молчит...

Он то краснел, то бледнел. Он схватил ее холодную руку. Она ее вырвала и зарыдала.

— О, Боже мой!.. — слышал он сквозь ее рыдания.

Он простоял несколько мгновений неподвижно, не говоря ни слова и только продолжая глядеть на нее широко раскрытыми глазами. Потом схватился за голову и выбежал из спальни.

## XVI. СУДЬЯ

Еще ни разу в жизни не находился Сергей в таком положении, еще ни разу в жизни у него не было так смутно и так мучительно на душе. Он знал, что такое значит горе. После смерти первой жены он испытал его. Но ведь это было ясное, определенное горе — умерла жена, близкая женщина, с которой он провел несколько лет. Он к ней привык. Ему очень часто, особенно после кутежа и утомительных приключений, бывало с нею хорошо и тихо...

Он никогда не думал, что лишится ее, что останется один, что не будет уже вокруг него всей этой привычной, душистой атмосферы кокетливой и хорошенькой женщины. Она умерла так внезапно, так быстро. Он был поражен и, естественно, страдал, плакал и метался.

Но затем с каждым днем горе забывалось и скоро от него не осталось и следа в сердце Сергея. Иной раз вспоминалось об этой утрате, маленькая какая-нибудь сцена из прошлого наводила мгновенно как будто бы облачко грусти, но это облачко тотчас же пропадало.

«Охо-хо! Грехи наши тяжкие!..» — скажет, бывало, Сергей и этим любимым своим восклицанием покончит и с тоской, и с воспоминаниями...

Тут же совсем не то — никто не умер. А тоска так и давит, и на душе так скверно, скверно, что хоть иди да и топись!..

Он никогда в жизни не думал о нравственных вопросах, о морали. Никто ни в детстве, ни потом не заставлял его задумываться над такими вопросами; никакая, наконец, книга не остановила на них его мысли уже потому, что никогда он и не читал книг.

Правда, у него была одна книга, составлявшая исключение, эту книгу он любил, постоянно имел при себе и давным-давно выучил ее наизусть. Это было «Горе от ума». Почему он так любил эту книгу — он и сам не знал, но нередко в минуты скуки декламировал грибоедовские строки, и это, очевидно, доставляло ему удовольствие. Ему просто нравились эти звуки, эти рифмы, эти словечки. Но он даже никогда не задумывался над смыслом «Горя от ума», над выведенными в нем лицами...

...Как поглядишь, да посравнишь...  
Век нынешний, и век минувший...

с глубокомысленным видом декламирует он, хотя слова эти не имеют никакого отношения к его мыслям, они просто приходят невольно на ум, и только...

Когда перед Сергеем передавали различные скандалы и сплетни, судили и рядили о делах ближних, кричали о безнравственности такого-то или такой-то, он никогда не принимал участия в подобных разговорах, и если уже непременно должен был сказать что-нибудь, то говорил:

«Какое же кому до этого дело? И чего судить — ведь никому ни жарко, ни холодно от этого суда!.. Так ли оно было? А если и так — почему же это безнравственно?.. Просто так вышло!..»

Он пожимал плечами, ему становилось скучно, и он уходил от этих перетолков и пересудов. Сам он никогда никого не осуждал. Люди у него делились на тех, с которыми скучно, и тех, с которыми не скучно. Были еще близкие — брат, дети, наконец, в последние годы, Наташа. С ними не было ни скучно, ни весело, а хорошо. Хорошо, да и то не всегда, с детьми, например, было всегда хорошо, когда они только не слишком приставали. Но с Наташей иногда делалось жутко, с нею нельзя было быть совсем нараспашку, не стесняясь, точно так же и с братом Николаем.

При этом Сергей иной раз заставлял себя на том, что он почему-то очень жалеет и Наташу, и брата. Иногда это чувство жалости становилось настолько сильно, что он замечал его, он всегда очень изумлялся — чего же их жалеть? Но он все же жалел их.

И вот теперь, вырвавшись из спальни и очутившись у себя, на своей любимой кушетке, он среди поднявшейся в нем бури, думая о жене, о том, что сейчас произошло, невольно думал и о брате. Он вдруг заметил, что и прежде всегда думал о них вместе. Он только теперь в первый раз почти совсем ясно понимал свои отношения к брату и к жене.

Они особенные люди. Они совсем, совсем не такие оба, как он. Перед ним мелькнули некоторые минуты его семейной жизни... Наташа, прекрасная, ласковая, но холодная, какая-то далекая, как будто

чужая... Ему стало ясно, что она делалась для него ближе, понятнее и роднее только тогда, когда он глядел на нее не как на жену, а как на друга... Ему припоминались вся его скука, все глупости, которые он делал со времени своей второй женитьбы...

Ему представился брат, и он поразился, как это до сих пор не замечал, что Николай и Наташа так подходят друг к другу, что если их трудно понять, так они-то уж, наверно, должны хорошо понимать друг друга.

Он вдруг вздрогнул всем телом, и кровь ударила ему в голову:

«Значит, что же? Значит, она... его, его любит?»

И ему стало ясно, что они, встретясь и сблизившись, должны были непременно так кончить, что иначе не могло быть. Он вспомнил первое время женитьбы брата, эти смешные уроки с Мари, ее жалобы, его уныние. До сих пор он никогда не вглядывался в братнину семейную жизнь, а теперь ему вспомнились многие сцены, многие обстоятельства — и он ясно понял, что брат никогда не был счастлив с женою.

«Проклятая, проклятая судьба!» — почти громко крикнул он. — Но что же теперь делать? Что же такое будет? Как же Мари? Что если она узнает? А вдруг она уже знает? Ведь вот же Наташа почти сама сказала мне, может быть, и он сказал уже ей... Вот почему он уехал. Но ведь мы опять через две, три недели будем вместе. Ну, что же?.. Ну, уезжать или им, или нам — все равно это ни к чему не приведет... Ведь вот она уже теперь так истомилась...

Тут он представил ее себе такую, какой видел за несколько минут перед тем в спальне, потрясенной, плачущей, трепещущей. И новое, мучительное, ядовитое чувство охватило его. Никогда еще, ни разу в жизни не испытывал он ничего подобного. Наташа вдруг представилась ему как бы в новом свете, он как будто только теперь понял всю ее женственную прелесть, все, чего до сих пор не замечал в ней или, вернее, чему не придавал значения, на что глядел иными глазами. Наташа, чистая, возвышенная, почти всегда сдержанная, казавшаяся ему даже холодной, была от него далека. Он не мог до нее возвыситься, а она не могла снизойти к нему — и они не понимали друг друга. Она, как прекрасная статуя или картина, иногда заставляла его любоваться собою, но не возбуждала в нем горячей страсти. Теперь же это не она, не прежняя Наташа! Картина вышла из рамы, статуя



сошла с пьедестала и превратилась в живую, слабую женщину, в такую, каких он понимал, каких он знал, какие возбуждали и могли возбудить в нем страсть. Она не святая, не недоступная, она сама поддалась страсти, показала свою слабость. И на этом далеком от него солнце оказались пятна, да и еще какие!..

Наташа, его жена, нарушила долг свой! Если бы еще недавно, еще вчера кто-нибудь сказал ему, что это возможно — он не поверил бы и засмеялся. Она — и нарушение долга!.. Она — и любит другого!.. Это было несовместимо, это была нелепость... Но теперь он не мог сомневаться...

В нем сразу поднялось неизведанное им чувство ревности и вместе с этим так же быстро и внезапно поднялась страсть к этой новой Наташе, земной, слабой и ему понятной. Когда она представлялась ему его достоянием, его собственностью, которая никуда и никогда не уйдет от него, он сознавал всю ценность этой собственности, но она ему была как-то не нужна, нечего было дорожить ею, беречь, охранять — и так не уйдет. А теперь она ускользает, он теряет ее...

И вот она стала соблазнять его, как никогда еще не соблазняла ни одна женщина. И он, в порыве своего нового чувства, нашел в себе даже такие мысли, о каких не имел до сих пор понятия.

«Как же она смеет! — говорил он себе. — Ведь она моя жена... Моя!.. Я не отдам ее... Она должна... Должна любить меня и никого больше... А он-то, этот любимый брат!.. Какая измена!.. Но ведь я не отдам ее... Не отдам... Она должна, должна любить меня!..»

Страсть и ревность охватывали его все сильнее и сильнее. Кажется, если бы Николай очутился тут, перед ним, он бы задушил его своими могучими руками. Он Николая ставил так же высоко, как и Наташу, теперь Николай, так же как и она, упал на землю. Но если земная Наташа возбуждала в нем страсть — Николай сделался ему противен.

В то же время ему безумно захотелось услышать из уст Наташи окончательное признание. Почти себя не помня, он кинулся опять в спальню, распахнул дверь — и остановился.

Наташа без движения лежала на постели, вокруг нее хлопотали горничные, тут же находился совсем встревоженный Борис Сергеевич

с какой-то склянкой в руках. Сергей стоял не шевелясь, бессмысленно глядя на все, что вокруг него делалось.

Прошло несколько мгновений. Наташа наконец глубоко вздохнула, открыла глаза, что-то прошептала. Борис Сергеевич подошел к Сергею и тихо сказал ему:

— Ее надо теперь оставить... Прошу тебя — уйди, и я сейчас приду к тебе...

Сергей, сам не понимая, что с ним делается, молча и послушно вышел из спальни.

Через несколько минут Борис Сергеевич вошел в кабинет племянника. Между тем порыв бешенства и страсти успел уж как-то застыть в сердце Сергея. Этот неожиданный, никогда не изведанный порыв сразу утомил его, и теперь оставалась только глухая тоска и тяжелое бездумье. Все как-то заволокло туманом, и Сергей только время от времени машинально повторял себе:

«Что же такое будет?!»

— Что она? Что с нею? — выговорил он, поднимая глаза на входившего дядю.

Борис Сергеевич был бледен и сильно взволнован. Он тяжело опустился в кресло, не зная, как заговорить и о чем говорить.

— Я случайно вошел к Наташе и застал ее в ужасном положении, почти в истерическом припадке, да ведь ты ее так и оставил. Ну, а потом она потеряла сознание.

— Она вам ничего не сказала?

— Я знаю, что вы объяснились... — чувствуя крайнюю тяжесть, проговорил Борис Сергеевич. — Ах, да что тут, я давно уже все понимаю.

— Давно?.. И вы молчали! — воскликнул Сергей.

Старик печально пожал плечами.

— Что же было говорить? Теперь вот, как это ни невыносимо, а я должен спросить тебя: что ты намерен делать?

У Сергея снова кровь бросилась в голову.

— Так вы знаете, что она, эта женщина, которую все считали святою... меня опозорила? — глухим голосом прошептал он.

Борис Сергеевич вздрогнул, глаза его блеснули.

— Остановись! — перебил он. — Я не судья между вами, но если ты уж так говоришь, то я спрошу тебя, а ты-то разве был ей годным

мужем? Ты ее не позорил? Не позоришь ее и теперь ежечасно с этой Лили?..

Сергей опустил голову и молчал. —

— Но нет, говорить не о чем... не о чем!.. — продолжал Борис Сергеевич. — В таких делах нельзя говорить, нельзя осуждать... Это несчастье, страшное несчастье... Мне жаль и ее, и тебя, и всех... Но помочь тут никто не может. Скажи мне одно, что ты намерен делать?

Сергей поднял на него затуманившиеся, ничего не выражавшие глаза и мрачно выговорил:

— Ничего! Я не знаю, что буду делать, и прошу вас об одном: никогда не касайтесь этого.

Он опустил голову, закрыл руками лицо, и Борис Сергеевич ничего больше не мог от него добиться.

## XVII. МАРИ

Мало-помалу приближалось время переезда семьи Горбатовых в Петербург. Дни шли за днями, и в огромном доме все имело вид полного благополучия. Разразившаяся и бывшая в полном разгаре гроза оставалась незримой для постороннего взгляда. Даже Наташа, после объяснения с мужем и после своего обморока, не разболелась, напротив, она теперь как бы набралась сил, совсем совладала с собою, казалась спокойной, и Володя уже не заставлял маму Наташу с красными от слез глазами. Она не избегала его, искала даже встреч со своим милым, умным и странным мальчиком. Она более чем когда-либо стала интересоваться и остальными детьми, их занятиями, присутствовала в классной при уроках француза, англичанки и Лили.

С Борисом Сергеевичем она встречалась часто и беседовала подолгу. Но ни разу ни она, ни он даже и близко не подходили в своих разговорах к тяжелой теме.

Сергея почти не было видно в доме, а, возвращаясь, он избегал встреч с женой и разговоров с нею. Когда же неизбежно приходилось сталкиваться, говорил сдержанно и не глядя на нее.

Она его не узнавала. Он был как-то совсем другим человеком. Что он думал, что решил — она не знала и старалась не задумываться над этим, вообще старалась как можно меньше думать. Ее сердце ныло, ныло — и только. Но эти мучительные столкновения с мужем для нее были все же менее мучительны, чем столкновения с Мари, которая между тем, по-видимому, нисколько ее не избегала. Она только, как казалось Наташе, глядела на нее по-новому, пристальным, будто испытующим, но не гневным, а, скорее, грустным взглядом.

Сергей, очевидно, искал и находил себе развлечения вне дома, Наташа имела поддержку в горячей привязанности Бориса Сергеевича, Катерина Михайловна ни в ком не нуждалась, а Мари была совсем одинока. Между тем за это время она пережила многое, быть может, даже пережила больше и глубже, чем другие. В ее внутреннем мире произошла нежданная и полная перемена, хотя она ее и не сознавала. Она давно отгадала своим женским чутьем роковую для нее тайну, долго сомневалась и колебалась, сама себе не верила, старалась

отгонять от себя навязчивые и страшные мысли. Но когда наконец окончательно убедилась, то вдруг будто проснулась ото сна, будто вся переродилась.

До последнего времени, как мы уже знаем, Мари удовлетворялась апатичной, полусонной жизнью, вызываемой ее темпераментом, ее ленивым, никогда еще как следует не пробужденным умом. Она ничего не желала и не искала, находя, что все у нее есть. Правда, не было счастья, наслаждения жизнью, но она давно знала или, по крайней мере, уверяла себя, что такого счастья, такого наслаждения не бывает, что оно приходит только в юности, на короткое время, а затем начинаются будни. Но ведь и будни — недурная вещь, и она была ими довольна. Она никогда себя не анализировала и вообще о себе не думала и не знала, что в ней таится. Если бы ее спросили: любит ли она и как любит своего мужа — она ответила бы, что любит, как только может любить, и удивилась бы такому вопросу.

Она не вглядывалась в него, не изучала его и давно уже позабыла прежние странные его требования, смешные уроки и тому подобное. Это были юные фантазии — и только. Теперь же юность прошла, наступил благоразумный, зрелый возраст. Конечно, он сам если и вспоминает свои прежние фантазии, то смеется над ними. Она даже не замечала, как мало-помалу, уже в течение нескольких лет, между ними разорвалась внутренняя связь. Если он был недоволен ею, то она была им довольна, она считала его лучшим человеком и никогда, даже во сне, не вздумала предпочесть ему кого-либо. А мысль, что он полюбит другую, что этот установившийся, спокойный и будничный строй жизни может нарушиться, никогда не приходила ей в голову. И вот все это перевернулось, налетела гроза. Мари замкнулась в себе, и в первый раз у нее открылись глаза на многие вещи, в первый раз она стала себя анализировать, и себя и его. Только теперь она с ужасом заметила, как много изменилась с первого года их семейная жизнь, только теперь она поняла иногда прорывавшиеся у него фразы. Его раздражение, его холодность — все это она приписывала настроению духа, дурному характеру, нервности. Теперь она видела, что это было совсем другое. Она пробовала было обсуждать — кто же виноват, но не могла этого. Чего тут решать — несчастье разразилось, и ничем не поможешь! Это несчастье разбудило ее душу, ее сердце и, сама того не замечая, она была уже не прежняя Мари. Она была способна теперь любить

Николая так, как он желал когда-то. Она чувствовала вместе с тем бесконечный прилив нежности к своему мальчику, одним словом, она уже не спала, а жила. Зачем только эта жизнь началась так поздно, когда может дать только одни страдания...

Но тут сказалось в ней то, чего трудно было ожидать. Поняв свое несчастье, она не вознегодовала, не озлобилась, она только почувствовала себя страшно одинокой и беспомощной, ей захотелось чьего-либо участия. Но кругом нее не было никого. Вместе с этой беспомощностью, с этой одинокостью в ней пробудилось и другое чувство. Это чувство было то самолюбие, которое не позволяет человеку унижаться, которое заставляет его держать высоко голову, скрывать ото всех свою боль, свои раны. И Мари тут показала всю свою неведомо откуда взявшуюся большую силу. Она держала себя с таким тактом, с таким достоинством и даже кротостью, что никто не мог бы заподозрить ее гнетущей тоски, ее тяжелого горя. Никто не знал, что, оставаясь одна, в ночной тишине, она уже не спала прежним безмятежным сном. Теперь нередко сон этот прерывался, и в уединении спальни лились тихие слезы.

Она терпеливо дожидалась переезда в Петербург. Перед нею не было никакой надежды, но в Петербурге находилось таинственное близкое ей существо, которому она могла поверить свое горе.

Наконец день отъезда наступил. К огромному крыльцу дома стали подъезжать великолепные новые ковчеги, то есть гигантские кареты, запряженные шестерками, кареты, в которых можно было не только обедать, пить чай, играть в карты, но и спать самым удобным образом. Да так обыкновенно и делалось: на ночь эти кареты превращались в кровать.

Вся семья разместилась. Дети торжествовали. Эти долгие переезды, со всеми дорожными маленькими приключениями, со сменой впечатлений, были для них настоящим праздником и долго потом вспоминались как волшебные сны.

И особенно дороги были эти переезды Володе. Горячее воображение его работало неустанно, нервная впечатлительность все воспринимала с удвоенной силой. Он жил во время этих переездов лихорадочной жизнью.

Вот Горбатовы в Петербурге.

Мари, хоть и очень утомленная дорогой, даже не захотела отдыхать. Она обыкновенно после такого переезда отдыхала несколько дней и долго жаловалась на усталость.

Теперь же она, ни на что не обращая внимания, не прикоснувшись к своим вещам, приказала заложить экипаж и поехала к тетке своей, старой графине Натасовой.

Старушка Натасова жила на Сергиевской, в своем небольшом, но прекрасно, совсем по-старинному устроенном доме. Она вела все ту же однообразную, привычную ей жизнь, посещала знакомых, показывалась украшенная старинными бриллиантами на официальных балах и раутах, принимала у себя раз в неделю избранный кружок, одним словом, поддерживала старые связи и отношения. Влияния в обществе она не имела, но петербургский «beau monde» признавал ее «своею» по всем правам и никогда не отказывал ей в знаках внешнего почтения.

Это была приятная старушка, образец благообразия и благопристойности. Она держала себя с большим тактом, не позволяла себе лишнего слова, была большого мнения о своем уме и о своих нравственных качествах. Не выйдя замуж и испытав в молодости безнадежную любовь, она мало-помалу примирилась со своим положением старой девы и носила его с достоинством.

Племянницу свою Мари она искренно любила и считала ее счастье делом рук своих, а что Мари была счастлива — в этом она не сомневалась. Она видела ее окруженною блеском и роскошью, при этом у нее красивый, умный муж, носящий знаменитое имя. Положим, он не делает особенной карьеры, но он еще молод, неизвестно чем еще кончит, да и, наконец, не всем же быть министрами и посланниками... Гриша здоровый, хорошенький мальчик. Этот Гриша ее крестник и будет ее наследником. Сама Мари такая полная, такая здоровая, никогда ни на что не жалуется, с нею ласкова по-прежнему — какого же еще счастья надо!..

И вдруг Мари явилась перед нею с утомленным видом, побледневшая, как-то особенно порывисто, необычно бросилась к ней в объятия и заплакала.

Мари плачет! Это недаром, она не из слезливых! Не от радости же свидания плачет, прежде и на более долгое время расставались, а она никогда ведь не плакала...

Старушка крепко расцеловала племянницу и тревожным тоном стала ее спрашивать, что с нею такое.

— Я к вам, тетя, прямо с дороги, — начала Мари, удерживая слезы. — вот, как видите, и умыться хорошенько не успела, не успела оглядеться... Мужа не видела... его не было дома, когда мы приехали... А между тем он мог бы быть дома, мог бы нас встретить...

— Так ты из-за этого плачешь? — изумленно спросила старушка, — Бог с тобой, точно институтка! Вернись домой и увидишь, что муж тебя дожидается. Мало ли что его могло заставить выехать... какое-нибудь спешное дело по службе...

— Ах, не то, совсем не то!.. — проговорила Мари. — Скажите, тетя, давно вы его видели?

— На днях как-то заезжал...

— И вы ничего не заметили?..

Графиня задумалась.

— Как сказать, ничего особенного...

— Да вы прямо, прямо мне говорите, не скрывайте от меня, сами увидите, как это важно!

— Да, ну вот видишь ли, он мне все время казался каким-то странным, рассеянным, усталый такой... Бог его знает, я даже признаться, и ждала тебя, чтобы поговорить с тобой о нем. Мне кажется, он нездоров...

— Ну вот видите, сами видите!

— Да что я вижу? Я еще ничего не вижу и нечего тебе пугаться. Если нездоров, устал от занятий, так надо ему полечиться, отпуск взять, что ли, проехаться за границу. Скажите, пожалуйста, чего это он так рано из Горбатовского уехал?

— Отчего уехал?! Тетя, я запру двери, мне надо поговорить с вами, только чтобы никто, никто не слышал...

— Кому же тут слышать, да если хочешь, я прикажу никого не принимать...

Она дернула сонетку, отдала приказание явившемуся лакею и потом заперла дверь.

— Ты меня пугаешь, мой ангел, что у вас такое? Ума не могу приложить.

Мари кинулась к ней, охватила ее шею руками и снова заплакала.

— А то, тетя, что я очень, очень несчастна...



У нее снова брызнули слезы, и она не могла продолжать.

— Голубчик мой, да что такое? — повторяла графиня, уже начинавшая не на шутку тревожиться.

— Муж разлюбил меня...

Мари быстро вытерла слезы, сделалась вдруг даже как будто спокойной и тихим, но твердым голосом сказала тетке, в чем дело.

Графиня отшатнулась и широко раскрыла глаза.

— Что ты? Что ты? Христос с тобою! — замахала она руками. — Что ты вздор какой говоришь, как тебе не стыдно, одумайся, Мари, ведь ты благоразумная женщина — не ребенок, не девочка!.. Помилуй, мой ангел, я и слышать-то этого не хочу... как это можно!.. И стыдно! Твой Николай не такой человек. Пригрезилось тебе, да и удивляюсь я, как и пригрезиться-то такое могло!..

Мари печально усмехнулась.

— Вот вы не верите, тетя, да и никто, конечно, не поверит, а это правда, я не фантазирую нисколько, к несчастью моему, и мало того, что он влюблен в Наташу, да и она тоже... И что такое между ними — я не знаю. Но что они, о крайней мере, объяснились — в этом я уверена, уверена... это наверно!..

Графиня прийти в себя не могла, ушам своим не верила.

Не сошла же ведь с ума Мари и совсем не такая она фантазерка, и говорит так уверенно, даже почти спокойно.

— Мари, если это так, так это такой ужас, какой и в бреду горячечном не привидится!.. Ведь это позор... и в какой семье!.. Да и твоя belle-soeur... может ли она быть такою?!

— Ах, тетя, тетя! — прошептала Мари. — Что тут говорить о позоре... тут не позор, а несчастье... и навек... и непоправимо!..

Она безнадежно опустила голову.

Между тем графиня никак не могла в себя прийти и ей все не верилось.

— Ах, как ты меня сразила! Ах, как сразила! Да нет, Мари, голубушка ты моя, что-нибудь, может, такое и мелькнуло, мало ли что бывает, мелькнуло да и пропало... А ты из ревности и, Бог знает, что себе представила!

Мари пожала плечами.

— Не было у меня никогда ревности, и откуда бы она взялась, а уж особенно к ней — к ней!.. Ведь разве я могла себе представить это?

Слушайте, тетя, я вам все, все расскажу — и судите сами.

Она передала ей все свои наблюдения, все свои мысли.

Графиня слушала ее внимательно и в конце концов должна была сознаться, что Мари не фантазирует, что дело, во всяком случае, серьезно.

— Что же теперь ты думаешь делать? Ведь нельзя это допустить! — вдруг сказала она.

Мари взглянула на нее с изумлением.

— Как нельзя допустить?! Тетя, да разве вы не видите, что всему конец... конец.

Голос ее дрогнул.

— Что ты, что ты! — воскликнула, порывисто подымаясь с кресла, старушка. — Как можно!.. Бог даст — все еще поправимо... и хоть, конечно, я вижу теперь, что ты имеешь основание предполагать и страшиться, но это все надо разобрать... Знаешь что, Мари, — решила она наконец, — я приглашу Николая к себе и переговорю с ним. Он до сих пор выказывал мне уважение, и, наконец, надо же нам знать, что он скажет, если говорить с ним решительно, а я буду решительна. Я добьюсь, я заставлю его сказать мне всю правду.

Графиня заволновалась не на шутку, чего с ней обыкновенно не случалось.

— Я не дам тебя в обиду, мой ангел, не дам, будь уверена... нельзя этого... Нет, нет, он не уйдет от меня, не увернется... Боже мой, Боже мой! Считала я его за хорошего человека — и вдруг такое!.. Вот уж правда, что не на кого нынче положиться... Люди-то, люди какие стали!.. Ах ты, Господи!.. Нет, моя дорогая, вот тебе рука моя — я этого так не оставлю...

Мари увидела, что тетка не ограничится словами.

«Но разве можно что-нибудь сделать? Разве что-нибудь осталось? А вдруг?..» — подумала она, и сердце ее сильно забилось.

Она уехала от старушки как будто несколько успокоенная. Она высказалась, нашла участие, и при этом у нее мелькнула надежда. Она с детства привыкла считать тетку существом самым что ни на есть умным и могущественным.

«Что она захочет, то и сделает! Всегда так бывало», — обыкновенно говорила она про графиню.

Эта детская вера вернулась теперь, и Мари за нее ухватилась как за последнее спасение.

## XVIII. НЕ В ДОБРЫЙ ЧАС

Графиня Натасова, говоря о себе, обыкновенно объявляла своим знакомым:

«Я, знаете, не люблю никакого шума, никакой спешки, но когда надо действовать — действую решительно, и главное — не упуская минуты. Еще от деда слыхала, что Великий Петр говаривал: „Упущение времени смерти подобно“. Так вот и я: в важном деле ни минуты, ни секунды не упущу!»

Теперь она доказала, что слова ее были не пустая похвальба, что она действительно следует по стопам преобразователя России. Немедленно по отъезде племянницы она послала Николаю записку, в которой самым убедительным образом просила его, «по наинужнейшему делу» заехать к ней вечером.

«И пожалуйста, сегодня, не завтра, а сегодня, очень-очень надобно, задержку недолго», — писала она.

Посланному было приказано, если барина нет дома, непременно дожждаться его возвращения и настоятельно просить ответа.

«Мол, графиня без ответа и возвращаться не приказали».

Николай догадался, что Мари была у тетки и что приглашение это неспроста.

Он написал графине, что желание ее будет исполнено, и вечером к ней отправился.

Он даже рад был куда-нибудь ехать, все равно куда, лишь бы не быть дома.

«Что же это? — думал он. — Мари, — он теперь знал это наверно, — поняла все... Но неужели она сказала тетке?..»

Сердце его ныло, и в то же время он чувствовал болезненное раздражение, какую-то беспредметную злобу. Он был расположен к старой графине, всегда с ним ласковой. Она казалась ему благоразумной, она имела влияние на Мари. Но чем же она теперь поможет?!

Он ясно видел, что теперь настала пора разных объяснений. Он видел это с утра, хотя Мари не подала ему и виду. Она встретилась с

ним как и всегда, только он все же заметил, что она следила за каждым его словом, сказанным Наташе.

Но следить ей было незачем. Он и Наташа встретились при всех, и если бы Сергей и Борис Сергеевич ничего не знали, то уж, конечно, в этот день не узнали бы ничего нового.

И у Наташи, и у Николая откуда-то взялась большая сила, большое спокойствие. Они, очевидно, до чего-то додумались, пришли оба к серьезным решениям. И главное, решения эти, хотя они и не сговаривались и хотя думали свои думы на расстоянии многих сотен верст друг от друга, были одинаковы. Они встретились как близкие друзья и родственники, без всякого смущения, прямо взглянули в глаза друг другу, и, казалось, вовсе не намерены были избегать встреч, как прежде.

Сергей, увидя брата, обнял его и поцеловал, но Николай сразу почувствовал, что это не прежнее братское объятие, и для него уже не оставалось сомнения в том, что Сергей все знает. Он невольно опустил глаза и побледнел, отвечая на его приветствие...

Весь день и вот теперь, подъезжая к дому графини Натасовой, он испытывал ощущение преступника, окруженного сыщиками и знающего, что ему уже нет возможности скрыться, что ему предстоит допрос.

Едва сдерживая в себе бешенство, он думал или, вернее, не думал, а чувствовал, что он никого не впустит в свой внутренний мир, в свои муки, что эти муки — его, и он должен сам бороться с ними.

Пуще же всего в нем говорило сознание необходимости отстранять от всего этого Наташу, не допустить, чтобы их общего несчастья грубо касались холодные, чужие руки. Ведь он не может объяснить правду этим судьям так, чтобы они ее поняли. Ложь возмущала его гордую природу, но он видел, что надо будет лгать, лгать и лгать. Ему становилось невыносимо и душно. Совсем измученный и озлобленный, вошел он к старой графине.

Она встретила его как-то натянуто, и он, конечно, заметил это...

— Пойдем, *Nikolas*, ко мне! — таинственно сказала она.

«Ко мне» — значило в маленькую уютную комнату, куда обыкновенно она редко даже кого из родственников впускала и где решались только самые серьезные вопросы.

Он молча последовал за нею.

«Боже мой! Эти приготовления, эти подходы!» — раздражительно думал он.

Но она на этот раз, проникнутая все тем же убеждением, что упущение времени смерти подобно, ни к каким подходам не обратилась и начала с самой сути.

— Была у меня сегодня несчастная Мари, — сказала она строгим голосом.

— Несчастливая Мари! — уныло повторил он, и тоска и страдание изобразились на лице его. — Если вы ее так называете — значит, верно, она сказала вам, что я причиной ее несчастья... Но, ma tante, вы сами не раз говорили, что трудно быть судьей между мужем и женою...

— Да, да, — протянула она, обдавая его своим пристальным и загоревшимся взглядом, — между мужем и женою судить трудно и не следует, да это я сама всегда говорила, но до известной степени, Nikolas!..

Она будто спохватилась и добавила: «До известной степени, Николай Владимирович...»

Но он не заметил этого. Бледное лицо его как бы совсем застыло. Он изо всех сил старался казаться спокойным, и только нервная дрожь, пробегавшая по его телу, выдавала его волнение. Он проговорил глухим голосом:

— Вы звали меня, и вот я у вас... но мне кажется, что это напрасно. Нам лучше было бы не объясняться... право, это бесполезно...

Графиня вспыхнула.

— Не напрасно и не бесполезно! — резко сказала она. — Я не могу так этого оставить... Вы забываете, что Мари мне племянница, самая близкая, родная, что я ее воспитывала...

— Но мне ведь Мари — жена... не забудьте и вы этого...

— Нет, я этого не забываю, а вот вы так точно забыли... да, забыли, в том все и дело! Я почитала вас примерным мужем и радовалась на счастье ваше с Мари...

— Никогда не было этого счастья! — невольно, почти бессознательно, прошептал он свою мысль.

Графиня всплеснула руками.

— А, так вот!.. Что вы сказали? Никогда не было счастья?! Вы ею недовольны... вы ее не любите... так ведь об этом, сударь, раньше нужно было думать. Вас не обманом на ней женили, вас никто не ловил... вспомните, вы клялись мне, да, клялись, что любите Мари пуще всего на свете, что век будете ей самым верным мужем!..

Николай пришел в себя и грустно опустил голову.

— Да, это правда! — сказал он с глубоким вздохом.

— То-то, что правда! Так за что же вы ее измучили... За что вы ее обманываете?..

— Я еще раз просил бы вас прекратить этот разговор, — сказал Николай. — Если Мари пришла к какому-нибудь решению, пусть она сама скажет мне — и я постараюсь исполнить ее волю... Я же со своей стороны, ни в чем, ни в чем не виню ее...

Графиня была так взволнована, что не обратила внимания на смысл этих слов.

— Еще бы ты винил ее! — вдруг забывая и «вы» и «Николай Владимирович», воскликнула она. — Тебе-то уж, батюшка, винить ее совсем не в чем! Такой жены поискать во всем свете — не найдешь. Да на нее только удивляться надо — молода, хороша, а живет будто монахиня, об удовольствиях и не думает, вся в тебе да в сыне. В чем же тебе обвинять ее?

Николай сам не заметил, как горько усмехнулся при этих словах. Но заметила это графиня и вспыхнула.

— Что за мефистофельские усмешки? Да где же это глаза мои были? Ведь я все тебя за доброго и хорошего человека считала, и только теперь вот, сегодня, сейчас вижу, каков ты!..

Николай начинал терять последнее терпение. Его нервы натягивались невыносимо.

— Я никогда не уверял вас, что я добрый и хороший человек, — проговорил он. — Пожалуйста, скажите мне, в чем же, наконец, дело, в чем мое преступление?

— Сейчас, сейчас и скажу... — опять вспыхнула графиня и даже привскочила с низенького, маленького диванчика, на котором сидела. — Сейчас и скажу. Вы не только охладели к жене, не только разлюбили ее, но вы допустили в себе преступное чувство...

Лицо его потемнело, брови сдвинулись.

— Я знаю все, — продолжала она, — и не одна я, и не одна Мари, а весь свет скоро узнает, весь свет будет говорить об этом!..

«Наташа... бедная Наташа!..» — мелькнуло у него в голове, и он почувствовал, что готов задушить своими руками всякого, кто осмелится ее оскорбить, но ведь вот ее уже оскорбляют!.. Ее оскорбляют, а он должен молчать!.. Да должен ли? Ведь его молчание будет истолковано как признание... в чем? В чем признание? Не в их общем несчастье, не в чувстве, которое выросло и созрело помимо их воли, долго не замечаемое, не подозреваемое ими и теперь навсегда отравившее их жизнь, а в чем-то другом, в чем ни он, ни Наташа, при теперешних обстоятельствах, не могут быть виновны... Все исказится, все примет грязную форму... Нет, он не может, не должен молчать, не должен — ради Наташи!..

Его раздражение вдруг стихло. Он взглянул на графиню почти умоляющим взглядом.

Она незла, быть может, она поймет...

— Если будут, что говорить — будут клеветать! — сказал он.

— Будто бы! — протянула графиня, и от тона этих слов, насмешливого и презрительного, кровь снова бросилась ему в голову.

Не будучи в силах владеть собою — он встал и пошел к двери.

Но графиня его удержала. Она заметила, что сделала ошибку, что только раздражила его и ничего не добилась.

Она заговорила совсем иным тоном:

— Успокойтесь, Nikolas, ну извините, я погорячилась, может быть, что-нибудь сказала не так... Но пойми — ведь дороже, ближе Мари у меня никого нет! Я не могу быть хладнокровна, когда дело касается ее счастья... Ну, успокойся же, извини. Поговорим спокойно.

— Если вы меня позвали, чтобы оскорблять, то я вам скажу: это недостойно вас...

— Я не хочу оскорблять тебя... Послушай, ведь ты знаешь — я тебя полюбила как родного. Я всегда соединяла тебя в моих мыслях и в моем сердце с Мари. Я всегда верила, что ты истинно благородный человек. Скажи мне прямо, дай мне честное слово, что у тебя нет ничего с Nathalie... что ваши отношения — просто дружеские, родственные отношения... Дай мне честное слово — и я тебе поверю.

Она взяла и крепко сжимала его руку и ловила его взгляд. И она увидела, как он побледнел, как жестокое страдание изобразилось на



лице его.

Несколько секунд он не мог выговорить ни слова, наконец произнес:

— Между мною и Nathalie нет и не может быть ничего такого, за что нам пришлось бы краснеть. Nathalie... да ведь вы ее знаете... она неспособна ни на что дурное, и Мари может быть совершенно спокойна. Вы, наконец, сами должны понять, что то, в чем вы теперь решились меня подозревать, немыслимо... невозможно!.. И в этом я вам даю честное слово...

— Хорошо, я тебе верю! — сказала графиня. — Но ведь не могла же Мари все это выдумать, ведь есть что-нибудь?

У него опять затуманилась голова, опять тоска подступала к сердцу и он горячо проговорил:

— Вы непременно хотите заглянуть в мою душу!.. Вы в ней найдете мучительное, невольное чувство — и больше ничего...

Графиня всей душой оскорбилась за племянницу.

— Ну, мой милый, это попросту значит, что жена надоела, не подходит... а вот другая — подходит... Мари бедная была и хороша, и мила, и прелестна... теперь она сделалась никуда не годной, теперь другая стала и мила, и прелестна!..

— Да, конечно, если бы мне досталась такая жена, — я был бы самым счастливым человеком!.. Но она мне не жена, а сестра и останется навсегда сестрою!

У графини опустились руки.

— А что же будет дальше? — спросила она.

— Не знаю... ничего не будет... все то же...

В его голосе она расслышала столько безнадежности, столько муки, что не будь дело в Мари, она, наверное, его пожалела бы. Но теперь у нее не могло быть жалости к Николаю.

— Я больше ничего не мог сказать вам, а то, что сказал, могу повторить перед всеми... Я думал, что в мою внутреннюю жизнь никто не вмешается... Я думал сам, наедине с собою, пережить ее, никого не оскорбляя... Вы заставили меня говорить — и я скажу вам все. Очень серьезные дела удерживают меня на некоторое время в Петербурге. Закончив их, я думал уехать на некоторое время, конечно, один... Я, может быть, вернулся бы, победив себя... Вы и Мари, очевидно, желаете иного, хотя я, собственно, не понимаю, чего вы

желаете, я чувствую, что так будет хуже... Извините, я не могу больше говорить! — прибавил он.

У него мутилось перед глазами.

Он поспешно простился с графиней и вышел, даже не слыша того, что она ему говорила.

Оставшись одна, она крепко задумалась.

«Вот какой он! Вот какой он! — повторяла она про себя. — Кто бы мог думать? А я была в нем так уверена... Теперь ведь и меня обвинять станут — я устроила свадьбу... Да кто же их знает — все они таковы, все! На кого положиться можно?»

Графиня волновалась все больше и больше.

«Надо полагать, что ничего нет... Он так сказал, дал слово, но ведь довольно и того признания, что он сделал... Ведь сам так и говорит, жена никуда не годна, с ней несчастье, а жена брата прелестна, сокровище — и с ней было бы счастье! Господи! Да что ж это такое?!»

Графиня даже стукнула своим маленьким кулаком по столу.

Она не вспоминала, что давно-давно, в ее молодые годы, она полюбила, и кого же? — женатого человека. Она была воспитана в строгих правилах, знала себе цену и была горда. Никто не мог ее никогда обвинить в лишнем слове, в лишнем жесте. Как же могло с ней случиться такое? Она не знала, знала только, что любит со всею силою, на какую была способна.

Эта любовь принесла ей много горя, в несколько месяцев она так вообще изменилась, что родные стали бояться за нее. Но она решила победить свое сердце, она уже начала мало-помалу находить утешение в сознании исполненного долга...

И вдруг она узнала, что ее тайна, которую она, казалось, так искусно ото всех скрывала, сделалась городскою новостью. Она видела двусмысленные взгляды, слышала грубые намеки, наконец убедилась, что на нее клеветают, что в нее бросают грязью. И кто же бросал? Главным образом те, за которыми было много грехов и много действительной грязи, прикрытой соблюдением условных приличий.

В ней поднялось негодование, и вместе с этим уже начавшее было успокаиваться и замирать чувство вспыхнуло. В болезненном припадке страсти и раздражения она написала любимому человеку, с которым решила было никогда не встречаться. Только благодаря случайности

это письмо не попало ему в руки, только случайность спасла ее от такого шага, который бы, вероятно, испортил всю жизнь ее...

Но графиня теперь не вспоминала ничего этого. Она решила, что должна заступиться за Мари, думала, что надо кому-то открыть глаза и что можно устроить.

Не откладывая, на следующий же день, она поехала к Катерине Михайловне.

## XIX. ЕЩЕ НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Катерина Михайловна выслушала графиню с большим вниманием, но только вовсе не показалась ей возмущенной.

Графиня думала, что, открывая глаза матери, она приведет ее в ужас и отчаяние, а потому даже всячески старалась ее подготовить и, вообще, говорила осторожно.

Спокойствие Катерины Михайловны ее просто сразило.

— Вы так принимаете, *chère amie*, как будто я вам рассказала какую-нибудь светскую сплетню?

— Так оно почти и есть! — ответила Катерина Михайловна. — Мари все это пригрезилось.

Она хотела сказать, что пригрезилось это Мари от зависти к Наташе, но удержалась и только прибавила:

— Да, пригрезилось от ревности!

Тогда графиня, приберегшая к концу главное доказательство, передала ей слово в слово весь свой разговор с Николаем и, надо ей отдать справедливость, передала искусно, со всеми оттенками.

Катерина Михайловна стала серьезна.

— Что же вы после этого скажете? Ведь я не уверяю, что между ними есть что-нибудь такое. Пока Бог милостив — и я верю честному слову вашего сына. Только ведь вы сами понимаете, какая это опасная игра...

— Да, да! — задумчиво проговорила Катерина Михайловна. — Вы мне принесли дурную новость... И как же это я ничего не замечала? Да, впрочем, и не могло мне прийти на ум... А если подумать хорошенько, то теперь мне объясняется многое, что казалось странным... Да, да... Они фантазеры, оба экзальтируются, только, в сущности, нам нечего уж так тревожиться... Мало ли какой иногда вздор взбредет в голову, ведь это, как бы то ни было, игра взрослых детей. Позабавятся, помучаются — да и перестанут.

— А как же Мари? Вы о ней забываете! — воскликнула графиня.

Катерина Михайловна пожала плечами.

— Я нисколько не забываю о Мари, — сказала она, — и мне от всего сердца жаль ее, но чем же я могу тут помочь? Я даже не могу

себе представить... как я могу вмешаться... ma foi... c'est une affaire... vous comprenez...

— Но ведь вы точно так же, как и я, знаете, что такое наш свет... Ведь если и нет ничего, так рады придумать все дурное, а уж если найдут основание... Ах, Боже мой, подумайте, подумайте только!..

С этого бы и должна была начать графиня. Она, наконец, нашла, чем растрогать Катерину Михайловну, и сейчас же заметила действие своих слов по тому, как собеседница ее внезапно изменилась в лице и испуганно на нее взглянула.

— Да вы разве что-нибудь уже слышали? — с дрожью в голосе спросила она.

— Пока ничего, но какое-нибудь лишнее слово, взгляд и люди, радующиеся беде ближнего, довольны...

— Да, конечно... oui, certainement, vous avez raison! — говорила Катерина Михайловна. — Только что же мне делать?

— Употребите все свое влияние... Вы мать...

— Хорошо, хорошо! Я подумаю... Благодарю вас, что предупредили меня... И я вас только прошу, графиня, ради самого Бога никому, ни одним словом не заикнитесь, будьте как можно осторожнее, je vous supplie!..

— К чему вы мне это говорите? — обиженно ответила графиня. — Я люблю Мари не на словах, а на деле... Я все мои силы употребляю, чтобы все было шито и крыто. Внушите им, как знаете, внушите, чем все это может кончиться, куда они идут... Будьте справедливы и к бедной Мари... Она-то тут уже ни при чем, ни в чем не виновата...

В это время Катерине Михайловне доложили о приезде кого-то, и разговор был прерван.

Проводив гостей и оставшись одна в своих комнатах, Катерина Михайловна принялась обдумывать сообщенную ей новость и снова изумилась, как это в этом деле она до сих пор ничего не заметила. А ведь, кажется, на подобные дела у нее было тонкое чутье!..

Она припомнила все и с каждой минутой убеждалась, что так оно и есть, что дело серьезное.

Теперь понятны, совсем понятны странности в обращении Николая с Наташей, и ее летняя болезнь, и его внезапный отъезд из Горбатовского...

«Так вот какое дело!» — качала головою Катерина Михайловна.

«Да что ж, оно ведь и понятно! — вдруг решила она и даже, как ни странно это, не без некоторого внутреннего довольства. — Да, понятно! У Николая вкус хороший — и только. Сам виноват — вольно же было жениться в двадцать лет... Конечно, какая она ему жена!.. Je le savais bein!.. Я была права, что не могла одобрить эту женитьбу, без меня было сделано, а я бы не допустила... Я вот нашла Наташу — и обоим братьям она пришлась по вкусу!..»

Именно так и выразилась про себя Катерина Михайловна.

«Да, да, к Николаю она больше подходит, они совсем пара. Оба идеальничают, оба в небесах витают и все же оба на землю спустятся, если до сих пор и не спустились...»

«Но как же это, как же я все это проглядела? И поделом Мари, поделом! Да и чего она так волновалась?»

«А Сергей?» — вдруг вспомнила она.

Но про Сергея она очень хорошо знала, что он легкомысленно относится ко всему и ко всем, что он постоянно обманывает Наташу. Она вот проглядела эту историю, а шуры-муры Сергея с Лили заметила с самого начала и глядела на это сквозь пальцы.

Теперь она решила, что Сергея жалеть нечего, он совсем не такой человек. Если и заметит, то махнет рукой и, наверно, не станет подымать бури, найдет себе еще новое какое-нибудь развлечение — и только.

«Что ж, au fond — все это в порядке вещей! — наконец окончательно решила Катерина Михайловна. — Да и разве у нас это только?..»

Она вспомнила все, чего навиделась и чего наслышалась в жизни.

«И хуже того бывает, гораздо хуже, да с рук сходит. Только что же это они — помешались, что ли? Как это могли быть так неосторожны, и как это Мари заметила?.. Даже на нее не похоже! Да, началось с зависти, от зависти, видно, даже сон прошел. Однако надо же их образумить, пусть делают, что хотят, но чтобы не было скандала... Боже избави!.. Теперь только этого и недоставало!..»

Катерина Михайловна горько вздохнула и перешла к иным мыслям.

У нее было другое горе, другая тяжесть, с этой тяжестью разделаться было гораздо труднее, она томила ее и тем более томила,

что приходилось скрываться ото всех.

Это горе, эта тяжесть был граф Щапский. Он поймал ее, запер в клетку, и теперь она в его власти, теперь он играет с нею как кот с мышью и доводит ее до отчаяния.

Как она вынесла тогда в Горбатовском, как победила себя, как не заболела потом — она не понимала. Она отдала этому извергу все деньги, какие у нее были, и он уехал. Но вот теперь, в первый же день по приезде в Петербург, он уже прислал ей письмо и в нем напоминал об их условии, и требовал, чтобы она в течение недели приготовила по меньшей мере пятьдесят тысяч. Ровно через неделю он ей еще раз напомнит, и если она не доставит ему эти деньги безотлагательно, то он примет меры...

Она отлично знала, что он не шутит. Но не знала она, откуда взять эти деньги, их не было, а если бы и были, они нужны, ужасно нужны для дома.

Конечно, Борис Сергеевич может помочь, на него вся надежда. Но что будет, если он узнает о графе Щапском! А ведь он может узнать, легко может узнать. Этот негодный старик, Степан, видел Щапского в Горбатовском. Может быть, он уже донес Борису Сергеевичу, а если не донес, то только выжидает... Да и, наконец, ну и этот раз удастся, достанет она деньги, кинет их в пасть зверю, он проглотит, а затем, немного подождав, опять придет за подачкой... И так без конца, без конца!..

«Вот и спокойствие на старости лет! Да ведь это каторга, это ад... Вечно под ножом, вечно дрожать, ждать такого ужаса! И что это будет, если изверг вздумает появиться здесь в доме, в присутствии Бориса, что это будет такое?»

«Боже мой, да что же я, из ума вон!.. Ведь старуха Натасова говорила о том, что Борису все известно относительно Наташи и Николая... Что же это, как он глядит? Ведь не может же он относиться к делу, как я, с его фанабериями? А тут, если еще появится Щапский, что это такое будет?»

Она опустила голову, беспомощно уронила руки и заплакала.

«Да ведь ты же сама все это подготовила!» — шепнул ей неясный голос.

Но она в него не вслушалась, она почитала себя страдальцей, жертвой.

«И разве за себя?! За сына ведь, за Николая, за него все эти муки!  
А мне что, хоть бы умереть!.. Да умереть, право, лучше, чем такая  
жизнь!»

В первый раз пришла ей мысль о смерти и не испугала ее...



## XX. В НОВЫЙ ПУТЬ

— Итак, Мишенька, это решено — ты уезжаешь в Петербург?

— Да, Капитолина Ивановна, уезжаю.

Они сидели вдвоем, в вылощенной маленькой гостиной Капитолины Ивановны, на жесткой старинной мебели. Бледный свет ненастного осеннего дня озарял скромную комнату. Мелкий частый дождь заливал стекла.

Капитолина Ивановна сдвинула на самый кончик носа круглые серебряные очки, ее пальцы машинально перебирали спицы чулка, который она вязала. Она то и дело поглядывала на собеседника. Лицо ее было невесело.

— И когда же ты едешь?

— Да думаю на этой неделе. Что это вы, Капитолина Ивановна, говорите так, точно вам не нравится моя поездка?

— И не нравится, чему тут нравиться!..

Она пожевала своим беззубым ртом и пристально-пристально, как-то прищурив один глаз, взглянула на Михаила Ивановича.

Нехорош казался он ей в последнее время, совсем нехорош, хотя она и не могла с точностью объяснить себе, что именно ей в нем не нравится. По-видимому, он поступил хорошо, именно так, как и следовало в его положении. Все обошлось у Бородиных тихо, и ни одна душа не могла ничего заметить. Он не только не изменился в отношении Ивана Федоровича и Марьи Семеновны, но стал к ним еще ласковее, еще внимательнее, точно так же, как и жена его.

Он продолжал свой всегдашний образ жизни. О далеком прошлом, о недавних открытиях не было и помину, он ни разу больше ни о чем не спросил ни своих стариков, ни Капитолину Ивановну.

«Все это так, все это прекрасно!» — думала она. — Но каждый раз, встречаясь с Михаилом Ивановичем, она замечала в нем какую-то странность.

«Да, может, это мне чудится только?» — спрашивала она себя, но тотчас же убеждалась, что ей вовсе не чудится, что с Мишенькой действительно произошла большая перемена, что он не тот, что прежде.

А в чем эта перемена и нельзя сказать, не объяснишь словами.

Наконец она решила, что он задумал что-то и таит про себя. И вот он пришел к ней и объявляет, что едет в Петербург.

— Да зачем, собственно, тебе понадобилась эта поездка? Не виляй ты передо мною... Потолкуем, разберем хорошенько. Или, может, я стара уж очень стала, из ума выжила? Ведь, чай, ты так обо мне теперь думаешь?..

— Вы знаете, что я этого не думаю, Капитолина Ивановна. Нежничать я не умею, доказывать и расписывать вам, как я вас ценю и почитаю, мне нечего...

Она ласково кивнула ему головою.

— Ну и спасибо тебе, а в таком разе и потолкуем по душе, может, мой старый умишко и пригодится тебе, может, что и ладное присоветую...

— Мне нечего скрываться, — сказал Михаил Иванович, — эту поездку мы решили еще с Борисом Сергеевичем, и он вот опять письмом зовет меня в Петербург, пишет, что присмотрел и составил для меня кое-какой план...

— Э-эх! — протянула Капитолина Ивановна. — Какой же такой план?

— Подробно он ничего не пишет... Он желает, чтобы я расширил свою деятельность, чтобы я, одним словом, устроился. Перед отъездом своим он... так сказать, сделал мне немало комплиментов, и уверил меня, что если я приложу старания, то с его поддержкой могу многого добиться...

— Что ж он тебя, в министры, что ли, прочит?

— Нет, не в министры, Капитолина Ивановна, — мне этого и не надо... Много теперь больших денежных промышленных дел, банки разные открываются, общества, железные дороги строятся...

— Ох, уж мне эти банки, чугунки, общества! — махнула рукой Капитолина Ивановна. — И без них жили люди, без них стояла Россия и первым государством в Европе сделалась... И богатства довольно было всякого...

Михаил Иванович улыбнулся.

— Да, конечно, и без всего этого можно было обходиться... И недурно было, а устроятся железные дороги, банки и общества, так, Бог даст, будет гораздо лучше... Богатство всеобщее увеличится, все,

что теперь зарыто, как клад, что недоступно, что даром лежит в земле — все выйдет наружу и плод принесет... Уж вы с этим не спорьте, Капитолина Ивановна, это так!

— Не верю, — упрямо твердила она, — не к лучшему все идет, а к худшему... Ну, я-то, конечно, не увижу, а вы вот увидите... Может, еще когда-нибудь и вспомнишь мои слова: не к лучшему, а к худшему, так и знай... Да нечего слова даром тратить — ты упрям, тебя не переспоришь... Так, так... Значит, это жадность тебя, батюшка, одолела! Наживаться хочешь...

— Вовсе не жадность, а что наживаться хочу, так в этом нет ничего позорного. У меня дети, пусть им живется шире и лучше, чем нам. Вы вот твердите, не в деньгах счастье!.. Оно, конечно, не в них счастье, но деньги — великая вещь, с деньгами многое можно сделать — горы сдвинуть можно с места, да и пользу принести немалую не себе одному, а и многим...

— Не о хлебе едином жив будет человек! — со вздохом прошептала Капитолина Ивановна.

— И это правда, и знаю я, что вы эти слова говорите не так, как говорят их обыкновенно. Знаю я, о чем вы думаете...

— Да знаешь ли, дружок, точно ли знаешь?..

— Вы желали бы мне, Капитолина Ивановна, внутреннего, душевного довольства пуще всякого богатства, так ли?

— Так, так...

— Ну и на это опять я вам скажу: что у меня есть, то не отнимется, а внутреннего довольства после... после этих открытий у меня быть не может.

— Выбрось ты дурь эту из головы, забудь, скажи, что это сон — и кончено!

— И хотел бы, да не могу! Это свыше меня, ломал себя всячески — ничего не выходит... Так вот, и говорю я, внутреннего довольства, то есть полного спокойствия, мне не дожидаться, и нужно занять себя чем-нибудь, уйти во что-нибудь важное, большое, именно позаботиться о хлебе... А когда жизнь наполнится, когда придут удачи — и на душе лучше станет...

— Ох, не совсем-то ты хорошо говоришь, Мишенька! Все это в тебе суета твоя, гордость в тебе, тщеславие!

Он пожал плечами.

— Может быть? и так! Я и не выставляю себя добродетельным человеком, таким вот как тот, о котором говорится в прописях, подаренных мне вами, когда я был маленьким мальчиком... Верно, это в крови у меня...

Она все жевала беззубым ртом. «В крови! — подумалось ей. — Ох уж мне эта кровь! Вот и сказалась!..»

— А ну как тебя ждут неудачи? Расквитаешься со всем старым, занесешься в мечтаниях, а получишь — шиш! Сядешь между двумя стульями, ни Богу свечка, ни черту кочерга! Тогда что?! Что ж это тебе ворожея какая, гадалка, что ли, судьбу-то твою открыла? Так ты приедешь в Петербург, повертишь пальцем — дождь на тебя золотой посыплется?

— Ни в чем я не уверен, и если б мне предстояло только повертеть пальцем, так я, может быть, и не стал бы начинать этак скучно... Мне предстоит большая работа, верно, и через неудачи придется пройти, так ведь в этом настоящая жизнь. А что чего-нибудь достигну — я рассчитываю на это! Ведь вы сами знаете, что я почти с детских еще лет имел две склонности...

— Да, да, как же, знаю! — перебила Капитолина Ивановна. — Либо старые книжки да грамотки разбирать, либо разные выкладки с копейками делать... Копеешник ты, как есть копеешник!

— Что ж, и тут, может, опять кровь... Только с другой стороны, — пересилив себя, но все же невольно покраснев, сказал Михаил Иванович. — Однако знаете ли вы, что я те пять тысяч, которые заработал семь лет тому назад, уже утроил, а много ли тут, в Москве, без ростовщических гадостей сделать можно?! Иду я теперь своей прямой дорогой...

— Ну и иди, только знай, что я тебя не могу благословить на эту дорогу... Желать тебе всякой удачи, золотых гор — это я буду, и грешная молитва моя за тебя будет, а коли неладное что с тобой приключится — попомни старуху, мол, наперед говорила... Ох, горе мне с тобой! Да и твоих жаль пуще всего, пуще всего их жаль... не след бы тебе, Мишенька, покидать их на старость... А то ведь это что же? Комедию ты теперь с ними ломаешь? Люблю, мол, и почитаю, и ублажаю всячески — а сам в лес смотрит... Ну, приедешь ты в Петербург... Надолго ли, едешь-то? Со службой своей как ты здешней?

— Беру отпуск трехмесячный, а потом видно будет...

— То-то — видно будет! Не вернешься ты, сударь, застрянешь в Петербурге!.. Известно, жену, детей перетянешь, а старики останутся здесь горе горевать... Подумай — ведь это что ж такое! Просто надо так сказать: безбожие!

Она закипятилась, даже кинула на стол свое вязание и сняла очки.

Он опустил глаза и задумался.

— Ну вот и договорились! — продолжала она. — Вот этого-то я и боялась! И стыдно тебе, сударь, стыдно! Уж хоть ругайся ты, распоругайся, правду сказать должна тебе... Совсем стыдно!..

— Не стыдите заранее, Капитолина Ивановна, у меня и в мыслях нет покидать папеньку и маменьку...

— В мыслях нет, а сам делаешь этакую пакость.

— Я еще ровно ничего не делаю... Если мне придется остаться в Петербурге, так я надеюсь, что и они туда все переедут...

— Ну так, так, так и ждала!.. Что же, сударь ты мой, может, и меня в свои новозданные хоромы приглашать станешь? Да уж заодно, кстати, и Порфирия Яковлевича, и Анну Алексеевну... Так, что ли?!

— Конечно, и это хорошо бы было! Вас мне очень не доставать будет.

Капитолина Ивановна поднялась с кресла и побагровела.

— Дурак ты! Вот что я тебе скажу! — крикнула она.

— Спасибо за ласковое слово.

— Да еще какой дурак-то! И на свете таких мало! А подумал ли ты о том, что коли старого человека взять да пересадить в новую землю — так он тут же и пропадет, зачахнет! Да понимаешь ли ты, что человеку нужно умереть в том воздухе, в каком он всю жизнь жил, на своем пригретом месте, что старого человека пожалеть надо! Я не о себе говорю, меня из моего гнезда никакими калачами не выманишь... И не только для тебя, дурака, а и ни для кого на свете я из домишка своего не двинусь... А попробуй — тронь отсюда отца с матерью... Ну и умрут, они умрут с тоски по своему гнезду...

— Да разве гнездо в вещах... Я думаю, что их гнездо в семье, в нас да в детях... И где будем мы, там и их гнездо будет.

— Эх ты! Жил себе, жил, нельзя сказать, чтоб уж очень мало времени — вон на виске-то уж седой волос пробиваться начал, а того сообразить не можешь, что каждый человек создан по-своему... Оно

точно, есть такие люди, непоседы, цыгане такие, что им всю жизнь с места на место перебираться ничего не стоит, а есть и другие люди: возьми, переведи их на другое место — и пропадут. Так ты должен знать, что отец твой и мать из этих вторых людей будут... Всю-то жизнь на одном месте прожили, обстроились, обзавелись, каждая ведь пылинка, что вокруг них, им знакома, годами знакома... И вдруг их лишит все этого! Да Иван Федорович, бедный, без огорода своего, без теплички, что станет делать?! Фу, нет, это такая пакость, что хоть и ждала я, боялась многого, а все же тебя почитала разумнее да добрее!

Михаил Иванович ничего не возражал, да и возражать ему было нечего. Он очень хорошо понимал и чувствовал, что Капитолина Ивановна права, что действительно, Иван Федорович и Марья Семеновна немислимы в другой обстановке, чем та, которая их окружает многие годы.

Он должен был упрекнуть себя не то что в глупости, а в ином, чего ему бы не хотелось в себе видеть. Да, он думал только о себе, а о них, стариках своих, не подумал. Он не раз говорил себе мысленно за это время, да и Наде своей говорил, что теперь его обязанность любить их и беречь пуще глаза, а между тем задумал их погибель.

Несколько мгновений продолжалось молчание, во время которого Капитолина Ивановна, переваливаясь и отдуваясь, ходила взад вперед по комнате и метала грозные взгляды на Михаила Ивановича.

Наконец он проговорил:

— Вы правы, как и всегда, Капитолина Ивановна, я дурак, как вы говорите, и, может быть, даже хуже... Большое спасибо вам за то, что на разум меня наставили. Теперь я уже больше не заикнусь о переезде папеньки и маменьки в Петербург.

Капитолина Ивановна развела руками:

— Прекрасно! А сам-то все же едешь?

— Еду!..

— Так, значит — из огня да в полымя? Из одной их погибели, да в другую?!

— Нет, Капитолина Ивановна... Я еще ничего не знаю и не могу решить, но обещаю вам, что все у нас как было, так и останется по-старому... Ни Надя, ни дети не тронутся отсюда... И если мне придется всю мою деятельность иметь в Петербурге... ну что же — я

стану кочевым человеком, благо, это теперь возможно — и в каждый свободный день буду в Москву возвращаться... Довольны вы?

— Вижу я, что теперь уж ты меня за дуру считаешь, батюшка!.. Чего мне быть довольной, чего ты мне очки-то втираешь, чего глаза отводишь? Выдумал фортель — и думает, все решил! Знаем мы эти переезды... Ну и станешь как угорелый метаться... Надолго тебя хватит! В полгода разболеешься, а то на проклятой чугушке шею тебе свернут.

Михаил Иванович подошел к ней и с улыбкой стал целовать ее, в то время как она от него отбивалась.

— Да не задабривай... Нечего лизаться... Видно, ничего путного от тебя не добиться!..

— А вы не пророчьте разных ужасов, чего каркать — вы не ворона... — в тон ей говорил он. — Ну, слушайте, Капитолина Ивановна, там видно будет, что и как, только знайте, что мое неизменное решение — не покидать папеньку и маменьку и что теперь, когда мне все ясно, я даю вам слово, слышите — даю слово, что все будет по-старому и ничего не изменится у нас в доме. А об остальном говорить теперь рано...

Капитолина Ивановна, видимо, успокоилась, взяла его за руку и, проговорив: «Пойдем-ка, пойдем!» — повела его в спальню.

— Вот Бог!.. Вот образа! — сказала она, указывая ему на киот. — В Бога-то ты веришь?

— Вы знаете, что верю.

— Ну, так побожись, побожись мне, что от своих слов не отступишься!

Он перекрестился.

— Теперь вот поцелуемся!

Они крепко обнялись.

— Что же ты, прямо домой едешь?

— Домой.

— Так подвези меня.

— Отлично...

— Ну и ступай в гостиную, подожди, а я приберусь немного...

Он вышел из спальни и, поджидая ее, серьезно задумался.

«Что-то будет? Все усложняется, все запутывается... Но прежде всего старики, прежде всего!.. А идти вперед надо...»

Он знал, что пойдет и во что бы то ни стало достигнет цели.



## XXI. И ТАК НЕЛЬЗЯ

Николай сидел на своем обычном месте в библиотеке. Он ответил на полученные письма, проглядел газеты и журналы, принялся было за чтение только что вышедшей книги по интересовавшему его вопросу, но вдруг оставил книгу, опустил голову и забылся. Он не мог бы сказать, где бродили его мысли, а когда он стал сознавать их, то прежде всего задал себе вопрос, чего он ждет, зачем он здесь, откуда это, вот сейчас, явилась как будто надежда, что жить можно?..

Уехать — это не трудно... все бросить, выйти в отставку... Дальше... Дальше куда-нибудь, на край света... Но что же это за жизнь будет? И к чему такая жизнь, если Наташи нет — не с ним, не с ним — он никогда, никогда ни на секунду не посмел об этом подумать, а только близко, под одним кровом. Ведь оттого, верно, и показалось ему возможным жить, что она тут же. А если нет ее — нет и жизни!

Он закрыл глаза. Наташа, как живая, была перед ним, и его охватило ощущение ее близости. Открыл глаза — ее нет, но все ему говорило о ней в этой библиотеке.

Вот тут один раз Наташа сидела, вернувшись из театра. Они вернулись вместе. Она была в черном бархатном платье с вырезанным корсажем. Он в первый раз заметил всю силу ее красоты и прелести. Он подошел к ней, и она ему улыбнулась... И потом долго-долго она представлялась ему в этом черном бархатном платье, с белой, будто мраморной шеей, на которой горело и переливалось, как крупные росинки, бриллиантовое ожерелье. Долго преследовала его ее улыбка.

Сколько часов они проводили здесь вместе!

Он переносился в близкое прошлое и вспоминал подробно, подробно все беседы с нею, повторял каждое ее слово...

Он ничего не хотел больше, как только чтобы вернуться эти беседы, эти тихие минуты. Но ведь теперь ничего этого не будет, прошлое не вернется... Теперь все испорчено...

«Умереть! Покончить с собою?» — мелькнуло в голове его.

Но мысль о самоуничтожении всегда была ему противна, в ней всегда ему казалось что-то унижительное, недостойное. И затем, хоть и бессознательно, но, верно же, было еще жаль жизни, потому что как

бы то ни было, а жизнь в нем была ключом. И до сих пор, до самого последнего времени, все казалось ему, что, несмотря на все разочарование, несмотря на всю неудавшуюся семейную обстановку, впереди есть что-то, что пока все это только так себе, какое-то приготовление к чему-то, а настоящее, к чему служит все это приготовление, еще будет, еще настанет...

«Но так жить нельзя... нельзя!» — с безнадежностью и отчаянием, из глубины своего существа решил он.

Он чувствовал, что его нервы натянуты до последней степени: малейшее обращенное к нему теперь слово, малейший стук потрясали его. Ему как будто не доставало воздуха, нечем было дышать, и это было чисто даже физическое ощущение.

«Нельзя так жить!.. Уехать, скорее, как можно скорее. Но куда? Зачем?»

Дверь тихо скрипнула — вошла Наташа.

— Здравствуй, Николай! — тихо сказала она, протягивая ему руку, которую он пожал как-то особенно торопливо, будто боялся к ней прикоснуться. — А я думала, что тебя нет дома... Я здесь еще в первый раз по приезде... Что это? Новые книги? Вот за этим-то я и пришла сюда — покажи, что такое...

Она присела к столу, стала разбирать книги и в то же время поднимала по временам на Николая глаза, в которых он ничего не видел, кроме доброты и спокойствия.

Она стала говорить ему о Горбатовском, рассказала ему о том, какое впечатление произвел на всех поступок дяди — вольная, данная им своим крестьянам, и наделение их землею.

— Представь себе, они сначала долго не хотели верить, потом стало делаться с ними что-то странное, они как будто были недовольны, бабы так даже в три ручья плакали... И чем же кончилось!.. В последние дни то и дело являлись разные мужики с просьбами и жалобами... Вот им такую-то землю отрезают, а они хотят другую... И все в этом роде, одним словом — остались недовольны!.. Бедный дядя целые дни с ними возился...

— Так оно и должно быть! — сказал Николай. — И вот увидишь, что этим еще не кончится, дяде предстоит немало неприятностей и разочарований... А, впрочем, все же хорошо, что он так сделал...

— Конечно, хорошо! — подтвердила Наташа. Затем она стала говорить о детях. Рассказывала много о Володе, об его странностях.

Потом они стали переходить с предмета на предмет и кончилось тем, что оба совсем оживились. Николаю уже не было тяжело дышать. Он уже не думал о том, что нельзя так жить, напротив, ему вдруг стало тихо, хорошо и спокойно.

Они продолжали оживленно разговаривать, когда в библиотеку вошла Мари.

Она приблизилась к ним своей тихой, плавной походкой и спокойно проговорила:

— Николай, я тебя ищу по всему дому, мама приходила и просила позвать тебя... Она ждет тебя у себя в спальне.

— Хорошо, я иду! — сказал он.

Лицо его затуманилось, опять тоска сдавила его сердце, опять не хватало воздуха для дыхания! Он нервно вздрогнул и вышел из комнаты.

Мари подошла к столу и придвинула себе только что покинутое Николаем кресло.

Наташа подняла глаза, встретилась с ее пристальным взглядом. Она уже знала этот новый взгляд Мари, тихий, грустный, невыносимый. Она уже не раз терпела пытку под этим взглядом, и теперь ей стало так тяжело и неловко, что она невольно проговорила:

— Как ты странно смотришь, Мари?

Мари печально усмехнулась.

— Не знаю, что ты находишь странного... Я гляжу как всегда...

Но Наташа уже не могла остановиться. Каждый нерв болезненно трепетал в ней. В последнее время она немало работала над собою, она, по-видимому, решила самые мучительные вопросы. Она знала, что уничтожить в себе овладевшее ею чувство она не может, потому что это не в ее власти, но знала также, что никто и никогда больше, и прежде всего Николай, не заметят этого чувства. Она будет скрывать его ото всех и от себя самой... В чем же упрекнуть ее? В невольных мыслях, в невольных чувствах, неведомо откуда приходящих? Но разве можно упрекать человека, если он борется с этими мыслями и чувствами, если он не дает им бороться себя, если они не отражаются в его сознательных поступках?

Но вот Мари перед нею, глядит ей в глаза — и она не может выносить этого взгляда и чувствует себя виновной, преступной, униженной...

И хоть они обе молчат теперь, но она знает, почему-то наверное знает, что Мари сейчас заговорит... Что она скажет? Что может сказать она?..

Наташа вся похолодела, готовясь к этому неведомому, но неизбежному слову Мари. Она ждала его как рокового, смертельного удара.

Ее предчувствие оправдалось.

Мари уже поднялась с кресла, уже собиралась выйти из библиотеки — и вдруг вернулась и остановилась перед Наташей. Ее губы дрогнули, из глаз брызнули слезы и тихо, едва слышно она прорыдала:

— Так зачем же ты у меня отняла его!

— Как отняла? — растерянно крикнула Наташа, хватаясь за голову. — Как отняла?! Мари... Мари... Боже мой! Да неужели я когда-нибудь могла думать об этом? Разве я знаю, как все это сделалось со мною?..

— Если бы он ничего не заметил с твоей стороны... — начала Мари, но рыдания душили ее, и она не могла договорить.

Наташа безумно глядела на нее своими широко раскрытыми померкнувшими глазами. И несколько мгновений стояли они так друг перед другом, без слов, без мыслей, с одним давящим сознанием своего безвыходного горя.

И что же бы они могли еще сказать? Они, во всяком случае, не в силах были ни судить, ни понять друг друга...

Мари первая очнулась. Она подавила рыдания, быстро вытерла глаза, будто стыдясь своей слабости и, слабо махнув рукою, вышла из библиотеки...

Когда Николай вошел к матери, она встретила его даже гораздо нежнее, чем обыкновенно, и серьезным тоном передала ему о своем разговоре с графиней Натасовой.

Он даже сначала не нашел в себе силы ответить ей что-либо. Она продолжала:

— Понимаешь, мой друг, что я должна была, несмотря на то, как все это мне ни тяжело, предупредить тебя... Да и, наконец, если ты

уже говорил с графиней — можешь поговорить и со мною... Я только боюсь за вас, но ничего не знаю, и совсем не хотела бы в это вмешиваться... Это вовсе не мое дело. Я не разбираю, какие такие у Мари основания... Но согласись, Nikolas, что ты прежде всего обязан ее успокоить... Иначе чем же это кончится? Что будут говорить? Если ты ни себя и никого из нас не жалеешь, так пожалей хоть Наташу... Ведь, главным образом, все это на нее обрушится...

— Господи, — простонал Николай, — что обрушится? Что будут говорить? Неужели вы в самом деле думаете...

— Я говорю тебе, я ничего не думаю и не хочу думать, вы не дети, и я вам не судья... Но только я прошу тебя... Я, наконец, тебя умоляю, ради всего — будьте осторожны. Я вот ничего не заметила, а замечают другие.

— Мaman! — глухим голосом сказал Николай. — В моем обращении с Наташей никто и никогда не мог бы заметить ничего, кроме родственных отношений... Но теперь нечего говорить об этом — я вижу, что мне остается одно — уехать как можно скорее... И я это сделаю...

Катерина Михайловна испугалась. Уехать — значит, отставка, и именно тогда, когда начинается блестящая карьера. Она уже знала об успехах Николая, и еще не далее как накануне одна из ее светских приятельниц поздравляла ее и сулила Николаю в близком будущем очень видное служебное положение. И слова эти были вовсе не желание сказать что-нибудь приятное матери о сыне. Катерина Михайловна знала, что если ее «bonne amie» так говорит, то уж неспроста, потому что она находится у самого источника... Конечно, это было главное, но ведь и кроме того, отставка и отъезд при таких обстоятельствах — ведь это и есть самый ужасный скандал... Что же может быть хуже этого?!

— Совсем не то! — горячо заговорила она. — Боже тебя избави уезжать — ты этим ничего не исправишь и только погубишь свою будущность! Оставайся, но только будь благоразумен и подумай хорошенько... Да что тут говорить! Я вовсе не хочу тебя раздражать. Я не прошу у тебя никаких признаний... Нравоучений тебе тоже не намерена читать, да ты ведь не стал бы меня и слушать — я тебя знаю. Делайте что хотите, но только будьте осторожны, чтобы не к чему было придраться... А Мари ты успокой и Наташе объясни, что пуще

всего она должна стараться поддерживать с нею добрые отношения. Конечно, теперь это трудно, но умная женщина всегда сумеет... Да, друг мой, что делать! Теперь ты видишь сам, как я была права, не одобряя твоего раннего брака! А того, что сделано, не воротись... Mais en tout cas il faut sauver les apparences!..

Николай весь дрожал, вслушиваясь в слова матери. Наконец он не выдержал:

— Что вы такое говорите? Я ничего не понимаю!..

Катерина Михайловна не смутилась.

— Это твое дело, захочешь — поймешь. И все теперь, все зависит от вас, и больше, знай раз навсегда, я с тобой ни о чем таком говорить не стану... И вида не подам. Но если вы не боитесь скандала и прямо на него идете — этого я не потреплю.

Николай взглянул на мать с ужасом и едва удержался от взрыва негодования.

— Как можете вы так говорить со мною и давать мне такие советы? — наконец произнес он. — Завтра же я подаю в отставку...

— Опомнись! — воскликнула Катерина Михайловна, совсем уже испуганная выражением лица Николая. — Я думала, что ты все же хоть немного да благоразумен, mais je vois — tu perds complaitement la tête!.. Советую прийти в себя — тогда, может быть, и сообразишь, что только благодарен мне должен быть за то, что я так говорю с тобою, — другая мать, на моем месте, не так бы говорила...

— Да, не так!.. — прошептал он и поспешил скорее от нее...

Он шел, не замечая, куда идет, и очнулся только в библиотеке. Он увидел перед собою бледное лицо Наташи с лихорадочно блестящими глазами.

— Наташа, — сказал он унылым, но твердым голосом, — наконец я решил то, что давно уже должен был решить: я уезжаю...

Она подняла на него глаза, он не мог вынести этого мучительного взгляда и опустил голову.

— Куда же ты уедешь?

— Куда? Я почему знаю... Да разве это не все равно?

— Нет... Нет, это не то, и я совсем не то хотела спросить тебя...

Николай, слушай...

Она подошла к нему.

— Слушай... Поклянись мне, что если ты уедешь, если тебе станет очень тяжело, ты все же никогда, никогда не покончишь с жизнью...

Он вздрогнул. Каким образом мысль о самоубийстве, вставшая вдруг теперь, вот сейчас перед ним, стала ей известна?

А она повторяла:

— Поклянись мне, что ты не убьешь себя... Поклянись!..

Они не слышали, как дверь в библиотеку отворилась, и не заметили, что в то время как она произносила последние слова, рядом с ними был Сергей.

## XXII. БЕЗ ВЫХОДА

В эти четыре дня, с приезда в Петербург, между Сергеем и Николаем буквально не было произнесено ни слова, они даже ни разу и не находились вместе. Впрочем, и никто не видал Сергея. Он уезжал утром и возвращался среди ночи. Он побывал у всех своих старых приятелей, очутился в прежнем офицерском кружке и убивал время за картами, в попойках, в посещениях тех неведомых полиции мест, куда можно входить только с очень туго набитым карманом и «с особенной рекомендацией». Сергею такая рекомендация оказывалась излишней — он издавна был везде своим человеком.

Теперь его уже не томила скука — томило другое, он понял, что значит тоска.

Порыв бешенства, вызванный в нем признанием Наташи, прошел бесследно, но не проходила вспыхнувшая к ней страсть. Он любил теперь ее как никогда еще никого в жизни, и она была его жена, она принадлежала ему по всем человеческим правам, а он знал, знал наверно, что любит ее безнадежно, что потерял ее навсегда. Он много думал об этом и еще больше чувствовал, и вдруг он понял, ясно и окончательно, что ничего теперь исправить не может.

И когда он это понял, то, несмотря на всю свою страсть и тоску, перестал винить и Наташу и брата. Он «отошел», оставил Наташу на свободе, без упреков, без объяснений и сцен, а сам жил день за днем, стараясь только забыться.

Теперь он как-то случайно заехал среди дня домой и еще более случайно зашел в библиотеку. Он слышал не только последние слова Наташи, но и весь разговор ее с Николаем.

Он видел, как брат вздрогнул, как он опустил глаза, заметив его присутствие, видел, какой ужас изобразился на лице Наташи, как она, шатаясь, вышла из библиотеки...

Николай остался. Вот он, наконец, глядит на него... Но что это? Он едва узнал брата — такое у него измученное, изменившееся лицо, такие страшные глаза...

— Ты слышал... Я уезжаю... — проговорил Николай.

Он ничего не ответил.



— Но нет, ведь это невозможно так, — вдруг отчаянным стоном вырвалось из груди Николая. — Брат!.. Если я виновен в том, что не заметил, как подкралось это безумие, что не задушил его в себе... Моя казнь началась и ей конца не будет... Но так расстаться с тобой я не могу... Не могу!.. Если б ты мог понять, какое во всем этом ужасное, непостижимое противоречие!..

— Я знаю это! — тихо и грустно сказал Сергей. — Я не виню тебя теперь... Ты едешь... Конечно, уезжай, если хочешь... Только ведь это все равно — ты ничему не поможешь своим отъездом...

И эти два человека, хоть и ничуть не похожие один на другого, но всю жизнь прожившие рядом, с детства привыкшие любить друг друга, замолчали и разошлись как чужие...

Между тем Наташа едва нашла в себе силы дойти до спальни и бросилась на кровать совсем разбитая, с горящей головою, вся в лихорадке. Она закрыла глаза, и через несколько мгновений ей показалось даже, что она засыпает.

Но это был не сон и даже не забытье, хотя все окружавшее исчезло и забылось.

Перед нею был только Николай.

«Дорогой мой, — шептала она, — что же делать? Я не виновата... Ты терзаешься... Ты страдаешь... — и я не могу тебя успокоить... Ах, если бы могла я... я бы сделала все... Все, чтобы только у тебя не было грустных, мрачных глаз... Этой печальной усмешки, которая каждый раз разрывает мне сердце... Милый, если бы я только могла, я бы стала ласкать и целовать тебя до тех пор, пока бы ты не улыбнулся мне весело и счастливо... Пока бы твои глаза не блеснули тем светом, который я видела в них когда-то, а теперь давно так не вижу... Милый мой, я бы отдала тебе всю душу, всю жизнь... Каждая мысль была бы о тебе, и ты бы узнал, что я совсем не такая, какой кажусь... Ты бы узнал, что я умею любить до самозабвения...»

«О, я не стала бы тебя мучить ни любовью своей, ни ревностью... Не стала бы тебя преследовать, не давать тебе покоя... Я бы говорила тебе, что надо жить не только для себя, но и для других, и уж, конечно, не стала бы мешать твоей жизни... Но я не упустила бы ни одной минуты, когда могла бы тебе быть нужной... И ты нашел бы меня всегда возле тебя... И я бы выучилась понимать каждую твою мысль...»

«Уж давно я слыхала, что у тебя тяжелый, дурной характер... Но я никогда этому не верила... С первого дня не верила и теперь знаю, что тебя никто не понял... И теперь могу только удивляться твоему терпению с ними... Я бы никогда не рассердила тебя... Да... Да... Я сумела бы сберечь тебя...»

«И ничего я не могу... и нельзя!.. И я не должна... не смею даже о тебе думать... Да нет же, нет, кто запретит мне это? Кто имеет такое право? Я люблю тебя... Люблю!..»

Она открыла глаза, слезы так и лились одна за другою, тихие, мучительные слезы... Ее охватила такая безнадежность, жизнь показалась ей такой невыносимой... Страстное чувство, охватившее ее всю, возмутилось, и она говорила себе:

«Да к чему же это все? Что все это значит? Почему только они правы? Почему мы должны погибать?.. Есть другая жизнь — и она возможна... Уйдем... уйдем, бросим их... Посмеемся над ними... Разве они чего-нибудь другого стоят... Уйдем на край света, уйдем!..»

Она как бы пришла в себя и ужаснулась своим мыслям... В ней было теперь два существа, будто две души, два сердца, два рассудка — и эти два существа отчаянно боролись друг с другом. И она чувствовала каждый удар этой борьбы, и каждый удар потрясал ее и доводил до изнеможения...

Вот она ясно слышит строгий и неумолимый внутренний голос. Он повторяет ей давно знакомые слова: нравственность, долг, таинство, нарушение клятвы... Слова эти звучат ей приговором, и она немеет и замирает перед ними...

Но поднимается другой голос и шепчет:

«Все это здесь, все это для жалкого земного существования... А что оно такое это существование, когда за ним — бесконечность жизни? Кратковременная неволя, быстро мелькающие, как тень, как призрак, месяцы и годы... Терпеливо носи свои оковы и жди... Они спадут — и ты поймешь тогда все, что кажется теперь непонятным и несправедливым, жестоким и горьким. Поймешь, откуда взялось то, что ты называешь горем и мукой, и зачем оно было неизбежно... И ты благословишь свое горе и свою муку за то, что они омыли и расправили твои загрязненные крылья... Ты оставишь здесь все, без сожалений и тревоги, и унесешь с собой только лучшие мгновения, только чистые грезы, унесешь с собой и любовь свою, но очищенную

от земной грязи — и сам ты ее не узнаешь- так будет она светла и радостна, и уж не помрачит ее никакое грубое прикосновение».

Под шепот этого голоса Наташа затихла и ушла от действительности.

Можно себе представить, как прошел этот день в старом горбатовском доме и тем более, что единственного человека, могущего хоть несколько облегчить положение некоторым из лиц этой глухой семейной драмы, не было — Борис Сергеевич уехал с утра и должен был вернуться только к вечеру. Он обедал у одного из оставшихся в живых друзей его молодости, у князя Вельского.

Николай никуда не уехал. Он провел весь день у себя в рабочем кабинете, не вышел к обеду. Он не мог ничего есть, не мог никого видеть. Он велел принести себе черного кофе, всегда на него хорошо действовавшего, и сидел, куря сигару, перед своим бюро, машинально разбираясь в бумагах, перечитывая старые письма, которые он теперь даже и не понимал. Но ему нужно было что-нибудь делать.

Вдруг, это было уже в послеобеденное время, кто-то постучался в его дверь. Он пошел, отпер и с изумлением увидел перед собою старика Степана.

— Что тебе надо, Степан? — спросил он резким тоном.

Степан на него покосился.

— Простите, сударь, сделайте Божескую милость, простите, что вас потревожил! — с напускною робостью и в сущности не без некоторой язвительности, которой, впрочем, Николай не заметил, проговорил Степан, — запомятовал совсем: Борис Сергеевич...

(Если бы он говорил с Сергеем, то непременно бы сказал «дяденька», но тут, как он сам уверял себя, у него язык не повертывался.)

— Борис Сергеевич, как уезжали, приказали снести вашей милости вот эти тетради, а я и запомятовал, только сию минуточку и вспомнил... уж простите, сделайте Божескую милость!.. Они сказали, что вы изволите знать, что это такое...

Николай взял толстые, переплетенные тетради и сообразил:

— Да, да, знаю... спасибо...

Он запер дверь, положил тетради на стол и просидел несколько минут, опустив голову. Потом машинально раскрыл первую тетрадь, начал читать. Тетрадь была написана рукою Бориса Сергеевича.

Это были сделанные им переводы со старинных буддистских книг, с его объяснениями, примечаниями и тут же, на полях, приведенными им интересными рассказами о том, чего он сам был свидетелем во время путешествия своего по Тибету.

Николай не заметил, как чтение мало-помалу увлекло его, и час проходил за часом, а он все разбирал дядины тетради и до того углубился в чтение, что не заметил, как около полуночи дверь отворилась, заглянула Мари и опять скрылась.

Прошло еще больше часу, а он все читал. Наконец утомление стало одолевать его, он закрыл тетради и хотел было по обычаю потушить лампу и идти в спальню. Но вдруг остановился:

«Туда? Теперь? Нет, ни за что!» Ему невыносимо тяжело было видеть Мари, и особенно теперь, когда им принято было бесповоротное решение.

Он подошел к большому турецкому дивану, снял сюртук и лег, решившись провести ночь здесь, не раздеваясь. Он закрыл утомленные от долгого чтения рукописи глаза и лежал, прислушиваясь к тому, как тикают, обгоняя друг друга, часы на камине и на бюро.

Минуты проходили, он никак не мог заснуть.

Вот скрипнула дверь, он открыл глаза — в кабинет входила Мари. Он сделал над собою мучительное усилие и закрыл глаза снова, притворившись спящим.

«Авось она уйдет, авось не решится тревожить, оставит...» Он чувствовал себя совсем не в силах говорить с нею.

Но Мари прямо подошла к дивану, на котором он лежал, остановилась, прислушалась.

— Николай!

Он не шевельнулся. Тогда она стала будить его до тех пор, пока он, наконец, не поднялся, трясаясь как в лихорадке.

— Что такое? Что? Мари, оставь меня, пожалуйста... Я ужасно устал и хочу спать! — сказал он.

Но она проговорила спокойным голосом:

— Уж два часа! Ты заснул здесь в кабинете, не раздеваясь... Приди в себя, потуши лампу, иди спать...

— Да ведь я спал, зачем же ты меня разбудила? Ну, хорошо... я скажу тебе, я нарочно здесь остался, потому что должен быть сегодня один. Завтра... завтра поговорим.

— А, так вот что! — произнесла она. — Но ведь мы не свободны в этом доме и поневоле должны соблюдать приличия... А ты будто нарочно это делаешь для того, чтобы бросилось в глаза всей прислуге... для того, чтобы Бог знает что стали говорить...

Он встал с дивана и нервно заходил по комнате.

— Господи, пытка какая! Да что говорить? Пусть говорят! Хуже того, что есть, ничего не скажут... Оставь меня, уйди, умоляю тебя!..

Однако Мари была не та, какой он знал ее до сих пор. Уж если она не заснула до двух часов, дожидаясь его, если она решилась прийти сюда, очевидно, для тяжелого разговора, она, бывшая всегда готовой согласиться с чем угодно, лишь бы избежать неприятных объяснений, лишь бы ее оставили в покое, так с ней трудно было спорить.

— Я не уйду! — сказала она. — Выслушай меня... К чему ждать, и теперь нам никто не помешает. Я хотела избежать этих ужасных разговоров, но нельзя... все стало так невыносимо, и я вижу, что такая жизнь не может продолжаться!.. Да ты сам — неужели считаешь ее возможной?

— Конечно, нет! — выговорил он.

— Так, значит, надо же на что-нибудь решиться...

— И я уже решился... Я завтра утром подам прошение об отставке — и уеду.

— Как? Что? — переспросила она, невольно бледнея. — Уедешь... навсегда?

— Боже мой, почему же я знаю?

— Послушай! — едва слышно начала Мари. — Я ни в чем не хочу упрекать ни тебя, ни других... это бесполезно... но подумай, прежде чем решиться на такой шаг, который будет бесповоротным, не для себя я прошу, а для Гриши... Неужели ничего, как есть ничего не осталось от прошлого?

Ей, очевидно, было трудно говорить и связывать мысли. Она остановилась и заплакала, но так тихо, беззвучно.

— Мари! — воскликнул Николай, схватывая и крепко сжимая ее холодную руку. — Как ничего не осталось от прошлого? Все осталось — и в этом мое невыносимое мучение... Я еду потому, что иначе нельзя... и ты знаешь почему... Но как я объясню тебе, что я люблю тебя теперь, может быть, больше, чем когда-либо, что ты мне и дорога,

и близка, что я чувствую и всегда буду чувствовать мою неразрывную связь с тобою... Это, может быть, безумие, но это правда!

Она широко раскрыла глаза. Ее слезы остановились. Что такое он говорит?.. Любит! Он ее любит! Она близка, дорога ему! Неужели есть надежда?.. Или он смеется над нею, или он лжет?

Но она ведь знала, что так смеяться он неспособен, знала, что он никогда не лжет.

— Николай, — прошептала она, — так что же? Зачем же тогда все это?

Ее голос поднялся и зазвучал страстными нотами.

— Я забуду все, все как будто его никогда и не бывало... Я могу это, могу!.. Уедем вместе, с нашим мальчиком... Ты увидишь — все будет новое... Я уж не та, что прежде... Я сумею теперь любить тебя... Уедем...

Он оставил ее руку и глядел на нее тусклым взглядом...

— Это невозможно...

— Значит, ты ее, ее любишь! — простонала Мари, хватаясь за голову. — Зачем же ты сейчас так безбожно солгал мне?

— Я сказал правду... и я знал ведь, что ты не можешь понять меня!

— Кто же может понять?.. Так, значит, все кончено?

Он ничего не мог ей ответить.

— Прощай! — едва выговорила она.

Сдерживая рыдания, она вышла из кабинета и заперла за собою дверь.

Он остался посреди комнаты и долго-долго стоял так, совсем подавленный безысходной, гнетущей тоскою...

## XXIII. НОВЫЙ ПЛАН

Катерина Михайловна ошибалась, воображая, что старый Степан непременно донес Борису Сергеевичу о визите Шапского в Горбатовское. Если бы он захотел это сделать, то, конечно, сделал бы уже давно.

Но дело в том, что Степан решил никакими домашними делами не досаждать своему барину. Уж больно плохи были эти дела и толковать о них — значит, понапрасну только мучить Бориса Сергеевича. Изменить ничего нельзя, помочь ничему нет никакой возможности — остается только махнуть рукою.

Степан даже уж и пробовал махать рукою, да и это оказывалось не так-то легко.

«Нечего сказать, на хорошие дела приехали! Просто не глядели бы глаза, не слушали бы уши. В тысячу раз лучше было бы оставаться там, в Сибири, потому что если там и выходило что-нибудь неладное, если и творили соседские людишки какие ни на есть пакости, так ведь то были чужие люди, по большей части даже нехристи, татарва азиатская... Делает он что-нибудь неладное — для него же хуже, и только... Да и то, опять надо сказать, что, конечно, в семье не без урода, есть и там негодяи, и разбойники часто, но хороших людей все же больше...»

Степан оставил там даже истинных приятелей, о которых теперь нередко вспоминал с грустью и любовью, несмотря на то что у приятелей этих глаза были как щелки, нос пуговицей, скулы шишками, а бороденка словно реденький конский волос...

«Вот и в Христа Спасителя не веруют, — думал об этих своих приятелях Степан, — и болвану, прости Господи, какому-то шестирукому заместо Бога молятся, а душа-то ведь чистая, сердце справедливое да жалостливое, совсем настоящие хорошие люди!»

«А тут — что же такое? Просто сердце кровью обливается... Ведь это что же... ведь это все господа наши, Горбатовы, от крови Сергея Борисовича да Татьяны Владимировны... так, по крайности, про всех про них значится, а просто срам и позор!.. Ох, уж и припекут же тебя на том свете, матушка Катерина Михайловна! За все ответ дашь, от

тебя все это происходит... ты все это в семью нашу господскую пустила!..»

Степан отлично все замечал и видел, и ничего не ускользало от его проницательного взгляда из того, что творилось за это лето в Знаменском и Горбатовском. Узнал он всю подноготную «настоящего» барина, как он называл Сергея Владимировича. Узнал про все его шашни и непотребства и по соседству, и в доме — с этой «вертихвосткой Лилишкой». Не ускользнуло от него и то неладное, что творилось промеж Николая Владимировича и Наташи.

«Как есть, как есть наказание Божье! — говорил он сам с собою. — А мы (он подразумевал Бориса Сергеевича) как раз на все это и приехали, видно, мало нас судьба гнала, видно, мало своего горя натерпелись — вот и в чужом пиру похмелье. Да и опять нельзя сказать, что пир чужой, ведь свой пир-то!.. Вот и спокойствие на старость... И дурак же я, дурак, что уговаривал из Сибири сюда ехать... Да неужто можно было такого ждать!»

Приезд Щапского в Горбатовское окончательно сразил Степана. Он как увидал его да узнал, еле совладел с собою, Бог знает что он бы дал, чтобы только возможно было хорошенько его побить, ну не до смерти — это все же грешно, а так, чтобы навсегда помнил этот неожиданный гость.

«Не издох еще до сих пор!.. Ведь это что же такое! Ведь теперь сраму не оберешься! Ну да, авось показал нос — и провалится, не очень-то засиделся, видно, не больно хорошо его приняли... авось не покажется... И счастье еще, что Бориса Сергеевича нету дома — не выдержал бы он».

И Степан, по долгим рассуждениям, решил молчать перед Борисом Сергеевичем.

«Нечего расстраивать его, коли сам что видит и знает — с этим уж нечего делать, а подбавлять ему горя на старость лет не стану».

Вопреки своему обычаю он весь конец лета в Горбатовском и теперь, в эти первые дни по приезде в Петербург, не вступал со своим баринком ни в какие интимные разговоры...

Но если Катерина Михайловна ошибалась относительно Степана, она нисколько не преувеличивала опасности, грозившей со стороны Щапского. И этого мало, она даже не могла себе представить, до какой степени эта опасность велика.



Щапский, очевидно, приехал в Петербург с тем, чтобы здесь поселиться на долгое время. Он нанял себе квартиру на Конюшенной улице и жил важным барином, как уже отвык было жить в последние годы, скитаясь за границей и терпя неудачу за неудачей. Квартира его была меблирована и отделана самым изысканным образом. На конюшне стояла четверка лошадей, а в сарае помещались превосходные экипажи.

Все это было приобретено в кредит. Граф Щапский умел пустить пыль в глаза. Получив деньги от Катерины Михайловны, он замазал немного рты своих поставщиков и мало-помалу совсем обжился в Петербурге.

Он разыскал всех оставшихся в живых старых знакомых и приятелей. Его видели в Английском клубе и театрах. Его снова приняли в обществе, и никому в голову не могло прийти, что это человек, единственно благодаря случаю не находившийся в Сибири на каторге, что это человек, сыгравший хоть и тайную, но очень значительную роль в польском восстании, крупно замешанный во всевозможных неблагоприятных проделках за границей, имевший дело с итальянской, немецкой, французской и английской полицией. Да и теперь он явился в Петербург после самой наглой проделки с юным и недалеким, поддавшимся ему богатым французским маркизом. Он чуть было не пустил этого маркиза по миру. Но с некоторого времени судьба была против него. Его плутни раскрылись, и только благодаря своей находчивости он вовремя исчез из Парижа и очутился в Петербурге...

С каждым днем настроение его духа становилось веселее. Он делался самоуверен, и хотя значительно уставший и измотавшийся, но еще раз с доверием отнесся к своим силам и к своей счастливой звезде.

«Еще можно пожить!» — думал он, возвращаясь вечером на своих рысаках из клуба или от знакомых.

Он был уверен теперь, что еще раз всех проведет и надует. И всех, кого только захочет, заставит служить своим целям.

«Все они будут у меня в руках! Все!.. Еще как здесь отлично устроюсь!»

Он заранее намечал свои будущие жертвы. Одна уже попалась. Он несколько ошибся в расчете, так как не знал, что Катерина Михайловна

разорена, но все же не отказывался от мысли получить от нее, хоть и с некоторой проволочкой, всю назначенную им сумму.

А потом, когда сумма эта получится, можно будет и еще попросить надбавку.

Но этого мало — у него теперь созрел новый план: он решился играть в двойную игру, и вместе с Катериной Михайловной сделать своим вечным данником и Николая...

И вот этого-то никак не могла подозревать, никак не могла додуматься до этого Катерина Михайловна. А между тем отвратительный план совсем уже был готов в голове Щапского.

Он успел навести все необходимые справки, подробно разузнавал обо всех отношениях и связях Николая, об его характере. Приятели и знакомые Николая, довольно плохо его понимавшие, представили его Щапскому человеком очень гордым, даже преисполненным высокого мнения о себе и непомерно кичащимся своим знаменитым именем.

Кто-то сказал ему:

«Николай Горбатов считает себя так высоко стоящим, что даже не заботится о служебной карьере, которую он мог бы легко сделать, так как, когда захочет, то он человек ловкий и способный. Но ему кажется, что для Горбатова не нужна никакая карьера, что она ничего нового не даст ему...»

Щапский так и впился в эти слова. Узнав, что Николай уехал из деревни и находится в Петербурге, он сделал ему визит.

Николай, погруженный в себя, переживавший тяжелые дни, был в этот час более еще мрачен и раздражителен, чем когда-либо. Он принял Щапского с холодной любезностью и после недолгого разговора оправдал в глазах его мнение, им о нем сделанное согласно полученным сообщениям.

Николай не торопился отдать визит этому новому знакомому, хотя новый знакомый и отрекомендовал ему себя старым другом и почему-то даже товарищем покойного Владимира Сергеевича. Но все же, как-то вспомнив о Щапском, он забросил ему свою карточку.

Щапский, возвращаясь домой и найдя эту карточку у себя на столе, скривил губы в усмешку.

«Гордец... Пренебрегает мною... Но ненадолго!..»

Он никогда до этого возвращения в Россию не думал о своем сыне и теперь, увидав его, не почувствовал к нему никакой любви, а

напротив, как это ни странно, почувствовал к нему скорее ненависть за эту мнимую его гордость, за это казавшееся ему презрение к нему...

Если бы какой-нибудь друг, которого у него, впрочем, никогда не было, спросил графа Щапского в откровенную минуту относительно его мнения о самом себе, он, наверное, сказал бы про себя:

«Я умный человек!»

И при этом прибавил бы:

«И не злой, нисколько не злой».

Он бы сказал это совсем искренно, так как, действительно, считал себя, по преимуществу, умным человеком, а о злобе и доброте не имел даже ясного представления.

Если бы спросить его, считает ли он себя счастливым или несчастным, он, вспомнив всю свою жизнь, крайне разнообразную и до последних лет исполненную всяких успехов и удач в достижении задуманных целей, все же должен был бы согласиться, что он человек несчастный. Это была правда.

Щапский не знал ни отца, ни матери. Они умерли, когда он был еще ребенком. Он вырос и воспитался в руках иезуитов, и они подготовили в нем деятеля по своему вкусу. Они не раз потом употребляли его для своих целей и почти всегда удачно.

Конечно, в природе его были уже известные задатки, но школа тщательно развила эти задатки. Он вступил в жизнь еще неопытный, еще ничего не испытывавший, но уже заранее приученный презирать людей, глядеть на них как на живой материал для построения разных хитрых комбинаций, как на одно из средств к достижению земных благ. А в обладании этими земными благами для него, собственно, и заключалась главная цель жизни, ее здравый смысл.

И вот теперь, когда уже пришла старость, когда тело, бывшее для него всем, так им любимое порядком уже изнашивалось и даже становилось ему порою в тягость, он не имел главнейшего, почти единственного утешения, остающегося старым людям, не имел теплых воспоминаний.

Он никого не любил в жизни, ни за кого не страдал, никому не пожертвовал ничем. И, несмотря на то что он считал себя умным человеком, для него оставался непонятным и закрытым целый разнообразный и могучий мир, при понимании которого только и может жить человек полной человеческой жизнью. Но ему, не

знакомому с этим миром, оставалось видеть в жизни единственно борьбу за существование, торжество грубой силы, хотя он и называл эту грубую силу разумом.

Немудрено, что такой человек не выделял своего сына, положим, незнакомого ему и не знавшего о своем родстве с ним, но все же сына, из среды всех прочих людей, почитаемых им пешками.

Вовсе не сознавая всей гнусности и неестественности своих поступков и планов, он решил воспользоваться этим сыном, как пользовался и другими.

Он сказал себе:

«Я его заставлю служить мне!»

И ему теперь казалось, что ничего нет легче, как исполнить это: стоит только открыть сыну истину, стоит ему доказать, что он его отец и что он может, в случае чего-либо, заставить говорить об этом весь город. Этот гордый, чванный человек придет в ужас и готов будет, конечно, на что угодно, лишь бы дело оставалось тайным...

Как? Он, носитель старинного, знаменитого имени — и вдруг превратится в незаконного ребенка, в «притчу» всего высшего общества!..

Нет, он не вынесет всего этого! За сохранение тайны он отдает все — и тогда можно будет пользоваться и матерью, и сыном. Если у матери нет денег — найдутся у сына, если она не сумеет достать — сумеет достать он, благо, у них теперь в руках этот глупец-дядя, этот возвращенный декабрист. Они разорены, но он богат, страшно богат, несмотря на то, что уменьшил теперь свое состояние, отпустив на волю своих крестьян и наделив их землею. Пусть он доставляет им средства!..

Теперь и он, этот Борис, превратится для него в пешку — и он будет им пользоваться.

План быстро созрел во всех мельчайших подробностях, и Щапский решил, не откладывая, привести его в исполнение.

## XXIV. ОДНО К ОДНОМУ

В это время Борис Сергеевич был занят делами своего нового племянника, Михаила Ивановича. Конечно, он уже ясно видел, что для этого племянника было бы гораздо лучше оставаться в неведении истины. Он мог бы и так быть ему полезным, не отравляя его спокойствие, не лишая его той почвы, на которой он вырос и уже, по-видимому, укрепился.

Он продолжал негодовать на старика Прыгунова, начавшего так хорошо дело и так его испортившего. Но, по своему обыкновению, он и виду не показал Кондрату Кузьмичу и сам же его успокаивал. Прощаясь с ним, он заставил его принять значительную сумму денег «за все хлопоты и за успешное окончание дела».

Кондрат Кузьмич думал было даже отказываться, найдя, что сумма эта чересчур велика, но Горбатов умел в таких случаях настаивать, да и потом, Кондрату Кузьмичу пришли на ум все его хозяйственные потребности, нытье и убеждения жены, в которых было много правды, наконец, появление в доме окончившей институтский курс дочери — ведь нужно же было ее экипировать, побаловать!.. Скрепя сердце, он принял деньги.

Он был очень мрачен эти последние дни пребывания Бориса Сергеевича в Москве, все вздыхал, дома ни с кем не говорил и находил единственное утешение в своей приходской церкви, в исполнении обязанностей церковного старосты...

«Да, все это дело повернулось совсем не так, как бы следовало — но сделанного не воротишь!» — думал Борис Сергеевич и решился во что бы то ни стало принести Михаилу Ивановичу как можно больше существенной пользы.

Для того чтобы понять, в чем должна заключаться эта польза, он должен был, прежде всего, поближе познакомиться с Михаилом Ивановичем. Он это и сделал в последние дни своего пребывания в Москве. Они были почти неразлучны и, по крайней мере, у Бориса Сергеевича явилось удовлетворение, что он нашел племянника своего совсем хорошим, а главное, солидным человеком, способным и благоразумным.

«Он не избалован богатством, не испорчен жизнью, страстей особенных у него нет, семейная жизнь его, по-видимому, очень счастлива...»

Но в разговорах с Михаилом Ивановичем он понял, что, несмотря на все это, племяннику многого недостает и, прежде всего, недостает широкой, крупной деятельности. Он подметил в нем наклонности и способности финансиста.

«Ну что же, — говорил он себе, — и отлично, пусть он устраивает свое благосостояние, и для себя и для детей, для будущего, а я ему помогу в этом. Часть моего состояния все равно принадлежит ему. Но так принимать от меня деньги он вряд ли станет, а если я и заставлю его делать это, то во всяком случае, не уничтожив в нем тяжелого чувства. Тут же будет совсем другое. Он сам станет работать, а я только помогу ему, доверю ему известный капитал... Это будет не подарок...»

Вернувшись в Петербург, Борис Сергеевич, с помощью некоторых старых знакомых, навел нужные справки, разузнал подробно о всяких возникавших проектах и кончил тем, что заинтересовал Михаилом Ивановичем некоторых влиятельных людей. Тогда он его стал звать в Петербург.

«Делать нечего, еще предстоит много тяжелого, но уже раз сделана ошибка, возвращаться поздно: Михаила Ивановича не спрячешь. Конечно, тотчас же здесь все поймут, что он мне не просто знакомый. Пожалуй, его моим сыном считать будут!.. Впрочем, это поразительное сходство с братом... А Сергей!.. А Николай?.. А все в доме?.. Ну что же пусть узнают и пусть полюбят Михаила Ивановича, — прежде всего справедливость!.. И, видимо, все это так и надобно было...»

Михаил Иванович приехал в Петербург. Ему пришлось выдержать тяжелую сцену прощания с родными.

Со времени своей давнишней поездки за границу он почти никогда не отлучался из Москвы, и теперь старикам казалось, что уже кончено, что Мишенька для них потерян навсегда, что вот он уезжает и никогда больше не вернется. Ему стоило немалого труда уверить их, что они ошибаются, что он никогда их не покинет. Он объяснял им, что его ждет большое дело, от которого зависит будущность детей.

Они его слушали, соглашались с ним, решались ничего не возражать ему, но внутри себя были такого мнения, «что какой еще будущности? И так все хорошо, средств на все хватит».

Надежда Николаевна сначала было объявила, что ни за что его не пустит одного, что поедет с ним. Ему даже это очень улыбалось, но потом они рассудили, что ей следует остаться со стариками. А если обстоятельства его задержат в Петербурге — тогда будет видно. Она подчинялась благоразумию, но на сердце у нее было тяжело. И хотя она, конечно, доверяла своему Мишеньке, но все же нет-нет а и мелькнет прежняя мысль:

«А что если это на погибель? Что если кончено теперь наше счастье? Если он там меня забудет... разлюбит? Что если у него...»

У нее даже являлась мысль о другой женщине, которая вдруг, может быть, появится и отнимет его у нее... И, главное — ведь она не знала, что там такое, не могла себе представить эту новую его жизнь, эту деятельность, и они представлялись ей какими-то таинственными и страшными.

Как бы то ни было, Михаил Иванович простился и уехал. Он казался бодрым, оживленным и, действительно, был бодр и вступал в новую жизнь с верою в свои силы, готовый к борьбе, к испытаниям. Испытания должны были представиться сразу.

Он знал, что попадет в дом Горбатовых, что встретится со своими родными, с братьями, которых не знал и которые его не знали. Они встретятся как чужие и, вероятно, будут играть комедию друг перед другом. У него невольно пробуждалось какое-то непонятное чувство к этим неведомым братьям.

А что если они отнесутся к нему свысока? И ведь это очень может быть. И, во всяком случае, его положение самое тяжелое, самое фальшивое. Нужно очень приготовиться, чтобы не быть жалким, чтобы не быть смешным, чтобы заставить уважать себя. Но вот ведь это первая проба, первое испытание, и он должен доказать и себе и другим, что в нем есть настоящая сила.

Михаилу Ивановичу было мучительно думать обо всем этом, но он кончил тем, что победил в себе все тяжелые, смущающие чувства, и хотя не без волнения, но с полным самообладанием явился в старый, великолепный дом Горбатовых.

Между тем Борис Сергеевич уже заочно познакомил с ним племянников. Он скрыл от них часть истины. Сделал Михаила Ивановича несколько старше. Эта невинная и необходимая, как ему казалось, ложь тем более была возможна, что Михаил Иванович, хотя и очень крепкий и здоровый человек, все же казался несколько старше своих лет.

Известие о скором появлении в доме нового человека, нового родственника, которого нельзя будет признать, но которого взял под свое покровительство дядя, несмотря даже на тяжелые обстоятельства, удручавшие всех членов семьи, произвело большое впечатление. Это впечатление было даже кстати. Оно хоть на несколько часов заставило всех отойти от своей собственной жизни.

Пуще всех известие это поразило Катерину Михайловну. Ей, в сущности, не было никакого дела, был ли у ее покойного мужа незаконный сын или нет. Хоть десять, хоть двадцать — ей все равно! Но принимать этого сына у себя в доме она не могла...

Между тем Борис Сергеевич прямо сказал ей, что избежать этого, по сложившимся обстоятельствам, нельзя, что он просит ее быть спокойной, и, если ей угодно, ей даже незачем видеть Бородин, но если случайно она с ним встретится, то пусть вспомнит, что ведь он-то ни в чем не виноват.

Он просто Михаил Иванович Бородин и ничего больше, а если ее поразит его сходство с покойным Владимиром, то ей, конечно, нечего этого выказывать. Он ее только должен предупредить об этом сходстве.

Он показал ей даже дагерротипный портрет Михаила Ивановича.

Катерина Михайловна пришла в ужас.

— Да ведь это вылитый, вылитый Владимир! — воскликнула она. — Вы можете делать все, что вам угодно, Борис, откапывать каких хотите... (она хотела употребить резкое слово, но не договорила). Вы, очевидно, желаете скандала... Вы не думаете о положении Сергея и Николая. Делайте что угодно, впускайте в этот дом кого хотите, но меня увольте... я, конечно, к нему не выйду...

Борису Сергеевичу стало неловко. Он видел, что в некотором отношении она даже и права. Но он уже, говоря с нею, переговорил заранее с ее сыновьями, и все было решено.

Едва он от нее вышел, как она предалась своему негодованию. Она была уверена, что он нарочно все это подстроил именно с целью



оскорбить ее, да и не только ее, а и Сергея и Николая. Она была готова заподозрить его в чем угодно.

«Да, да, — говорила она себе, — он только прикинулся. Он вовсе никого из них не любит. Он приехал не для того, чтобы найти семью, а для того, чтобы отомстить!»

До сих пор она была уверена, что ее дети его единственные наследники, что все его громадное состояние, по всем правам, да и по желанию его, перейдет, конечно, к ним. Она боялась сначала за Николая, но, полагая, что комедия, сыгранная ею перед Борисом Сергеевичем, подействовала, успокоилась на том, что он не захочет семейного позора.

А теперь что же это? Может быть, уже он заранее там, в Сибири, решил их всех обмануть и провести. Может быть, у него уже все давно подстроено? Ее дети, пожалуй, ничего не увидят из его богатства: он его раздаст разным найденышам, только чтобы нам ничего не досталось...

Вот уже он начал. Он уже значительно уменьшил свое богатство этим дурацким освобождением крестьян. Теперь является на сцену какой-то будто бы сын Владимира. Может быть, он и есть сын Владимира, и вероятно, не один у него был, но он нашел его и обрадовался...

Теперь он всех их унизит, а этого незаконного сделает своим наследником. Почем знать, может быть, он дойдет до того, что станет хлопотать даже о передаче ему родового имени.

Но тут Катерина Михайловна остановилась, невольно почувствовав, что, кажется, начинает чересчур фантазировать.

«Нет, это было бы слишком... Да и не согласятся. Странно, однако, отчего же он не выдает этого человека за своего собственного сына, — тогда бы ведь ему легче было бы исполнить весь этот гнусный замысел».

Она задумалась над этим и сейчас же поняла отчего:

«Конечно, для того, чтобы окончательно унижить ее и ее детей! Да, да, конечно! Недаром же я всегда сомневалась в его добродетелях».

«Он хитер и страшно зол!..»

И она не замечала, что обманывает сама себя, что именно она всегда была уверена в добродетелях Бориса Сергеевича, в его благородстве. А теперь на нее нашло просто какое-то затмение!..

Чересчур она была измучена, чересчур стала всего бояться и всюду видела против себя враждебные замыслы...

Даже ее здоровье за это последнее время испортилось. Она страдала бессонницей, часто по целым ночам не могла сомкнуть глаз, а если и заснет, то начинают ей грезиться такие страшные сны, что она просыпается вся покрытая холодным потом, в лихорадке, в безнадежном ужасе и отчаянии...

И Сергей, и даже Николай отнеслись совсем иначе к известию о том, что у них есть брат, хотя и незаконный, хотя и такой, родство с которым нельзя будет признать, но все же брат.

Борис Сергеевич, призвав их обоих к себе, откровенно объяснил им все, познакомил их заочно с Михаилом Ивановичем, рассказал всю необычайную историю его жизни и обстоятельства, вследствие которых он находил теперь излишним скрывать от них существование этого человека. Эти обстоятельства были: необыкновенное сходство с их отцом и все последствия непредусмотрительности Прыгунова.

— Вы сами теперь должны понять, — говорил он, — что я не могу принимать таинственного участия в жизни Михаила Ивановича и уж тем менее не могу пренебречь им. Я его полюбил и надеюсь, друзья мои, что и вы его тоже полюбите. Он хороший человек... И ведь как бы то ни было, мы должны быть его родными.

Племянники согласились с дядей.

— Конечно, я мог бы не звать его сюда, — продолжал он, — мог бы оставить его в Москве, но надобно ли это? Мне кажется, что теперь, рано или поздно, вы бы все равно узнали, а я всегда находил, что самое лучшее действовать прямо и открыто...

Он вглядывался в племянников, следил за впечатлением, произведенным на них. Конечно, если бы все это произошло в другое время, они, может быть, были бы поражены и, главное, было бы больше разговоров. Теперь же общее горе если не уменьшало, то все же изменяло впечатление.

И Сергей, и Николай сначала почувствовали себя неловко, но затем решили, что дядя прав, и оба обещали ему отнестись к Михаилу Ивановичу искренно и сердечно.

— Только ведь, надеюсь, не будет никаких объяснений? — проговорил Николай.

— Конечно, конечно! — воскликнул Борис Сергеевич. — Если эти объяснения тяжелы для вас, то для него еще гораздо тяжелее... Ну, спасибо, что вы меня поддержали!.. Впрочем, я в вас не сомневался.

Николай задумался было над этой новостью, но скоро позабыл о ней, снова вернувшись к своей тоске и решимости уехать как можно скорее. Он уже подал в отставку и делал все приготовления к далекому путешествию.

Куда он едет — он еще не знал, он только так собирался, как будто ему уж не суждено вернуться в Петербург. Он весь день не выходил из своего кабинета, там и ночевал...

Сергей же кончил тем, что даже обрадовался этому неожиданному родственнику, — мысли о нем отвлекали его от всех этих «историй», как он, подбадривая себя, сам себе называл то, что творилось теперь у них в доме.

Михаил Иванович в первое же свое посещение дома Горбатовых увиделся с братьями. Это свидание прошло, по-видимому, совсем спокойно. Дядя их познакомил как посторонних людей, они беседовали друг с другом более часу, и Михаил Иванович должен был сознаться, что у него славные братья.

Особенно понравился ему Сергей, крепко-крепко при прощании сжавший ему руку и не раз во время разговора обращавшийся к нему со своей доброй, всех побеждавшей улыбкой.

Только Михаил Иванович был все же в конце концов смущен, он заметил что-то неладное в этом доме, в особенности Николай показался ему совсем странным. Он, конечно, ничего не знал и приписал все замеченные им странности его появлению.

«Это и понятно! — говорил он себе. — И, наконец, никто же не заставляет меня их тревожить. Я не стану бывать у них — вот и все...»

Он, как-то внутренне встряхнувшись, принялся обсуждать все, что слышал от Бориса Сергеевича, все, что относилось к его собственным делам.

На следующий же день, в сопровождении дяди, он сделал визит к некоторым лицам, от которых зависел успех его начинавшейся деятельности. Он держал себя с таким тактом, выказал в обращенных к нему разговорах такую ясность мысли, такой практичный склад ума, что произвел на всех самое выгодное впечатление.

Он первый же и заметил это и решил, что начало хорошо.

От волнения он не спал почти всю ночь и то и дело заставлял себя на размышлениях о том, какие результаты, какие выгоды и барыши может принести такое-то и такое-то из дел, о которых с ним в этот день говорили.

«Не о хлебе едином жив будет человек!» — вспоминались ему слова Капитолины Ивановны, но он только снисходительно улыбался этому воспоминанию — и оно исчезло.

Он чувствовал, что у него вырастают крылья.

## XXV. ПРИЗЫВ

Покончить с собою, насильственно прервать свою жизнь — вовсе нетрудно, когда эта жизнь стала в тягость, когда чувствуется невыносимая, мучительная усталость, когда слабы нравственные силы. Минута отчаяния, минута самозабвения — все как в тумане, будто какая-то посторонняя, соблазняющая сила подталкивает руку... Один шаг, одно движение... Всего только одно, одно движение — и кончено!.. И уже назад нельзя!..

Страдание! Но о нем не думается, и оно мгновенно, а за этим мгновением конец всему — тоске, усталости, слабости!..

Умереть нетрудно, но пережить известные минуты, часы и дни иногда требует от человека огромной затраты нравственных сил, и после такой затраты человек выходит совсем преображенным. А потом, через долгое время, когда уляжется старое горе, вспоминая его, невольно приходит вопрос: да откуда же взялись эти силы? Как можно было пережить эти минуты, эти невыносимые ощущения? Как они не уничтожили, не сломили организма, как выдержал мозг, как не разорвалось сердце?!

Николай переживал теперь именно такие минуты, часы и дни. Какой-нибудь благоразумный, хладнокровный человек скажет:

«Уж будто его положение было так невыносимо? Что такое неудачная любовь в борьбе с долгом? Мало ли у кого бывает неудачная любовь, мало ли кто отказывается от призрака счастья, сознавая долг, а иногда даже и просто следуя советам рассудка, благоразумия!.. И люди от этого не ищут смерти, не сходят с ума!.. И даже такого человека, как Николай, и жалеть нечего. Кто же виноват, что он рано женился, кто же виноват, что он носит какой-то раздвоенной, непонятной любовью к двум женщинам? Если он борется со своим сердцем, если не поддается своей страсти — ну, и прекрасно, так и следует!..»

«Кто же виноват?» Конечно, никто не виноват, да никто никого и не винит — не винил и сам Николай. Дело не в обвинении, а в болезни, в муках...

Николай был серьезно болен, болезнь его подготовлялась годами, и теперь, очевидно, должен был произойти с ним кризис, перелом в его

жизни. А что страдал он глубоко — в этом не могло быть сомнения, и в страданиях его не исключительно была причиной та стихийная сила, которая иных людей даже и совсем не касается в течение жизни, других едва затрагивает, а третьих ломает, стихийная сила, называемая страстью любви, страшно могучая сила, наполняющая всю природу, вечно живая, несмотря на пренебрежительные гримасы охладевших, остывших, недоступных уже для нее организмов, вечно живая распорядительница природы...

Николай уже выдержал первый натиск этой силы — и устоял. Он хорошо знал, что не для него не раз грезившееся ему блаженство, он видел ясно, что не для него даже и те скромные обрывки счастья, которые казались возможными еще так недавно.

С Наташей он уже простился, но ему приходилось проститься со всеми и со всем, что ему было близко и дорого, и он все мучительнее чувствовал, до какой степени все это ему близко и дорого. Так что ж? Кто же велит? Надо расстаться с Наташей — и оставить себе все остальное, то есть, конечно, прежде всего Мари и Гришу — если они, действительно, дороги!

Ну что ж делать, если эта здравая, по-видимому, логика оказывалась для него неприменимой? «Так, значит, он сошел с ума!..» Если бы кто-нибудь ему сказал это, он, конечно, не стал бы спорить...

Прошло несколько дней. Он уже почти устроил свои дела... Еще неделя — и он уедет. Он бы мог уехать, если бы хотел, хоть завтра, но, сам того не замечая, тянул время, откладывая день за днем, несмотря на всю невыносимую жизнь в этом доме.

Он был как в тумане, но никто теперь не мог заметить его душевного состояния. Его выразительное лицо, обыкновенно выдававшее малейшие ощущения, теперь превратилось в какую-то неподвижную, застывшую маску. Он был похож на автомат и несколько оживлялся только за чтением дядиных тетрадей.

Окончив это чтение, он принес тетради Борису Сергеевичу, и они весь вечер протолковали о необъяснимых явлениях, о которых, главным образом, говорилось в этих тетрадях.

Борис Сергеевич с особенным удовольствием беседовал теперь с Николаем о таких вещах, о которых никогда ни с кем не говорил. Он рассказывал ему о мистических грезах своей юности, о масонских

работах, об изысканиях, произведенных им в Западной Европе, о читанных им старых кабалистических книгах...

— Я имел обо всем этом уже некоторое понятие, — сказал Николай, — но до сих пор думал, что все это только заблуждения человеческого разума, невольно и вечно ищущего таинственности...

— Напрасно думал, — горячо перебил его Борис Сергеевич. — Что истина завернута во всевозможное негодное тряпье — это верно, но кто сумеет хорошенько и терпеливо размотать это тряпье — найдет ее... Я сам, ко времени моей ссылки, был в этом отношении совсем разочарован и до такой степени спутался, что порешил даже навсегда оставить эти занятия. Так и сделал на несколько лет. Но затем, в Азии, совсем случайно, опять попал на ту же дорогу... Я познакомился с одним очень странным человеком, до того странным, что и до сих пор не могу себе объяснить его... Ты уже знаком с ним по этим тетрадам...

— Нур Синг? — спросил Николай.

— Да. Он индус и ведет свое происхождение от какой-то чуть не допотопной царской династии. Я столкнулся с ним во время моего путешествия по Тибету и никогда в жизни не думал даже, что можно встретить такого интересного человека... Каково было мое изумление, когда этот житель глубоких азиатских дебрей совершенно ясно представил мне положение нашей европейской науки! Он говорил со мной несколько часов, и мне казалось, что я слышу самого ученого немецкого профессора, всю жизнь изучавшего философию...

— Он никогда не был в Европе? — спросил Николай.

— Уверяет, что нет, и откуда он всему этому научился, каким способом — он мне не сказал, и это для меня, должно быть, навсегда останется тайной... Потом, убедив меня в своих европейских знаниях, он вдруг выставил передо мною знания совсем иного рода, уже мною почти тогда позабытые, признанные бредом. Правда, кое-что из этих знаний, из этого бреда, навязывалось ко мне снова еще до встречи с ним, в Сибири. Я был в большой приязни с некоторыми буддистскими ламами и, изучая азиатские языки, снова натолкнулся на когда-то занимавшие меня явления. Но все это было очень поверхностно, все это опять-таки можно было свести к фантазии, к суевериям и тому подобному. А вот он, этот Нур Синг, говорил мне совсем иным языком, говорил как ученый каббалист... Я вспомнил многое из своих прежних занятий и, кажется, заинтересовал его. Когда он увидел, что я все же

очень далек от его мировоззрения, он решил поразить меня — и достиг этой цели. Ты знаешь из моих тетрадей о необыкновенных действиях, произведенных в моем присутствии этим человеком...

— Но ведь никакая самая волшебная сказка, — перебил Николай, — не сравнится с тем, что вы описали! Ведь этому никто, никто как есть не поверит!

Борис Сергеевич усмехнулся.

— Конечно, никто не поверит! Поэтому я и не намереваюсь не только печатать эти мои тетради, но и кому-либо говорить о том, что в них написано. Только тебе одному я их дал, и затем они будут лежать под спудом, и никто их не увидит при моей жизни...

— Зачем же вы мне их дали? Разве вы думаете, что только я один могу всему этому поверить?

— Да, я это думаю. Я знаю, например, что вот теперь тебе даже самому кажется, что все это пустяки, что я человек, обманутый ловким фокусником, а между тем внутри тебя говорит что-то, что, может быть, я и не обманут — и тебя все это сильно интересует. Ведь так? Ведь правда?

— Да, конечно, правда. Но теперь я изумляюсь — каким это образом вы уехали из Азии, дядя? Как вы могли покинуть этот мир чудес? Я бы на вашем месте ни за что не вернулся в Россию!

— Кто же тебе сказал, что я здесь навсегда останусь? Я должен был ехать, потому что мне хотелось устроить своих крестьян, и потом — мне хотелось увидеть всех вас...

— Много хорошего увидели! — со вздохом вырвалось у Николая.

— Но все же я не раскаиваюсь в своем приезде сюда, он был моей потребностью, я отогрел свое застывшее сердце... Видишь ли, я неспособен достигнуть высшего равнодушного спокойствия, которое рекомендует мой друг Нур Синг... Я человек земли, и у меня все еще бьется и болит сердце... Но что вернусь еще в Азию — это мною уже почти решено...

Вдруг что-то новое мелькнуло в лице Николая.

Борис Сергеевич заметил это.

— Что? Все еще разбирают сомнения? Не верится?

— Да, не верится! — решительно сказал Николай. — Я не мог оторваться от ваших тетрадей, читал их как описания действительности, а между тем теперь вот, сейчас чувствую, что все



же это для меня сказка. Да и потом — я не вижу конечного смысла этой сказки.

— Вот чего захотел? Так сразу, в несколько дней! Да ведь это целая огромная наука, а если верить Нур Сингу, то надо по меньшей мере семь лет для того, чтобы человека подпустили только к первому порогу знания... Он говорит, что для того, чтобы познать часть истины, недостаточно человеческой жизни...

— Ну, вот видите, вот уж и начинается сказка! Что они ловки, эти азиатские мудрецы, в том не может быть сомнения, очень ловки и даже, может быть, знают то, чего мы еще не знаем, но что во всем этом много шарлатанства и обмана — это, мне кажется, тоже верно...

— Не знаю... не знаю! — повторял Борис Сергеевич. — Да вот постой, я тебе дам еще одну книжку, то есть не книжку, а опять тетрадь, мой перевод, творение одного из их мудрецов. Прочти и скажи, что об этом думаешь...

Получив новую тетрадь, Николай ушел к себе и застал на своем письменном столе ожидавшееся его письмо. Он взглянул — почерк незнакомый. Письмо запечатано какой-то замысловатой гербовой печатью с графской короной.

«Это еще от кого?» — подумал Николай и тотчас же отбросил письмо, не распечатав его.

Он раскрыл дядину тетрадь и начал чтение.

С первых слов мистическая философия Востока увлекла его. Хотя он и объяснил дяде, что все это сказка, но эта сказка очень гармонировала с его теперешним настроением.

Ему казалось, что со строк этой рукописи ему шепчет какой-то тихий, успокаивающий голос, что кто-то ему обещает что-то, подает какую-то неясную надежду.

И он жадно читал.

А между тем лежавшее рядом с тетрадью письмо раз, другой и третий бросилось ему в глаза.

«Что это за печать? Что это за герб?» — подумал он, протянул руку к письму, разорвал конверт, развернул письмо, взглянул на подпись:

«Граф Щапский».

Письмо коротенькое, французское. Николай пробежал его глазами. В письме своем граф Щапский сообщил ему, что им необходимо увидеться без свидетелей, по крайне важному для Николая делу.

«Поверьте, — писал Щапский, — что если бы это дело не было действительно для вас важным, я бы не обратился к вам. И наше свидание должно быть с глазу на глаз. А потому я убедительно прошу вас сегодня вечером ко мне заехать, я весь вечер буду ждать вас».

Николай раздражительно бросил письмо:

«Это еще что за таинственность? И теперь! Очень мне нужно... Бог с ним совсем, ничего не может быть важного, ничего не может быть серьезного...»

Он решил, что не поедет к Щапскому. Наживет в нем себе врага? Ну так что же, пусть. Он до сих пор еще никогда не сделал лишнего шага для избежания вражды. А уж теперь-то — стоит ли об этом думать! Через несколько дней его не будет в Петербурге.

А главное — Щапский ему уж очень не нравился. За его изысканной любезностью он видел что-то до крайности фальшивое. Одним словом, чувство, называемое антипатией, отталкивало его от этого человека.

## XXVI. ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ

Граф Щапский не любил останавливаться на полпути. Решив действовать как можно скорее, он только ждал, чтобы Катерина Михайловна доставила ему деньги.

Собрать пятьдесят тысяч она не могла, но все же послала двадцать тысяч и объявила ему в записке, что раньше как через два месяца у нее больше не будет денег. При этом она просила его не ехать к ним.

«Я больна и не выхожу из своих комнат и все равно никого не могу принять».

Он умел читать между строк, и эта записка убедила его в том, что она не лжет, что она, действительно, больше денег дать не может и что два месяца придется ждать.

Он нашел, что можно дать немножечко отдохнуть матери и что пришло время обратиться к сыну.

Написав записку Николаю, он рассудил:

«Это, конечно, изумит и даже, пожалуй, раздражит его. Если он приедет ко мне — тем лучше, у меня, конечно, всего удобнее нам объясниться. А может быть, он не приедет — в таком случае вина не моя... А что если ему вздумается обратиться за объяснениями к матери?»

Он даже несколько встревожился при этой мысли, но тотчас же успокоился, и даже злая усмешка мелькнула на лице его.

«Ничего!.. Что же она ему скажет? Перепугается, станет выдумывать что-нибудь, чтобы помешать нашему свиданию. Но тогда он уже наверное у меня будет! А если и не приедет и не спросит у матери?.. Тогда я к нему поеду! — решил Щапский. — С такими документами, какие у меня будут в кармане, мне открыта дорога всюду и бояться нечего. Да чего же бояться? Встречи с этим Борисом! Во-первых, я могу выследить, когда его не будет дома, а потом, я и его не испугаюсь, и уж, конечно, из всех один я не потеряю самообладания...»

Есть люди очень злые и очень безнравственные, способные на самые жестокие, на самые грязные деяния, но все же нередко

медлящие приведением их в исполнение, но решающиеся сделать то, чего бы хотелось. Что их останавливает? Конечно, не совесть, а страх перед общественным мнением, перед мнением тех лиц, которые после их деяния, наконец, их узнают и назовут их настоящим именем. А этого настоящего их имени они трепещут и стыдятся. В них говорит не совесть, но остатки совестливости, сознание, что хотя они и поступают известным образом, но поступают дурно.

У графа Щапского такого сознания никогда не было. Он считал себя всегда правым, а что такое значит совестливость — об этом он не имел никакого понятия. Пусть его называют люди как им угодно — все дело в том, чтобы они не имели возможности действительно повредить ему.

Поэтому и немудрено, что, прождав весь вечер Николая и не получив не только его визита, но и никакого ответа, он решился на следующий день сам навестить свою жертву. Катерина Михайловна написала ему, что больна и никого не принимает. Прекрасно! Но он спросит прямо Николая Владимировича и пройдет к нему. А если он не захочет его принять? Тогда он напишет на своей карточке и pošлет ему несколько слов, после которых уж наверно будет принят.

Но этих слов ему писать не пришлось, так как Николай, когда ему доложили о приезде Щапского, велел просить и принял его в своем рабочем кабинете.

— Извините меня, — сказал он, идя навстречу Щапскому, — я получил вашу записку, но не мог быть у вас... Я очень занят... так как уезжаю.

«Глупая отговорка! — подумал Щапский. — Мог бы хоть написать».

Но, взглядевшись в лицо Николая, он заметил его бледность, его совсем расстроенный вид.

— Вы уезжаете? Куда?

— За границу.

— Надолго?

— Не знаю...

«Вот и хорошо, что не стал откладывать», — подумал Щапский.

— Прошу вас, садитесь, граф! Что такое вы имеете мне передать? Я ничего не понял из вашей записки, да и не могу себе представить, что бы это такое было...

Щапский сел в указанное ему кресло и на мгновение задумался. Он еще раз взглянул на Николая. Его бледный, измученный вид снова изумил его, но не возбудил в нем ни малейшего признака жалости.

— Я должен, прежде всего, рассказать вам одну историю, — начал он, — и прошу вас выслушать ее до конца терпеливо, вы увидите, что это необходимо...

— Я вас слушаю! — усталым и равнодушным тоном произнес Николай.

Щапский умел хорошо говорить. Его французская речь была изящна и выразительна.

Он стал передавать Николаю историю любви одной молодой замужней женщины и одного молодого человека. На этот раз ему вовсе не надо было показать себя в настоящем свете. Он, конечно, сегодня не заикнется о своих требованиях, все это придет и выяснится в свое время и даже очень скоро. Но на первый раз он должен сыграть маленькую и очень естественную комедию, представиться нежным отцом, — одним словом, начать с того, с чего он начал в объяснении своем с Катериной Михайловной. Она не поверила, потому что уже знала, с кем имеет дело. Этот поверит, а если и не поверит, так не беда, и там будет видно.

Он рассказывал, тут же и выдумывал ее, горячую историю фатальной страсти. И сам того не подозревая, говорил многое такое, что было именно теперь очень хорошо понятно Николаю.

Николай слушал его красивую речь и невольно отдавался ее обаянию, мучительному обаянию. Он снова переживал все, через что прошел в это последнее время. Мало-помалу он стал так внимательно слушать, что даже сразу ему не пришло в голову, что же это такое ему рассказывают, к чему все это?

Наконец он стал соображать.

— Да кто же эта женщина? — крикнул он, чувствуя как все в нем застыло, как отвращение и ужас мигом его наполнили.

Щапский остановился и вынул из кармана несколько писем.

Катерина Михайловна более тридцати лет тому назад подготовила все это. Перед рождением Николая, капризно влюбленная в Щапского, видевшая, что он начинает охладевать к ней, что он вот-вот, того и гляди, уйдет из ее рук, — она решилась удержать его своим будущим ребенком, его ребенком.

После объяснения с ним, которого невольным свидетелем был Борис Сергеевич, и видя, что Щапский не появляется у них в доме, она каждый день, с настойчивостью своенравной, нервной женщины, посылала ему пламенные письма, и в каждом из этих писем говорилось о будущем ребенке, в каждом из этих писем, бывших, в сущности, повторением одно другого, передавалась на все лады история их любви.

Она обещала посвятить ему всю жизнь, бросить для него мужа, свет, Петербург, уехать за ним куда угодно. Каждое из этих писем было объяснением обстоятельств последующей ее жизни.

Щапский взял с собою всего три-четыре письма из предосторожности. Но достаточно было бы и одного письма — оно все открыло бы Николаю.

— Прочтите это!

Щапский протянул Николаю мелко написанные листки, и рука его дрожала, голос его будто оборвался.

Если бы Николай взглянул на него, он увидел бы, что этот человек как-то особенно на него смотрит — взгляд старика должен был изображать нежность. Но Николай не глядел на него.

— Зачем мне? Зачем читать? Что такое? — не своим голосом говорил он, со страхом и отвращением отстраняя от себя протянутую руку с письмами.

— Прочтите! — повторил Щапский.

И было ли в его голосе нечто особенное, но вдруг Николай, будто не по своей воле, а под каким-то неопределенным давлением протянул руку к письмам, поднес их к горевшей на столе, у которого они сидели, лампе и взглянул. Он тотчас же узнал почерк матери, хорошо знакомый ему с детства по редким, но все же время от времени получавшимся от нее из-за границы письмам.

«Что же это? Лжет он или нет?»

Перед ним мелькнула его первая встреча с Щапским в Горбатовском, странный расстроенный вид матери, какая-то таинственность, бывшая в этом посещении, — одним словом, все то, на что он не обратил внимания, занятый собою и своим горем, но что теперь не могло не броситься ему в глаза.

«Господи! Лучше уж разом...»

Он развернул первое письмо, прочел и уронил его на пол.

Несколько мгновений он ничего не понимал и не чувствовал, будто удар, страшный удар разразился над ним и оглушил его. Когда он очнулся от этого удара, то увидел перед собою Щапского в странной, неестественной позе, как будто стремящегося к нему, как будто желающего вот-вот охватить его и «взять себе», да именно: «взять себе».

И этот Щапский, к которому он с первой же минуты почувствовал антипатию, теперь был ему не только антипатичен, а просто страшен, отвратителен!

— Je suis votre père... vous êtes mon enfant!.. — между тем патетически шептал Щапский.

Но Николай уже и без этого его шепота понимал, что все это значит. И в то же время этот человек казался ему все страшнее, все отвратительнее.

А Щапский продолжал:

— Я давно, давно уже мог бы открыть это тебе, дорогое дитя, но все не решался... Мне было так тяжело... Я не хотел тебя тревожить... Не хотел заставляя тебя переживать эти тяжелые минуты... Но вот не стало моих сил... Я тебя увидел там, в Горбатовском, увидел на мгновение... Мне хотелось принять тебя в свои объятия... Ведь ты один, один, у меня на свете! И я не смел... Ты был для меня чужим...

Николай неподвижно, с опущенными глазами, с безжизненным лицом стоял перед ним. Он продолжал:

— Только тогда я понял весь ужас моего положения. Быть может, я виноват, да, я виноват, но ведь это было заблуждение молодости, это была фатальная страсть, с которой человек не властен... И вот какое ужасное за нее наказание!.. Я стар, я одинок... у меня есть сын... мой... мой сын, единственный дорогой, любимый — и он меня не знает!.. Дитя мое, прости старика... прости мою слабость... Но это было выше сил моих... я не мог... я должен был все открыть тебе... Может быть, ты от меня не отвернешься... Мы будем скрывать от света нашу тайну... Но ты будешь знать, что у тебя отец, для которого ты все, и я... я не буду одинок в мои последние годы, и, умирая, я умру с отрадной мыслью, что добрая сыновья рука закроет мне глаза... Прости же меня, прости!.. И обними, дай мне прижать тебя к сердцу!..

Николай вздрогнул и поднял на него горящие глаза. Он хотел говорить, но язык его не слушался. Он только инстинктивно все

дальше и дальше отодвигался от этого человека, простиравшего к нему объятия.

— Ты уходишь от меня? Ты не хочешь простить отца?.. У тебя нет к нему жалости? — шептал Щапский.

Николай получил, наконец, способность говорить.

— Отец! — проскрежетал он. — Вы у меня все отняли и вы... вы мне отец? Что вы сделали... Где вы были? Кто вы, чтобы я мог назвать вас отцом?.. Я вас не знаю!.. Вы отец!.. Если бы вы были мне отец, вы не пришли бы теперь ко мне... вы бы знали, что вы со мной делаете... вы бы меня пожалели... Но мне не нужна вашей жалости... Я вас не знаю и не хочу знать... Уйдите от меня, уйдите!.. Оставьте меня скорее... сейчас... я вас не знаю — слышите... не знаю!.. Вы не отец мне!..

Как от ужасного привидения он отстранялся от этого человека.

— Уйдите! — крикнул он в последний раз, и такая сила прозвучала в его голосе, что Щапский попятился к двери.

Он понял, что оставаться больше не может, что говорить теперь нельзя. Он уходил. Но, уходя, он бросил Николаю последнюю фразу:

— А, я не отец!.. Ты от меня отказываешься! Ну, так увидишь, я заставлю тебя признать меня...

Он скрылся.

Но Николаю еще долго казалось, что он видит перед собою это ужасное лицо, слышит этот отвратительный голос, чувствует присутствие, давящее присутствие этого человека.

И долго он дрожал всем телом, не будучи в силах собраться с мыслями.

«Отец... он... он отец!» — громко наконец крикнул он.

Его взгляд упал на стол, туда, где должны были лежать письма, но писем не было — Щапский не позабыл унести их с собою.

«И она... она мать моя?»

Вдруг ему пришло в голову:

«Что же, разве я один, ведь много таких... это часто бывает...»

Он вспомнил того человека, которого до сих пор считал своим отцом.

«Ведь я никогда не любил его! Да любил ли я когда-нибудь и мать? Я всегда должен был ломать себя с нею... при ней мне тяжело... всегда мне было тяжело...»



Снова невыносимое, отвратительное ощущение охватило его. Он снова повторял:

«Он... он — отец! Этот ужасный человек... Да кто же я?»

Он чувствовал одно — что этого пережить нельзя и не следует.

«Вот к чему все клонилось, вот в чем исход... Вот что значит вся эта жизнь... Вся эта тоска?!»

У него кружилась, туманилась голова, подкашивались ноги. И вдруг ему ясно послышалось, как чей-то голос над самым его ухом произнес:

«Конец! Конец!»

Он даже оглянулся — но никого не было. Он был один в тихой обширной комнате, бледно освещаемой большой лампой под абажуром.

Со всех сторон его будто стало завлакивать чем-то невидимым, какую-то сеть и стало тянуть куда-то. Он хотел бороться, хотел удержаться на месте — и не мог, и двинулся, шатаясь, к своему бюро, открыл один из многочисленных ящичков, вынул свой всегда заряженный револьвер, потом подошел к столу, к лампе, осмотрел револьвер, взвел курок и приподнял руку...

## XXVII. СЛУЧАЙ

Никакое воображение не может придумать тех, по-видимому, совсем невероятных стечений обстоятельств, какие представляет жизнь, если только внимательно в нее взглядеться. Всего легче назвать эти необыкновенные стечения обстоятельств случаем — «случай — и все тут!». И можно на этом успокоиться.

Но найдется немало людей во всех слоях общества, во всех странах, на всех ступенях умственного развития, которые не признают случая и не верят в это бессмысленное слово. Одни из таких людей случай заменяют понятием Божества, Провидения, другие указывают на психические законы, еще до сих пор очень мало исследованные нами, но все более и более, так сказать, навязывающиеся на исследования, останавливающие на себе внимание непредубежденного наблюдателя жизни.

Без всякого сомнения большинство человеческих организмов остаются глухи и почти нечувствительны ко всему, что касается области духовной жизни. Но вряд ли найдется такой человек, который бы мог сказать искренне, что ни разу не встретился с чем-нибудь странным, непонятным, необъяснимым.

И с другой стороны, бесспорно существуют люди, и их гораздо больше, чем может показаться с первого раза, которые способны ощущать и даже понимать то, чего другие не ощущают и не понимают.

К числу таких людей принадлежал и Борис Сергеевич. С ним иной раз, с самого детства, творились странные вещи, и он поневоле верил, например, в предчувствие.

Вот и теперь с ним случилась странная вещь, случающаяся, однако, с весьма многими.

Он сидел у себя, погруженный в веселые мысли, как вдруг почувствовал необыкновенное беспокойство. Беспокойство это возрастало с каждой минутой, переходило в тоску и, наконец, даже в чисто физическое мучительное ощущение в сердце. Он бросил книгу, которую читал; несколько раз тревожно прошелся по комнате. Но тоска и беспокойство не проходили, и он наконец понял, что это неспроста, что есть что-то особенное, что теперь совершается или

готовится совершиться, что-то важное и близкое ему, какое-то несчастье. Ведь это уже не в первый раз он испытывал именно такое ощущение. Это предчувствие беды, и оно его никогда не обманывало.

Немудрено теперь быть беде, беда висит в воздухе, много бед уже собралось над этим кровом. Но что же еще? Что еще новое?

Внезапно ему пришла мысль о Николае, ему захотелось во что бы то ни стало сейчас, как можно скорее его увидеть.

Он поспешно встал и скорым шагом отправился в комнаты Николая.

Если бы он не нашел его там, если бы оказалось, что он уехал, он бы, кажется, отправился его разыскивать по всему городу.

Он подошел к двери кабинета и быстро, будто его подталкивало что-то, распахнул эту дверь. Перед ним стоял Николай, освещенный бледным светом лампы, с револьвером в руке, с помертвелым лицом и безумными, ничего не видящими глазами.

У Бориса Сергеевича захватило дух. Еще секунда-другая — и он бы опоздал! Он подбежал к Николаю, схватил его за руку, вырвал у него револьвер.

Тот, очевидно, не понимал, что такое происходит.

Но вот он узнал дядю, тяжелый вздох вырвался из груди его.

— Зачем вы мне помешали? — дико озираясь, прошептал он.

— Николай, друг мой, опомнись, приди в себя, собери все мужество, будь человеком!..

Он сам не знал, что говорит, но говорил, не выпуская Николая. Он заставил его сесть и сам сел рядом с ним и продолжал говорить, уговаривать, успокаивать. Крепко его обнял.

Мало-помалу Николай стал приходить в себя, стал как-то отогреваться от этой искренней, горячей ласки, от этого участия...

— Да знаете ли вы, кто был здесь? — выговорил он.

— Кто? Кто был?

— Был мой... мой отец!

— Успокойся! — еще нежнее, еще крепче его обнимая, говорит Борис Сергеевич. — Ты устал, ты измучен, у тебя нервы расстроились... Тебе померещилось...

— Не померещилось... Не с того света отец... Другой отец...

Борис Сергеевич вздрогнул.

— Одумайся, очнись! Что ты говоришь?

— Спросите мою мать, пусть она вам скажет, кто мой отец. Я вам чужой!.. Не родной... О Боже! — простонал он, хватаясь за грудь.

— Да это ложь!.. Не верь... Не верь!..

— Он показал мне ее письма... И потом... Я сам... Нет... Я знаю, что это правда. Зачем вы меня остановили?

Борис Сергеевич припомнил комедию, которую разыграла с ним в Знаменском по его приезду Катерина Михайловна, и теперь сам стал играть ту же комедию, воспользовавшись ее уроком.

Он сделал все, чтобы разубедить его. Он не пожалел его матери, да если бы и захотел, то не мог бы доказать ее невинность, но она сама ему дала возможность поселить в уме Николая сомнение, и Борис Сергеевич не успокоился до тех пор, пока не увидел, что сомнение это поселено, и что Николай ухватился за него как за последнее спасение.

Наконец Борис Сергеевич убедился, что опасаться теперь нечего, что припадок слабости прошел и что Николай даже сам стыдится этого припадка.

— Я даю вам слово, — сказал Николай, — что никогда не допущу в себе этой трусости... Не бойтесь за меня, я даю вам слово!.. Я буду жить. Но как жить? Где? Чем? Помогите мне... Куда мне скрыться? Куда уйти от всего и от всех?..

Борис Сергеевич уже сам решил, что нечего теперь требовать от Николая невозможного. А это невозможное заключалось в том, чтобы он уехал из Петербурга с женою и сыном, этого он не вынесет... Нужно время — время сделает свое дело. А теперь ему, действительно, необходимо окунуться в какую-нибудь совсем новую, совсем иную жизнь, пережить совсем неожиданные впечатления.

— Уезжай не на запад, а на восток! — сказал ему он. — Я недаром тебе дал мои тетради. Уезжай туда, где, может быть, еще до сих пор не ступала нога европейца... Тебя там ждут...

— Кто ждет?

— Не далее как сегодня я получил странное письмо... Постой, я принесу тебе его...

Он ушел и вернулся с письмом на английском языке. Это писал Нур Синг. Письмо было кратко и в нем значилось:

«Вы ушли, но вы скоро пришлете ко мне близкого вам человека, и он найдет здесь то, что ему надо. Я жду его...»

— Вы ничего обо мне ему не говорили и не писали? — спросил Николай.

— Не говорил, потому что, когда его видел, не знал еще тебя... И не писал. Рассуди сам, если бы я написал ему после нашей встречи с тобой, то вряд ли бы уже мог получить от него ответ. Но если и можно было бы получить ответ, я даю тебе слово, что по возвращении в Россию не только о тебе, но и совсем не писал ему. Если бы я не знал его, то это письмо меня очень бы удивило, но теперь я не удивляюсь. Поезжай, и, может быть, мы с тобою встретимся за много тысяч верст отсюда.

— Да, я поеду к вашему Нур Сингу, видно, это судьба моя!..

— Мне кажется, он вылечит тебя от тоски и примирит с жизнью, — сказал Борис Сергеевич.

— Я ничего не знаю и даже не стану ни о чем думать, — сказал Николай. — Но это так далеко... так далеко, что только туда и лежит мне дорога!..

Они стали говорить об этой дороге, и Николай решил, что теперь уже не будет откладывать отъезда, что выедет через два дня.

## XXVIII. ЧТО ТАМ...

Граф Щапский, не признанный и выгнанный сыном, не чувствовал ничего, кроме злобы. Но и злобу, как и все свои ощущения, он умел скрывать.

«Нахальный, надутый дурак! — думал он про Николая. — И ведь есть люди, которые считают его умным! Если бы у него была хоть капля смысла, разве бы он поступил так? Ведь не мог же он вообразить, что я все выдумал, что я не отец его... Письма слишком ясны, слишком красноречивы, и, наконец, слова его и вид показывали, что он поверил!.. Глупец! Мог бы припрятать на час-другой свою надутую спесь, мог бы притвориться... Только бы выиграл...»

Никак не мог понять граф Щапский того, что должно было произойти в душе Николая, всего этого ада, который он в нем поднял.

«Ему же хуже, ему же хуже!» — повторял он про себя.

Но скоро он должен был сознаться, что Николай все же заставил его несколько опешить, что дело повернулось вовсе не особенно хорошо и что «тем хуже для него» — только фраза.

Он видел теперь, что еще раз обращаться прямо к Николаю — уж нечего и думать, ничего из этого не выйдет. Да и вот ведь он едет — куда едет? Надолго ли?..

«А все же, в конце концов, он будет вынужден выплачивать мне пенсию! Я на него подействую через мать...»

Он на следующее же утро послал Катерине Михайловне письмо, в котором объявлял, что был у них накануне и все открыл сыну, так как она не желает исполнить своих обязательств. Этот молодой человек очень дурно к нему отнесся и оскорбил его так, что он забыть этого не в состоянии. Он решил все кончить тихо и мирно, «между своими», но если с ним так обращаются, если не признают его «естественных» прав, то он ничего не скроет от общества. Катерина Михайловна должна знать, что он выше всяких предрассудков, что он презирает общественное мнение и что ему нет никакого дела до того, что будут говорить собственно о нем. Но, может быть, ей и ее сыну это не все равно. Зачем же в таком случае она его обманывает, зачем ее сын оскорбил его?

Но даже, несмотря на этот обман и оскорбление, он и теперь готов на уступку. Он будет молчать, если они исполнят свою прямую относительно него обязанность: помогут ему расплатиться с долгами, которых у него на триста тысяч рублей, а затем дадут ему возможность пристойно жить с помощью ежегодной пенсии в двадцать пять тысяч рублей. Незначительность этой суммы при их состоянии показывает, что он не желает злоупотреблять своими правами...

Он не задумался послать это письмо. Она, наверное, его уничтожит...

«Ну и пусть их, даже лучше, если он с ними развяжется... Эти сцены, комедии, переписка ему надоедают... Сделать форменное условие и отдать письма — вот и все...»

Катерина Михайловна, получив письмо, в первую минуту просто не поверила глазам своим.

«Да нет! Этого не может быть!»

Но ведь она знала Щапского, она должна была ему поверить.

«Все так и есть: его угрозы — не шутки, он на все способен. Совершилось-таки самое страшное, чего она боялась... Но самое ли страшное? Он грозит последним!..»

Катерина Михайловна схватила это письмо, скомкала его, подошла к топившемуся камину и бросила письмо в огонь.

«Как же это!.. Что же Николай?!»

Все рушится, все, со всех сторон...

«Ведь вот и он, как и Сергей, вышел в отставку, собрался уезжать... еще бы два-три дня и уехал бы — ничего этого не было... Изверг поспешил!.. Николай... Николай!..»

В ней пробудилось что-то похожее на любовь к этому несчастному сыну, заговорила наконец совесть.

Она стояла бледная, похолодевшая... потом обеими руками схватилась за грудь. Ей перехватило дыхание, в глазах мутилось. Холод, страшный холод леденил ее всю, проникал, как ей казалось, до самых костей...

Вся комната, все предметы закружились перед нею. Она едва дотронулась до сонетки, дернула ее и почти без чувств упала в кресло.

Когда на звонок вбежала ее старшая горничная, то перепугалась, увидя барыню в таком положении.

Катерина Михайловна слабым голосом приказала перенести себя на кровать и раздеть. Послали за доктором. Через два часа по всему дому было известно, что Катерина Михайловна серьезно больна. В ее спальне перебивали все, за исключением Николая. Он знал, что она больна, но не шел — и она не звала его.

На следующее утро Николай должен был ехать. Все распоряжения уже были сделаны, все было приготовлено. Он ехал теперь в Москву, а оттуда дальше и дальше, на юг и на восток. Он не брал с собою никого из прислуги, ехал совсем один.

Весь вечер он провел у себя, запершись, писал что-то, писал несколько часов кряду. Наконец у него стало рябить перед глазами. Часовая стрелка показывала половину второго. Он положил перо, взглянул на несколько больших листов почтовой бумаги, исписанных им, и потом порывистым движением руки разорвал все эти листы и бросил их на догоравшие угли камина.

Через несколько секунд листки вспыхнули, и скоро от них осталась только легкая, коробившаяся кучка пепла, с пробежавшими по ней искорками.

Это было последнее его прощание с Наташей. Поддаваясь невольному движению, он излил перед нею все, чем было полно его сердце. Это была горячая, страстная, мучительная речь. Это была исповедь тоски и мрака, наполнявших его душу. Он не мог не высказать ей всего этого. Но когда написал, когда все было кончено, когда сказались последнее слово муки и страсти, он внезапно решил, что не оставит ей листов этих, что не должен, не смеет...

Он провел рукой по своему бледному лбу, покрытому каплями холодного пота, зажег свечку и, неслышно ступая мягкими туфлями по коврам, вышел из комнаты.

В доме все было тихо — ни звука, ни шороха. Он прошел несколько пустых комнат и остановился перед дверью в спальню. Он уже несколько дней не переступал порога этой комнаты. Он отворил дверь и вошел, поставил свечку на маленький рабочий столик Мари.

«Она спит! — подумал он. — Спит! Хорошо, что может спать!»

Он подошел к кровати. Слабый отблеск свечи и лампы озарял лицо Мари. Она спала крепко, но лицо ее было теперь бледно, выражение не то грусти, не то усталости застыло на нем.



Николай склонился над нею, несколько мгновений глядел на нее. Она мерно дышала. У него защемило сердце. Ему невольно вспомнилось иное время, давно прошедшее, невозвратное время...

Тихая слеза скатилась с его щеки и упала на красивую белую руку Мари.

Он припал к этой руке дрожащими губами, потом тихо отошел от кровати, взял свечу и вышел.

Но он не вернулся в свой рабочий кабинет, который был теперь и его спальней. Он пошел дальше длинным коридором и отворил дверь в комнату, где помещался Гриша с Володей и гувернером.

И здесь была полная тишина, француз и мальчики крепко спали.

Николай подошел к кровати Гриши и опустился перед нею на колени, приложив свое мокрое от незамечаемых им слез лицо к разгоревшейся щеке мальчика.

Гриша шевельнулся, потянулся, проговорил что-то невнятное. Николай перекрестил его и хотел уже выйти, как вдруг заметил Володю, который сидел на своей кровати и большими, широко раскрытыми, изумленными глазами глядел на него.

— Дядя, это вы? — даже с испугом выговорил он. Николай подошел к нему, крепко его обнял и поцеловал.

— Ты знаешь — я уезжаю завтра... прощай, будь здоров, учись хорошенько, будь всегда добрым... будь дружен с Гришей... люби его!.. Обещаешь?

Володя обвил своими тонкими ручонками шею дяди и заплакал.

— Я очень люблю Гришу и всегда буду любить его! — сквозь слезы прошептал он. — Дядя милый, зачем вы уезжаете! Возвращайтесь скорее!..

Николай перекрестил и его — и почти выбежал из комнаты.

Но и теперь он не вернулся к себе, а сошел в нижний этаж, к Борису Сергеевичу. Старик не спал и, видимо, поджидал его — и еще часа два проговорили они. Борис Сергеевич дал ему письма к своим азиатским друзьям, дал последние наставления.

Николай так и не ложился в эту ночь и утром вышел с потухшими глазами, с осунувшимся и постаревшим лицом. Но он, по-видимому, был спокоен. Он отправился в спальню матери — с ней проститься.

Он в первый раз еще ее видел после ужасного появления Щапского. Катерина Михайловна лежала на кровати совсем

съежившаяся, маленькая. При виде сына она закрыла глаза и протянула ему руку.

— Уезжаешь? — прошептала она.

— Да...

— Ну, прощай... да храни тебя Бог!

Он наклонился к ее руке и прикоснулся к ней холодными губами.

Она перекрестила его, с трудом приподнялась, поцеловала его в лоб.

— Прощай, больше не увидимся! — услышал он ее шепот.

«Ведь мать! Мать!» — отдалось ему в сердце.

Он еще раз взял ее руку и припал к ней долгим поцелуем.

Рыдания вырвались из груди Катерины Михайловны.

«Прости! Прости!» — хотела она сказать ему, но губы ее только беззвучно шевелились.

Он вышел...

Мари простилась с мужем, по-видимому, спокойно, но потом заперлась у себя и плакала, горько, тихо плакала, как никогда не плакала в жизни.

Николай прошел в детские комнаты, торопливо, быстро простился с детьми, даже будто не взглянул на оторопевшего Гришу... Наташа вышла, едва держась на ногах. Они ни слова не сказали, и только в последнюю секунду, когда их руки разжимались, они взглянули друг на друга.

— Прощай! — как безумный крикнул Николай и кинулся от нее.

Вот его нет... издали замирают шаги... все пусто. Наташа схватилась за сердце. Она почувствовала, что там, в груди, у нее оборвалось что-то. Она упала в кресло, опустила голову и так осталась час, другой, третий...

В петербургском большом свете толковали о непонятных событиях в семье Горбатовых. Действительно, в этом доме происходило что-то странное. Зачем это Николай Владимирович вышел в отставку?

Старший брат ему не пример, тот хоть и хороший малый, но ленивый и пустой. А ведь у младшего способности, он стал выделяться, на него обратили внимание. И хотя, благодаря его резкости и невоздержанности на язык, у него нашлись враги, люди не

расположенные, не разделяющие его взглядов, находящие эти взгляды даже вредными по «теперешнему времени», но были также и друзья, единомышленники, теперь смущенные и негодовавшие, что он покинул и их, и дело.

Ему открывалась, как бы то ни было, прочная карьера, и он, конечно, знал это. И вдруг все бросил, взял чистую отставку — и уехал!

Куда уехал? Никто не знал. О нем не было ни слуху ни духу.

Под предлогом болезни Катерины Михайловны горбатовский дом был закрыт для всех — там никого не принимали. Мари и Наташа не показывались в обществе.

Кое-кто видал только изредка Сергея, да и то мельком. Он показывался и исчезал, и ничего нельзя было от него добиться. Затем стало известно, что он совсем погибший человек. Время от времени о нем рассказывали самые скандальные истории — так, например, он, не стыдясь, несколько раз показывался на Невском и в театрах под руку с хорошенькой особой, долго жившей у него в доме в качестве гувернантки его детей и многим хорошо известной — теперь она жила сама по себе, и он тратил на нее большие деньги.

Он кутил напропалую, стал даже пить, а что всего хуже, предался страсти к карточной игре, да и какой игре — азартной. Рассказывали, что он проигрывает огромные суммы...

Впрочем, о Горбатовых поговорили немного и мало-помалу стали о них забывать. Семья эта уже давно не играла видной роли в обществе. Конечно, старик Горбатов мог бы поддержать, если бы хотел, блеск старого дома, но он, очевидно, не хотел этого. Он вел уединенную жизнь и видался только с немногими старыми друзьями...

Прошло несколько месяцев. Проболев всю зиму, к весне Катерина Михайловна почувствовала себя совсем дурно. Она уже не строила никаких планов, ни на что не надеялась. Она превратилась почти совсем в автомат, и вряд ли хорошенько понимала, что кругом нее делается. Одно только, что она понимала, что чувствовала, — это ужас к графу Щапскому.

Еще осенью, через несколько недель по отъезде Николая, она позвала к себе Бориса Сергеевича и рассказала ему о своих вынужденных сношениях с этим человеком и о его требованиях.

Борис Сергеевич ее успокоил, обещав все устроить, и, действительно, как ему ни было это противно, он решился отправиться к Щапскому.

Тот между тем видел, что обстоятельства повернулись против него: Николая нет в Петербурге, Катерина Михайловна умирает... если умрет — кто же выдаст ему деньги, кто подпишет обязательство выплачивать ему пенсию? Вот она уже на два его письма не дает никакого ответа.

Он считал это дело, так хорошо, как ему казалось, устроившееся, было уже совсем потерянным, когда к нему явился Борис Сергеевич. Поэтому не удивительно, что он оказался очень стоворчивым и, получив от щедрот Горбатова не сотни тысяч, а всего двадцать, отдал ему все письма.

Борис Сергеевич принес больной все, что получил от Щапского.

Своей слабой, худой рукой она сжала его руку и прошептала:

«Теперь я могу умереть спокойно!»

Но все же спокойно не пришлось ей умереть. В последние дни своей жизни она очень мучилась, металась в бреду, ее томили и душили страшные кошмары. Она никого не узнавала и разговаривала с людьми, которых уже давно не было на свете...

Мари по отъезде Николая сначала хотела ехать с Гришей за границу, но потом по совету тетки осталась в Петербурге...

В ней стала развиваться религиозность, которой прежде совсем не было заметно. Французские романы были навсегда забыты, и их заменили книги духовного содержания. Вместе с этим она начала благотворительную деятельность и помогала она беднякам не холодно, не «по принципу», а вкладывая в это дело свое пробудившееся и страдавшее сердце...

Часто после встреч с Наташей, после разговоров с нею Борис Сергеевич возвращался к себе совсем расстроенный. Он ясно видел, что мало хорошего: Наташа увядала и слабела.

Если бы после всего, что ей пришлось пережить, она вынесла какую-нибудь серьезную острую болезнь, то, может быть, и вернулась бы к жизни. Так, по крайней мере, нередко бывает. Но она не заболела тогда.

Со дня отъезда Николая в ней никто не мог даже ничего особенного заметить — напротив, она казалась спокойной, настроение

ее духа было всегда ровное, она ко всем и ко всему относилась кротко и терпеливо...

Но жизнь ее томила, жизнь потеряла для нее всякий смысл...

Наконец, ко всему присоединилось еще поведение Сергея. Хотя она и не знала о нем многого, но все же до нее кое-что доходило. Ей было известно, что он возвращается домой часто только к утру, а то и совсем не ночует дома. Она знала, что дядя уже несколько раз заплатил его долги, случайно узнав про них.

После смерти Катерины Михайловны Мари с Гришей остались в Петербурге, а Борис Сергеевич, Наташа и дети Сергея перебрались в московский дом с тем, чтобы лето провести в Горбатовском.

Сергей обещал тоже на все лето приехать в деревню.

Наташа слабела с каждым днем, но Борис Сергеевич все же не терял надежду, что деревенский воздух в соединении с его азиатскими лекарствами принесет ей пользу.

Он забыл все свои планы, не думал теперь о возвращении в Азию. Он был весь поглощен Наташей и решил не покидать ее ни на минуту.

От Николая получались время от времени письма. Последнее было из Константинополя, куда он попал совсем случайно. Но из этого письма ничего нельзя было заключить, оно было наполнено только некоторыми распоряжениями.

Борис Сергеевич видел, что куда ни взглянешь — везде плохо. Даже найденный им племянник, Михаил Иванович, его не радовал.

«Конечно, он отличный человек! — думал про него Борис Сергеевич. — И благородный человек, и добрый, и с большим тактом, но все же с ним как-то холодно, уж чересчур он практичен, чересчур деловит, только и слышишь от него:

«Промышленная компания, акции... облигации...»

Но ведь сам-то Борис Сергеевич был неисправимым идеалистом, человеком чересчур уж непрактичным, непригодным к требованиям века, к вопросам новой, закипевшей тогда в России жизни.

Так, по крайней мере, о нем думал Михаил Иванович. И тот, и другой, конечно, были правы со своей точки зрения.

Михаил Иванович, действительно, весь ушел в открытую ему дядей деятельность, и с каждым днем его положение упрочивалось и упрочивалось. Дельцам, среди которых он теперь вращался, было

только странно и непонятно, как это такой благоразумный, так хорошо понимающий дела человек — и вдруг теряет время, чуть не каждый месяц уезжает в Москву.

Они, конечно, не знали, что этими странными поездками их новый товарищ-делец исполняет долг свой и что когда эти поездки прекратятся, Михаил Иванович вырвет из себя лучшую частицу своей внутренней жизни.

Но и Надежда Николаевна, по настоянию мужа оставшаяся в Москве, и старики Бородины были уверены, что Мишенька измениться не может — каждый раз, возвращаясь из Петербурга, он выказывал им всем большую любовь, большую о них заботливость.

Одна только Капитолина Ивановна начинала скептически относиться к своему любимцу и, сидя за чайным столом в обществе Порфирия Яковлевича, Анны Алексеевны и двух старых котов, нередко повторяла:

«Портится наш Мишенька, совсем портится! Съедят его эти проклятые деньги, помяните мое слово — совсем съедят! А оставили бы нас в покое, не стали бы поднимать старую пыль — и совсем бы хороший человек вышел... Так ли я говорю? А?..»

Анна Алексеевна, утирая свернутым в комочек миткалевым платком свое рябое, лоснившееся от десятой чашечки лицо, повторяла: «Так, матушка, так!», Порфирий Яковлевич молча покачивал огромной кудластой головою, а коты, неподвижные, как египетские изваяния, пристально, не мигая глядели на Капитолину Ивановну и только изредка поводили усами...

Тихий предрассветный час. Небольшой утомленный долгим путем караван тянется опаленной зноем степью. Верблюды однообразным движением мерно, будто в люльке, качают на своих выносливых спинах путников.

На далеком горизонте уже светает, и мало-помалу начинают обрисовываться в тумане далекие горы.

Один из путников, утомленный больше других и часа на два забывшийся сном, теперь проснулся. Он чувствовал слабость и боль во всех членах от непривычного томительного пути. Его мучила жажда, лицо его было бледно и печально.

Он огляделся. Вокруг все тот же пустынный простор, все та же неподвижная, мертвая природа...

Но вот его взор остановился на далеких, туманных очертаниях, на светлеющем небе. Он забыл все и долго глядел вперед, туда, на восток...

Теперь уже близко, близко... Но что там? Что там, за этими горами?!

И вдруг среди пустынной тишины он расслышал несущийся к нему издали навстречу чистый музыкальный звук, будто чья-то незримая рука медленно перебирала струны арфы... Ближе, ближе... вот уже под самым ухом звенит струна...

Путник вздрогнул. Кто ж говорит это? Откуда эти звуки?..

Но голос все звучал, повторяя те же слова, и мало-помалу они проникли в сердце, становились понятными разуму...

Тихий голос шепчет:

«Все обман и ничтожество, все — игра преходящих форм, сменяющих одна другую... Будь выше земного обмана, выше того, что в своем жалком неведении ты называешь бедою и горем, страданием и утратой... Отрешись от земного праха!.. Гляди смелее, гляди назад с равнодушием, а вперед — с надеждой... Будь достоин принять и вместить в себя вечную мудрость, бестрепетно встречай первые посылаемые тебе лучи мирового солнца!..»

Восток уже горел... и вот, будто разорвав оковы тумана, хлынул поток золотого света...

Верблюды остановились. Вся степь ожила, а издали во всей могучей красоте своей выступала у подножья гор роскошная, одетая вечной зеленью природа, будто радостно встречая пришельца...